

# ГРАНИ

GRANI

160

1991

---

Verlagsort: Frankfurt/M., April - Juni

## ”ГРАНИ”

Ежеквартальный журнал литературы, искусства, науки и общественно-политической жизни. Проза, поэзия, очерки современности, философия, публицистика, литературная критика и пр.

Журнал считает своим долгом способствовать развитию свободной мысли, свободного слова, свободного творчества; способствовать публикации произведений, которые не могут быть изданы на родине из-за цензурных или политических ограничений. Из широко известных авторов в ”Граних” были опубликованы произведения:

А. Ахматовой, Л. Бородина, М. Булгакова,  
И. Бунина, Г. Владимова, В. Войновича,  
З. Гиппиус, В. Гроссмана, Ю. Домбровского,  
Н. Заболоцкого, Б. Зайцева, Е. Замятина,  
Н. Коржавина, В. Корнилова, А. Куприна,  
С. Левицкого, Н. Лосского, В. Максимова,  
О. Мандельштама, В. Набокова, В. Некрасова,  
Б. Окуджавы, Б. Пастернака, К. Паустовского,  
А. Платонова, Г. Подъяпольского,  
Р. Редлиха, А. Ремизова, Ф. Светова,  
А. Солженицына, В. Солоухина, М. Цветаевой,  
И. Шмелева, В. Шульгина...



Журнал основан в 1946 году  
Основатель журнала Е. Р. Романов

Редактировали:

1946 Е. Р. Романов, С. С. Максимов, Б. В. Серафимов

1947 – 1952 Е. Р. Романов

1952 – 1955 Л. Д. Ржевский

1955 – 1961 Е. Р. Романов

1962 – 1982 Н. Б. Тарасова

1982 – 1983 Р. Н. Редлих, Н. Рутыч

1984 – 1986 Г. Н. Владимов

# Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

---

Год XLV

№ 160

1991

---

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- Ирина МУРАВЬЕВА. Ляля, Наташа, Тома... *Повесть* 5
- В. БРАЙНИН-ПАССЕК. Предпоследний светлый день. 54  
*Стихи*
- Андрей БОРОДАЕВСКИЙ. Пропажа, или  
альбом моей бабушки 65
- Алексей ГЕЛЕЙН. А скрипач играет песенку... *Стихи* 92
- В. КАПИАНИДЗЕ. Машина красного цвета. *Рассказ* 100

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- Мария ШНЕЕРСОН. Два романа Василия Гроссмана 107
- Валентина СИНКЕВИЧ. Ирина Сабурова.  
Лидия Алексеева. *Фрагменты из книги* 149

### ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

- Михаил ГОРБАНЕВСКИЙ. Трагедия гения  
при тоталитаризме 173

## ПУТЬ К БУДУЩЕЙ РОССИИ

**Б. С. ПУШКАРЕВ. Рынок и план в городской застройке** 194

## ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОСТИ

**Виталий ПОПОВ. Аты-баты, куда идут стройбаты?** 247

**Константин ПРОХОРОВ. Фольклор советской армии** 265

**Ив. ТОЛСТОЙ. Великодержавный провинциализм** 277

## КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

**Юрий КУБЛАНОВСКИЙ. У истоков освободительной  
идеологии** 286

**Валерий СЕНДЕРОВ. "Статьи Федотова надо  
перечитывать"** 291

**Вера ЗУБАРЕВА. Пушкин и наследие диктатуры** 294

**Владимир БАТШЕВ. Четвертая книга  
(о поэзии Александра Алшутова)** 296

**Евгений ДУБНОВ. "И две судьбы, как два завета"  
(Стихи Лии Владимировой)** 301

**И. М. Грех, который не отмолить  
(А. Приставкин "Кукушата")** 311

**КОРОТКО ОБ АВТОРАХ** 318

*Обложка работы художника Н. Мишаткина*

Ирина МУРАВЬЕВА

## Ляля, Наташа, Тома...

*Памяти моей умершей подруги  
Тани Фрадкиной - посвящаю*

На эту фотографию я наткнулась почти случайно. Вообще, когда мы проходили таможеню, я больше всего боялась, что тот, белесый, с усиками, не даст мне провезти фотографию. Оставляла людей. Увозила лица. Оставляла могилы, увозила живых, замеревших в потускневших изображениях: на крыльце с собакой, среди именных бутылок, под пляжным тентом в съехавшей соломенной шляпе, с детьми на руках и детьми на коленях...

Бабулина, маленькая с успокаивающим взглядом, была у меня в кармане. Но белесый и альбом пропустил. Вытащил почему-то кончиком перочинного ножа мою детскую - худая, с выпирающими ребрами девочка на огромном коктебельском камне. Профиль с бантом, обращенный в небо, а там, где волны, чернильным карандашом: "Мичтаю о счастье". На эту фотографию он почему-то смотрел неоправданно долго, подозрительно. Потом аккуратно вставил обратно и альбом захлопнул. На лице мелькнуло: "Эх, была не была!" Итак, я всё это вывезла, всю глянцевитую грудку, и эту карточку... Господи, она совсем стерлась, но я понимаю, что на ней терраса нашей дачи, еще тогда

не застекленная, и всё это давным-давно, до моего рождения, но кушетку, похожую на таксу, я помню, а вот соломенный стол – нет, не помню, наверное, выкинули потом или подарили, а на незастекленной террасе они втроем: на кушетке мама и Ляля, а за соломенным столом – Наташа. На головах – венки из ромашек. И у моей мамы, обхватившей Лялю правой рукой, левая – на кошачьей голове, ибо кошка спит на ее коленях (знаю, что была до моего рождения розовая кошка Роза!), у моей мамы лицо грустное, как всегда на фотографиях, словно специально для того, чтобы я, ее почти не заставшая, ощущала, что ей всегда было грустно. Да так и застыло: правая рука на Лялиной шее, левая – на розовой шерсти. На голове – венок из ромашек. Сбоку сирень, свешивающая темную зелень прямо на кушетку, на Лялины плечи, на мамину руку, на кошачью голову. А меня еще не было.

\* \* \*

Война кончилась, они учились в институтах. Все в разных, но дружны были по-прежнему, как в детстве. Ах, конечно, конечно, жизнь всё перемешивает, дворники роднятся с князьями, и всё это прекрасно, но так случилось, что эти три девочки были из "бывших", и их тонкокожие молодые жизни чувствовали бессознательную опасность. Они знали, например, отчего Томина мама всю ночь соскабливала с тонких синих тарелок золотую строчку "За веру, царя и Отечество", когда забрали мужа рыжеволосой голубоглазой Ольги, которую за красоту звали "Светиком", и знали они, отчего Наташин отец пил, пропадал на скачках и, наигрывая на гитаре цыганские романсы, говорил своей цыганке-жене, которую когда-то, в лучшие времена, выкрал из табора:



- Что сердисься, душа? Как деды мои жили, так и я живу, а на них, - тут он делал не совсем приличный выразительный жест, - ... хотел!

А она в ответ ту же заворачивалась в полустертую шаль и молчала, медленно затягиваясь длинной папиросой.

Ляля же, жившая в подвале с матерью, сестрой и двумя старыми девами-тетками, вообще стеснялась на свете неоправданно многого: своей французской фамилии, картавого "р", теткинго пенсне, бедности, пасхальных праздников, которые, на бедность невзирая, мать ее справляла со старинной обильностью и приходивших девочек одаривала причудливо раскрашенными яйцами и вышитыми салфетками с голубками и незабудками. И был им знаком еще один, совершенно особый, страх, изредка выражаемый еле произносимыми буквами "НКВД", серый, гнетущий и неподвижный, как то серое гнетущее здание на Лубянке с остробородым жилистым памятником в длинной шинели.

Только Наташе с Лялей Тома и могла сгоряча проболтаться, что отец никогда не называет Ленина иначе, как "сифилитиком", и сказала она это, смутившись, шепотом, когда они втроем шли по Девичке, возвращаясь домой в свои заваленные снегом переулки - Неопалимовский и Первый Труженников - шли быстро, насквозь промерзшие в тонких ботиках и вязаных платках.

Им было почти по семнадцать, кончилась последняя школьная зима сорокового года, и они только что отстояли длинную нелегкую очередь в мавзолей, где он и лежал в гробу, под стеклом - сморщенный, желтый, бумажный. Сифилитик.

А тогда, в тот желто-зеленый июльский день, они долго гуляли по лесу, купались в заросшем кувшинками маслянисто-черном лесном озере и неожиданно набрали на целое поле ромашек. Нарвали три огромных охапки, сплели венки, укра-

сились ими и, вернувшись на дачу, застали там долговязого пожилого соседа со странным для мужчины именем "Лёля", давно, глупо и безнадежно влюбленного в Тому, который тут же и сфотографировал их на незастекленной еще террасе. А потом Наташа, в которой иногда просыпалась ее цыганская кровь, воскликнула, глядя на тяжелые златоглазые ромашки:

- Ну и что мы будем с этой цветочной горой делать? Поехали продадим!

И Тома радостно подхватила, а Ляля, как всегда, покраснела и согласилась. На привокзальном пятачке их ромашки расхватили неожиданно быстро, и только у Ляли еще оставались три букетика, когда он подошел, грузный, широкоплечий, в расстегнутой белой рубашке. Опираясь на костыли, он остановился перед ними, задержался глазами на длинноглазой, чернобровой Наташе - первой красавице всегда и везде: в школе, на улице, в консерватории, - потом перевел их на кудрявую, огненно покрасневшую Лялю и сказал, лаская ее своим прищурившимся бархатным голосом:

- Почему цветочки?

Чувствуя, как раскаленная кровь заливает ее грудь, спину и плечи, опущенными глазами видя только его подшитую пустую штанину, она ответила вдруг охрипшим, не своим голосом:

- Рубль.

- Ну давай два, чтоб никому не обидно, а то тебе тут стоять да стоять, погулять не успеем, - пророкотал он и дотронулся до ее руки горячей ладонью.

Обратно на дачу они возвращались вдвоем, оставив ее с незнакомым одноногим мужчиной, который насмешливо и успокаивающе помахал им вслед, когда удивленно оглядываясь, они уходили, а она оставалась.

Они тряслись в электричке, подставив волосы

теплому вечернему ветру, электричка с грохотом останавливалась на тускло освещенных дощатых перронах, пахло жасмином, стрекотали ночные цикады, они подставляли лица свистящему в открытое вагонное окно ветру и не понимали еще, что вот оно, начало...

Гранитная лавочка была влажной от недавнего дождя. Сели, и он сразу обхватил ее правой рукой и сжал так крепко, что она испугалась: вдруг на коже останутся красные следы пальцев? Но промолчала, а он всё крепче и крепче сжимая это тонкое плечико, левой свободной ладонью повернул к себе ее лицо и стал неторопливо разглядывать его, как разглядывают пеструю картинку в журнале.

- Значит, Ляля? Это что же - Ольга или Елена? А фамилия почему французская? С Наполеоном в Москву въехала? Да расскажи, расскажи, не бойся.

И понимая, что никакой ее рассказ не нужен ему, она прошептала все-таки несколько бессвязных слов, объясняя свою французскую фамилию, и, не закончив, вздрогнула всем телом, почувствовав прикосновение его ладони к своей груди, там, где была расстегнута эта темно-зеленая вязаная кофточка.

\* \* \*

- Ты знаешь, она сошла с ума! Просто потеряла рассудок! Она же ему дышать не дает! Встречает у проходной каждый вечер. Каждый! Я уж не говорю, что она его кормит, из дома таскает почем зря! Ирина Августовна всё видит и молчит. И Муся молчит. И Полина с Жанетт. Они ведь всегда все молчат. Или плачут. Я ей вчера позвонила почти в двенадцать. Ее не было. Я думаю, она не ноче-

вала дома, она у него была. Я просто чувствую! Томка, что ты молчишь?

- Я не молчу. Она не ночевала дома, я знаю. Она в три часа ночи пришла к нам. Пешком. С Шаболовки. Он ее выгнал.

- Что-о-о?

- Да, Господи, выгнал и всё. Он же был пьян. У него было отвратительное настроение. Он сказал, что она ему больше не нужна. И она рыдала, как... Я тебе передать не могу, это какой-то кошмар. Она ввалилась к нам ночью, вся опухшая от слез, вся огненная, и сказала, что он ее выгнал, а она без него не может, не может. И мама ей говорит: "Да ведь он зверь, пьяный зверь! Что ты в нем нашла?" А она, как Жанна д'Арк: "Я этого слышать не хочу! Вы не должны так говорить!" Ты же помнишь, как она летом самовар одна на спор выпила? Чуть не лопнула! Вот и сейчас: лопнет, а никого не послушает!

- Ты думаешь, он не женится на ней?

- Нет, я-то как раз думаю, что женится. Где он еще такую дуру найдет?..

Рядом с кроватью валялись его тяжелые костыли с железными заклепками. Тяжелым карим взглядом он следил, как она порывисто двигалась по комнате, подбирая разбросанные вещи, смахивая пыль, наливая горячую воду в таз для посуды.

- Канарейку покорми, - сказал он лениво и закурил.

- Канарейку? Сейчас.

И защebetала, заворковала рядом с круглой железной клеткой, в которой заливалась, не щадя своего песочного горла, красноглазая канарейка.

- Как ты по ночам, заливается. Только ей-то вроде не с чего, а? - усмехнулся он, разбивая дым ребром ладони.

Она опустилась на колени перед кроватью,

светлую мелкокудрявую голову вжала в подушку, задышала знакомым запахом его волос, его папирос, его кожи... Ленивая горячая рука с желтыми от никотина пальцами ущипнула ее за ухо, скользнула в вырез ночной рубашки. Она подняла покрасневшее лицо:

- Мама просит, чтобы мы венчались, Коля...

...остановись, говорю я себе, всё ведь это твое воображение, не больше... Была ли канарейка? Было ли венчание? Ладонями отвожу, как отводят воду, входя в нее, медля, не решаясь, ладонями отвожу вспенившиеся детали: вечернюю церковь на пересечении двух осенних улиц, невесту в платье, сшитом из тюлевой занавески, жениха, слегка хмельного с орденскими планками на груди, тетку в заплаканном пенсне, в лиловом шарфе, отвожу ладонями. Устала. Белая страница под руками.

...остановись, говорю я себе. Что же было на самом-то деле? Что ты помнишь?

Снег, как всегда, снег - главное действующее лицо всех воспоминаний моих, и я иду всё по той же, забеленной до самых липовых бровей Девичке, посреди которой стоит светлорозовый насупленный Лев Толстой, заложивший огромные каменные руки за пояс, а навстречу мне подпрыгивает пожилая женщина в потертой шубе. Со дня маминой смерти я видела ее раза четыре, не больше, и теперь ужасаюсь, как она постарела. Я не могу сказать ей "Ляля", но, кажется, не помню ее отчества. Елена...? Поровнявшись со мной, она ахает, обхватывает меня своими серыми заштопанными варежками (в одной из них что-то звякает: ключи, мелочь?) и, прижавшись лицом к моему воротнику, плачет...

- Сегодня маме приснился странный сон, - Наташа удивленно приподняла брови и продолжала, понизив голос. - В нашем доме ведь на снах все

просто помешаны. Отцу всё время снится одно и то же: он запарывает лошадь, а потом хоронит ее ночью, один, где-то на самом краю вымершей деревни. Но я не об этом. Мама рассказывает: "Приснилось, что в нашем книжном шкафу живет змея. Небольшая, черная, большеглазая. Глаза какие-то злобные, но почти человеческие. И живет она посреди книг, между Аксаковым и энциклопедией..."

Тома засмеялась. В печке хрустели дрова. Из красных, мигающих становились сизыми, черными, догорали. Они сидели на диване и грызли сушки. Кошка спала, свернувшись клубочком.

- Да подожди, не смейся. Я сначала тоже смеялась, а теперь эта глупость не выходит у меня из головы. Ну вот. Живет змея, которую мы почему-то не кормим. Непонятно почему, если отец даже мышей на кухне готов кормить сахаром, дай ему волю. А эту мы не кормим, и она тает на глазах. И вдруг мама просит, чтобы я дала ей молока. И мы будто бы все ужасаемся, как же это раньше никому не приходило в голову дать змее молока, подкормить скотинку. И мама протягивает мне молоко и говорит: "Поставь прямо на книгу и сразу уходи". И я подхожу с молоком, и мы обе с мамой видим, как эта змея, еле живая, лежит, придавленная томами, а глаза закрыты. Но только я ставлю перед ней блюдечко, как она распрямляется и бросается на меня с вытянутым жалом. В лицо!

- Господи, страсти какие! - Тома опять засмеялась. - И что?

- Тебе всё хиханьки... - но она и сама смеялась, будто рассказом преодолела страх. - Ну и всё. Мама проснулась в слезах, и весь день ходила сама не своя. Вот посмотрите, говорит, это не к добру!

Беда в том, что она была красавицей. А я с

детства запомнила: красота до добра не доводит. Из всех слышанных мною рассказов выходило примерно так: она была добра и прекрасна. Иногда бабуля добавляла: "Ну, просто Анна Каренина!" А он был или некрасив, или очень обычен. И вот она любила, а он нет. Другие за нее стрелялись, вешались, на коленях ползали, но ей никого не нужно было, кроме этого, который не стрелялся, не ползал, а только мучал. Она плакала, и все, кто любили ее, тоже плакали и упрасивали: "Брось! С ума ты сошла, что ли?" А она отвечала: "Нет, никогда".

Такая вот картина сложилась в моем шестилетнем сознании, так я и рисовала цветными карандашами на шершавой альбомной бумаге: она в необъятно-широкой юбке с золотыми волосами до пят, протягивает руки к нему, длинноносому и усатому, во фраке пушкинских времен. Сбоку дерево с зелеными листьями. Наверху солнце с лучами-веером. Всё. Картина жизни. Картина любви. Ее, мою альбомную красоту, неизменно звали Наташей, хотя настоящая Наташа была черноволоса, да я ее практически и не видела. Но бабуля, рассказывая мне о ней, всегда добавляла: "Несчастливая, Боже мой! Но какая красавица! Красавица".

Молодой человек с небольшим шрамом над верхней губой, в дорогой пыжиковой шапке нетерпеливо сбивал перчаткой снег с подножия памятника Чайковскому. Настороженный и готовый улечь со своего мраморного возвышения Чайковский наматывал на пальцы женственно вскинутых рук ему одному слышные мелодии и не обращал внимания на суетливого воробья, подпрыгивающего на его замороженной голове.

— Неужели я опять опоздала, Виталий?

Он резко обернулся на этот взволнованный голос. Белый платок, сверкающий от снега. Сверкающий снег на черных волосах. Высокие брови, мок-

рые ресницы. Да, красавица. Бедна, как героиня Достоевского. Он прочитал пару этих романов и нашел их приторными. Но семейка из Неопалимовского подошла бы прославленному эпилептику. Колоритная семейка, что говорить! Одна мамаша в полуистлевшей шали чего стоит! Да и папаша недурен. Бархатный барин. Собачник, лошажник. Ему бы в перезаложенном имении зайцев травить, а он сидит за печкой да водочку тянет. Кольца, браслеты давно в ломбарде, бакара побита. Ох, осколочки! И как они все уцелели? А ведь еще теплятся, а ведь пыжатыся! "Расскажите мне, молодой человек, где же вы с моей дочерью познакомиться изволили?" Театр да и только. Так и подмывает сказать: "Я, дядя, с твоей дочерью познакомился в трамвае, и теперь с ней..." Что? Нет, честно говоря, еще нет, подождем малость, пусть привыкнет. Цыганская косточка, виноградка черная... Подождем, слаще будет. Но ты так и знай, папаша, я с твоей дочерью спать буду. Вся эта заснеженная чернобровая красота, вся моя. Пока не надоест. А там посмотрим.

И засмеявшись, он сказал, пожимая ее протянутую теплую руку:

- В а с я готов ждать всю жизнь, Наташа...

Отец подливал и подливал из синенького графинчика. Оттопыренный мизинец с длинным полированным ногтем мелко вздрагивал. Наигрывая гаммы, она из полутьмы своей маленькой комнаты слушала родительский разговор. Не разговор, монолог скорее, ибо мать, как всегда, только вставляла свое гортанное "А-ах!" в редкие паузы отцовской речи.

- Что мы о нем знаем? Что ты о нем понимаешь, душа? Хлюст, хлюст и хлюст. Так я понимаю. И х человек. Я ноздрями, - и он шумно втягивал воздух, - ноздрями эту породу чую. Бес. Мелкий



бес. Не крупный. Что молчишь, душа? Я его взгляды на ней, — звякнул синенький графинчик, — ненавижу. Не-на-ви-жу! Он же ее глазами раздевает. А я присутствую. Разве, ты вспомни, разве я на тебя так смотрел когда? Мне до твоей косы дотронуться было страшно. А эти? Ненавижу. Мы в публичный дом приходили, и уж не гимназистами, уж ку-у-да-а позднее! А глаза опускали. Ибо совесть была. Стыд. Жгло. А и х ничего не берет. Бандиты. Что молчишь, душа? Меня опять ночами кошмары терзать стали. Намедни приснилось, что он у нее пальцы отгрызает. Она играет, к концерту готовится, а он подходит и наклоняется над ее руками, вроде бы поцеловать. И вдруг я вижу — кровь...

Гортанное материнское "А-а-ах!", разрывающее гортань.

Бабуля рассказывала так:

— Он увез ее в Германию. Она была уже беременна. Он женился на ней, потому что ему по положению полагалась жена. Мы с твоим дедом всегда думали, что он чекист. Она поначалу говорила: военный. Посылают в Германию служить. Мы ни разу не видели его в военной форме. Только в штатском. И всегда был прекрасно одет. Выбрит, все с иголочки. Она пришла к твоей матери и сказала ей, что ждет ребенка. Она его боялась, и ехать с ним боялась, и рожать боялась. Такая красавица! И уехала.

\* \* \*

Темная весна в этом году, дождливая. Я стучу на машинке. Мне тоже снятся сны, и я многого боюсь. Вчера была в госпитале, где навещала восьмилетнюю девочку. Ее мать сказала мне по телефону: "Приходи, она хочет тебя видеть". У девочки опухоль мозга. Завтра будут известны резуль-

таты биопсии. "Come, she wants to see you". Я набираю телефон госпиталя и слышу детский голос: "Come again. Surprise me". Меня душат рыдания. Да, я многого боюсь.

\* \* \*

Итак, она пришла к моей маме. Она постучала кулаком в дверь (звонка не было!), она стучала по рваному войлоку, и мама открыла ей.

- Тома, - сказала она, - я заоченела, пока дошла. Март называется! Дай мне чего-нибудь горячего. Чаю. Или просто воды.

На улице было тепло. Снег таял, плавилась сосульки. Зима умирала на глазах, исходила слезами, цеплялась последними колючками за воротники и шарфы, прощалась. Никому не было дела до нее.

- Как ты могла замерзнуть? Теплынь такая! Я все форточки открыла! Пойдем на кухню, чайник поставим!

На кухне с деревянным крашеным полом и до блеска вымытым фикусом на подоконнике шаркала тапочками Матрёна, древняя старуха, жившая прямо против уборной в крошечной темной комнатушке, увешанной бумажными иконками и уставленной сундуками. В плохую погоду она дремала у себя на сундуке на куче тряпья, а в хорошую нищенствовала на Ваганьковском. Матрёна въедливо посмотрела на них из-под лохматых седых бровей:

- Никак ты, Натулька-красотулька? А чевой-то ты пожелтела вся?

Мама стала было резать серый пайковый хлеб, но она остановила ее руку.

- Тома, я не хочу есть. Ничего мне не давай. Просто чаю выпью. Я не могу есть. Меня тошнит все время.

И тут она рассказала ей всё. Я отчетливо слышу, как она рассказала ей всё, и про ребенка тоже. А мама прошептала:

- Брось его. Что ты, с ума сошла?

- Как же я его брошу? Я без него дышать не могу. Нет, ты пойми, ведь это не любовь. Я ведь его не люблю. Каждый день думаю: ни за что к телефону не подойду! И подхожу, как миленькая. Не хочу его видеть, а бегу. Боже мой! Всё, теперь уже поздно. Его посылают в Германию работать, и я поеду с ним. И там рожу. Все-таки не так стыдно: родить через шесть месяцев вместо девяти, правда? Свадьбы никакой. Я не хочу, и он не хочет. Только мы, родители и ты. И сразу уедем. Если бы ты знала, как я его боюсь! А стесняюсь как! И когда он раздевает меня, и когда рассматривает. У него было очень много женщин, я знаю.

- Он тебе говорил?

- Да. Смеясь причем. Он сказал: "Забавно: все бабы в темноте белые, а ты коричневая".

И тогда мама заплакала. Она заплакала не от жалости и не от страха за Наташу, а от того невыносимого напряжения, которое передалось ей, разлившись поначалу вишневой краской по Наташиному лицу, надломив - ровно посередине - высокие ее брови. Мама плакала, а она, с надломленными бровями, стиснув пальцы, сидела неподвижно. Потом прошептала: "Подожди, меня тошнит", и выскочила. И мама, растерявшись, выскочила за ней и, замерев у двери уборной, услышала, как она давится там, гортанно, как ее цыганка мать, постанывая: "А-а-ах..."

На столе, покрытом пожелтевшей скатертью, раскинулось небывалое богатство: полупрозрачная огненная семга, черная икра, сыр с длинными аккуратными дырочками, тающий во рту белый

хлеб. Отец, как всегда, подливал и подливал из синенького графинчика. Жених казался слегка раздраженным, жадно ел, словно желая, чтобы вся эта, им принесенная роскошь, ему же и досталась, мать, кутаясь в шаль, расплетала и заплетала кончик неподколотой косы темными пальцами.

- А позвольте мне поинтересоваться, Виталий, - отцовский мизинец с отполированным ногтем сильно дрогнул, - где же такое богатство достают? Какие-такие подземные дворцы его прячут?

- А вам зачем? - он пережевывал семгу и отреагировал не сразу.

- Мне? Мне-то, конечно, ни к чему. Праздное любопытство. Да ты не тревожься, душа, - прибавил он, поймав брошенный на него знакомый взгляд. - Я ведь мирный вопрос задал. Наимирнейший. Как близкий, так сказать, родственник. Хотелось бы приподнять одну таинственную завесу...

- А нечего приподнимать, - резким движением головы жених ослабил слишком тесный галстук. - Работали люди, воевали. Жизнями рисковали. Ну, и пользуются заслуженно. Пока живы. Все ведь, знаете, из мяса да из костей сделаны.

- Ах, вот что! - и звякнул синенький графинчик, и быстрее задвигались заплетающие косу темные пальцы. - Рисковали и заслуженно пользуются? А я вот, знаете, по улицам не могу ходить. На обрубки человеческие не могу смотреть. На славных этих, так сказать, героев: летчиков, да морячков, да танкистов, которые теперь на деревьяшках милостыню выпрашивают. И ведь подают-то не все. Прямо скажем - немногие подают, обеднели люди. А пуще всего сердцем обеднели. Больно страшно жить стали. Я опять-таки обе стороны охватываю: практическую и духовную, так сказать, я...

- Да что вы раскудахтались: я, я, я! Легче все-

го за печкой сидеть да водку пить! Обрубки... Построят им инвалидные дома, будут жить-поживать. Не всё сразу. А ходить да вражьим взглядом недостатки высматривать – последнее, скажу вам, дело! И мой вам совет: вы это дело бросьте! А то ведь, неровен час, и реснички подрежут!

– Вы, голубчик, – звякнул синенький графинчик. – Вы на что же намекаете? На Большой дом, что ли? Да я уж свое отбоился. Уж почитай тридцать лет зубами стучу – сколько можно? Или вы на меня прямо со свадьбы доносить пойдете? Вольному воля! Да не бледней ты, душа! Что он мне сделает? Уж хуже того, что сделал, вряд ли выдумает!

Жених встал. Томе показалось, что он взвешивает ситуацию. Кроме него, за пожелтевшей скатертью было четыре человека. Ситуация, в сущности, была безопасной. Кроме того...

– Ну, хватит, попиروвали. Заеду за тобой на машине перед самым вокзалом. Чтобы готова была, шофер ждать не может. А с вами, дорогие родственники, прощаюсь сейчас с болью в сердце...

Перекинул через руку светлый плащ, хлопнул дверью. Все молчали. И тогда мать, бросившая свою косу, встала, подошла к неподвижной, пронзительно-бледной Наташе, прижала ее голову к своему животу и прикрыла ее шалью...

– ...а вот это, – говорит бабуля и вынимает из папиросной бумаги большую фотографию, – это прислала нам из Германии. Да пей, пей молоко, а то никогда горло не пройдет! Пей, пока горячее, рада в школу не ходить! Смотри: это Наташа с дочкой. Ей здесь полгода. Анечка. Назвала в честь своей матери.

Одна уехала и родила дочку. Другая была близко, но встречи с ней стали сущим мучением.

Она забегала ненадолго, всегда испуганная, с красными пятнами на круглом лице, целовала их всех по очереди: Тому, Томину маму, кошку и начинала плакать. Самое ужасное: Ляля ничего не рассказывала. Вернее, по рассказам получалось, что всё в порядке. Пьет? Да, немного. Меньше, чем раньше. Жалуется на сердце? Нет, больше не жалуется, Жанетт вылечила его травами. Любит ли ее? Круглое лицо принимало снисходительное выражение. Очень любит, но какой же мужчина, да еще прошедший войну, скажет об этом? Вот неделю назад умерда канарейка, захлебнулась, с канарейками это бывает, и он плакал. Пил и плакал. Потом, когда бутылка кончилась, сказал: "Поди, выброси ее на помойку".

- Ну, а ты?

- Что я? Я говорю: "Колечка, может быть, закопаем?"

- А он?

- Что он? Рукой махнул.

- Тогда что же ты плачешь?

- Разве я плачу? Просто рассказываю...

Тома и огорчалась, и хотела помочь, но сама была при этом непростительно счастлива. Грустно, мы никогда не совпадаем в счастье с теми, кого любим. Мы счастливы в одиночку и так же, в одиночку, несчастны...

Что делала я в тот день, когда Таню укусила оса, жало которой было для нее смертельным?

Маленькая реанимационная палата, слепой дождь за окном и вся опутанная проводами и пластиковыми трубочками - моя Таня, лежащая в коме, неподвижная, с закрытыми глазами, уже оторвавшаяся от этой жизни и еще не причалившая к той, спокойная, бесстрастная, босою ногою нащупывающая холодную воду невидимой реки и обнаженной рукою машущая равнодушному лодочни-

ку, тускло-белая на белом песке окоченевшего времени, моя Таня, совершенно одна, и даже будь я там, на том берегу, под тем же слепым дождем, я ничего не изменила бы, не удержала бы, не спасла...

\* \* \*

- Они так счастливы вместе. Разве вы не знаете, что такое любовь? - ласково говорила моя бабуля тупо глядящему на нее краснощекому участковому.

Участковый зарделся ярче и сложил руки ковшиком на коленях. Разговор происходил утром на фоне отмытого до блеска вечнозеленого фикуса. Они сидели на табуретках друг против друга: моя бабуля, остроглазая, грациозная, и молоденький милиционер, пришедший выяснять, на каком основании в доме 4, квартире 4, по Первому Труженникову переулку проживает жилец с фамилией, которую выговорить невозможно: Штапинец? Штанемец? Штанец?

- Да, - говорила моя бабуля, светло улыбаясь и первый раз чувствуя, что представитель страшной власти не так страшен ей, как обычно, - вы совершенно правы. Выговорить невозможно. Только по складам: Шта-й-н-мец.

- Эк, - крикнул милиционер, - Штан... Чего?

- Не Штан, - любезно поправила бабуля, - а Штай, а потом пауза и - нмец. Штай-нмец! Ну, попробуйте!

- Штам... - нерешительно сказал участковый.  
- Йец!

- Ну, почти, почти, - успокоила его бабуля.  
- Да, это и неважно, правда? Так вы согласны со мной? Любовь, понимаете? И хотят быть вместе. Так что же им делать?

- Мы ведь почему беспокоим, - доверительно

пробасил милиционер. - Потому как беспорядок намечается. Вместе-вместе, а паспорта врозь. Когда кого любишь, у того и прописывайся, правильно говорю?

- Ну, еще бы! - засияла бабуля. - Еще бы! Кто спорит? Да он и пропишется. Сначала они распишутся, а потом он пропишется. Ведь такой порядок-то?

- Да как же вы его к себе нерасписанного-то взяли? - ахнул милиционер. - Да моя матка так бы погнала нерасписанного, кабы к сеструхе кто прилепился! А вы ласкаете... А ну, как он завтра слизнет?

- Не слизнет, - прошептала бабуля и оглянулась на хмурую Матрёну, подбоченившуюся в дверях уборной и смахивающую на растрепанную бабу Ягу. - Этот не слизнет. Любовь, понимаете?

Нерешительно потоптавшись, участковый дал две недели сроку и ушел. Тут Матрёна не выдержала.

- Последние мозги потеряла! - гаркнула она и ударила клюкой об пол. Фикус вздрогнул. - Я тебе прямо скажу, я не Катька-стерва, вилок серебряных у тебя не крада! Я тебе, Лизавета, как на духу говорю: обрыдло мне на это глядеть! Девка-лебедь, и чтоб за яврея иттить! Да, мать его в качель, за женатика! К ним, к поганым, нешто в душу влезешь! Понапилился христьянской кровушки!

Не успела, не успела - отсюда, из Бостона, через тридцать пять лет слышу! - не успела моя бабуля достойно ответить Матрёне, потому что тут-то он и появился на кухне - кудрявый мускулистый "женатик" с отчетливо выраженным семитским лицом, стесняющийся и голубоглазый. Он вышел умыться и долго плескался под ледяной водой, и кудрявую темнорусую голову окатил заодно, весь крашенный пол с разлапистой фикусной тенью обрызгал.

- Тьфу на вас! - плюнула Матрёна и скрылась



к своим сундукам и бумажным иконкам.

А солнце разликовалось окончательно и принялось сжигать своим августовским огнем синий эмалированный таз на табуретке, и растрепанный веник под раковиной, и маленькие бабулины руки, подтирающие пол...

- Всех спровадили! - сказала она самой себе и засмеялась. - И Емелю в погонах, и эту ведьмулю...

...здесь, в Новой Англии, где я живу, осень на редкость красочна. Лиственное золото оmyвает черные стволы и уходит в пронзительную синеву чужого неба.

Я иду и смотрю под ноги. Иду медленно, усталая, раздраженная, с работы. И вдруг, взглянув на противоположную сторону улицы, останавливаюсь. Стою и смотрю. По противоположной стороне идут мой отец и мой сын. Они явно торопятся и на ходу ведут оживленный разговор. Сын от возбуждения (а разговор скорее всего самый примитивный: о машинах!) забегаєт вперед и заглядывает деду в лицо. У них совершенно одинаковые походки, они одинаково косолапят и одинаково двигают на ходу руками. Загадочная штука - наследственность! Я смотрю им вслед, пока они не скрываются в дверях, и чувствую, что на сердце у меня яснее.

А тогда, тридцать пять лет назад, тоже была осень. Медленным, догорающим, как полено в печи, вечером они ехали на дачу, и омытые листовным золотом, сверкали за окном деревья, и торговали жареными семечками на дощатых платформах, и врывалась в паровозный гудок взвизгивающая гармошка, растягиваясь вместе с ним в красном воздухе сизым тревожным дымом. Народу в вагоне было немного. Вдруг она увидела, как он блед-

неет. Он бледнел и зажимал ладонями верх живота — солнечное сплетение.

— Что ты? Что с тобой?

— Мне больно. Вот тут. О—о—о!

Он скорчился на лавке, и крупные капли пота выступили на его лбу под тщательно причесанными темнорусыми волосами.

— Но не бойся, сейчас пройдет. Сейчас будет проходить.

Акцент его стал особенно заметен и что-то беспомощно ребяческое появилось во всем подтянутом молодческом облике. Прямо на ее глазах он превращался в того испуганного еврейского подростка, которым она видела его на полустертом снимке с карандашной надписью по-немецки: "Седьмая гимназия на улице императора Вильгельма. 6 класс".

— Легче тебе? Легче? — всхлипывала она, вцепившись руками в его судорожно сведенные колени.

— Легче, да. Не надо волноваться. Видишь, почти прошло. Я тебе не говорил. Это началось два месяца назад, когда он запрещал мне видеться с мальчиком. Я ходил по Ульяновской, и мальчик смотрел на меня из окна. Я уходил. Мне надо было идти к нему обратно, но я не мог. Я уходил к тебе. И он видел меня в спину. И когда я ездил на троллейбусе, это началось. Чуть доехал. И потом второй раз, помнишь, когда мальчика забрали со скарлатиной? Она сделала звонок и сказала, что я могу проводить его. Я побежал. И я не успел. Они уже уехали. Я примчался на такси в эту больницу — как ее? — на Серпуховке. Они еще были в приемной. И мальчик бросился ко мне. Он весь дрожал. В длинной рубашке. С клеймом. Дед внушил ему, что я сволочь. Я сволочь, потому что не могу жить с его матерью. А я не сволочь! Не сволочь!

Он произносил это слово с еще бóльшим акцентом, чем всё остальное, и с помощью этого грубого слова (а грубость в чужом языке всегда чувствуется меньше!) настаивал на своей смутной правоте.

- Я не встречал деда в больнице. Он был в синагоге. Так она сказала. Он бы не дал ей позвать меня. А мальчик так дрожал. И прижался ко мне. И эта женщина - как ты их называешь? - нянечка отобрала его и увезла. И он вырвался и опять бросился ко мне. И я его опять обнял. И его опять увели. Он кричал: "Папочка!" Я отвез ее на такси домой, и, когда шел обратно, эта боль опять началась. И вот опять. Я звонил туда сегодня. Они положили трубку. Но я хочу видеть ребенка! Тома! Эта сволочь - боль!

Она гладила его мокрый лоб, бормотала:

- Потерпи, сейчас. Сейчас пройдет. Еще немножко. Это нервы. Давай выйдем в Мытищах. Это просто нервы, не бойся.

Желтоглазая старуха с котомкой приостановилась в проходе:

- Парень! Никак родить собрался? Ишь закрутило-то! К доктору надоть!

В Мытищах он, закрыв глаза, глотал горьковатый от паровозного дыма осенний воздух и повторял, сжимая ее теплые пальцы:

- Я не сволочь, не сволочь, не сволочь...

Раскаленный шар катился по хрустящему снегу Первого Труженникова. Раскаленным шаром была жизнь, перемальывающая, переплавляющая, расплющивающая глаза, слова, руки, губы, правоту и вину, восхождения и провалы - всё, из чего складывались в ней дни, часы и минуты, всё, что составляло ее огнистую обжигающую плоть, ее абрикосовую мякоть, прыгающую по ночью выпавшему снегу Первого Труженникова.

Там, где эта плоть кровоточила, были полные ужаса глаза его ребенка в длинной, до пят, ночной рубашке с клеймом посредине, его разлитый чернильным пятном крик по белому, пахнущему хлоркой больничному коридору: "Папочка!" Там был сухой, пылью забивающий дыхание голос его бывшего тестя: "Он вам не нужен. Не приходите сюда больше". Там, где кровоточило, был наскоро собранный чемодан и уход. А там, где она, эта же самая плоть, становилась спелой абрикосовой мякотью, где она сладко растекалась по нёбу, по горлу и глубже, глубже, пока не обжигало всё нутро одним не вмещающимся, пульсирующим счастьем, там был ласковый голос по утрам и теплые каштановые пряди на его плече, и теплые плечи с розовыми шелковыми бретельками, и эти шутки, и взрывы задыхающегося смеха за вечерним чаем, под мирным светом оранжевого абажура...

Иногда он наивно удивлялся, что в доме под оранжевым абажуром над жизнью всё время подшучивают.

- В кухню не ходите, там профессор сел лекцию читать, - говорил ее отец, щурясь и еле заметно усмехаясь в усы.

Это значило, что татарского происхождения дворник Сашка, живший в смежной с Матрёниной комнате, вместе со своей исполинского роста ревнивой женой Катей, за брак с которой его прокляла вспылчивая восточная родня, опять сел в кухню парить ноги и читать ежевечернюю "Правду".

- Подлей, Катюш, еще, - задумчиво говорил маленький, багровый от жара Сашка, перебирая разваренными ногами в ведре с кипятком. - Холодеет, сука, быстро. Никак тепла не наберу. Ну, слушай дальше про пленум.

Дальше начиналось монотонное чтение по складам:

- Пос-та-нов-ле-ни... поста-нов-ле-ние па постановление пар... ти... постановление пар-тии, подлей еще, Катюш, не жидись, поста-новление-партии о на-ру-ши-те-лях...

- Ирод, - любовно бормотала Катюша. - В лю-том кипятку сидеть, да ишо читаеть! Глаза по-портишь! С пару-то ничего не видать! Ай оглох?

Медленно шел снег, и, распаренные не хуже Сашки, они поднимались в гору из кирпичной сплющенной баньки к себе, на Первый Труженников.

- Ты думаешь, я случайно просидел всю жизнь в этой дыре? С женой и дочкой? Ни разу не заикнулся о квартире, ничего не попросил? Не завел ни одного нового знакомства? Не выпил больше двух рюмок в чужой компании? Я боялся их и боюсь. Но на себя-то, в сущности, наплевать, судьбы конем не объедешь, а Лизу с Томкой надо было спасать. Я и спас, судя по всему. Ломал себе голову: как? что? куда деваться? И придумал. Залез сюда, в эту нору, как в варешку, ни разу наружу носа не высунул! Кому я нужен? Скромный юрисконсульт. Маленький чиновник. Акакий Акакиевич... Вот так. Мало ли, чего мне там хотелось! Что толку обсасывать? Вот так. А сколько м о и х полетело! Жить хотели, на свет их тянуло! А на свету... Головы, как спелые яблоки, сыпались. И всё еще сыпятся. Мне по ночам прежде снилось, что за мной пришли. Даже не то чтобы снилось, а так, знаешь, мираж какой-то. Галлюцинация. Видел, как меня уводят. И я ухожу, но в дверях оглядываюсь. И у печки стоит Томка, лет так тринадцати, в спортивных трусах и в майке. И я понимаю, что вот это всё. Часто так галлюцинировал. Боялся иногда спать ложиться, свет гасить. Как ты понимаешь: болезнь, но ведь с такими симптомами ни к одному врачу не пойдешь. Потом как-то само прошло, потускнело. Что

говорить... Единственно, что себе позволил, — дачу. Продал Лизино изумрудное кольцо и построил этот дом. Ну, пойми: не мог устоять. Очень хотелось. Всё, что они у меня отобрали, я как бы и вернул. Хитростью. Не имение, так домик с садом. Не беседка с деревянным кружевом, так лавка под жасмином. А лес — везде лес, и поле — всё поле. Я после этой норы, где Сашка вечерами потные ноги парит, еду к себе домой. Там вишни. Крапива. Петухи поют, дымком тянет. Вот родит Томка дочку, и я буду с ней в лесу гулять. Грибы собирать. Маслята.

И худощавой рукой похлопал его по плечу, заснеженному, сверкнувшему под фонарным светом.

Ночью она разбудила его:

— Прости, пожалуйста, никогда не буду тебя тревожить. Последний раз. Я не умру? Мне вдруг так страшно стало. Умру, и ты останешься с маленькой девочкой. Один. И тебе придется жить без меня. Матрёна будет на нее клюкой стучать.

Она смеялась, но щеки и грудь были мокры от слез.

— Что ты глупости говоришь!

За стенкой стонуше храпела Катя. По потолку плавно прокатился свет от машинных фар.

— Нет, не глупости, не сердись. Я вдруг почувствовала, что это случится. Меня нет, и ты один, с маленькой девочкой...

\* \* \*

— Посиди, — говорит мне папа и расстилает на маленькой, припорошенной снегом скамеечке свой полосатый шарф. — Я наберу воды, и мы эти цветы поставим. Тогда они будут стоять дольше. Дня четыре не завянут.

- Папа, - спрашиваю я, внимательно разглядывая розоватый камень с тонкой золотой надписью. - Папа, а она - где? Она видит нас? Эти цветы? И то, что я тут сижу?

- Да, - произносит он твердо. - Да, она всё видит. Всё видит и знает.

- Но как? - удивляюсь я. - Как? Где же она?

- Она на небе. Она наш ангел. Ты ведь знаешь, что это такое? Так вот. Наш с тобой ангел - это она.

Я не всё понимаю в его словах, но принимаю, как и многое другое, на веру. И пока он набирает на колонке воды в мутно-желтую большую банку, а потом протирает мокрой тряпкой памятник, я смотрю на небо, вижу его прохладную голубизну, вижу его слабое, подтаявшее по краям облачко...

- Ну, пойдём, - говорит папа. - А то ты замерзла.

Он обматывает шею полосатым шарфом и, пропустив меня в низенькую железную калитку, наклоняется, целует этот холодный розовый камень и медленно проводит по нему ладонью, прощаясь.

\* \* \*

По пятницам Матрёна пекла блины. Чаще всего они подгорали и в кухне было дымно, не продохнуть.

- Да поешь, поешь, пока горяченький! - пела Матрёна. - Ишь пузырится! Сама не хошь, так ребятёночка свою покорми. Када рожать-то? Вот родишь, так мы яво, кудрявого твою, поглядим! Как ребятёнок народится, да как начнеть по ночам пищать, тут из них, из мужиков, вся поганая порода наружу лезеть! Вот тада мы поглядим, как он тебя любить...

В дверь застучали. Заколотили. Неистово.

— Кого нечистая несёт? Никак опять татарва надрамшись? — изумилась Матрёна и, шаркая тапочками, пошла открывать.

Сначала в образовавшуюся щель просунулся угол ободранного черного чемодана, а потом над ним запрыгало ее круглое, распухшее от слез, лицо.

— Томочка! Он меня выгнал! По-настоящему. Томочка!

Она опустилась на табуретку прямо посреди этого кухонного дыма и чада и зарыдала с новой силой выплескиваемого отчаяния.

— Ради Бога, пойдем в комнату! Да не кричи ты так! Лялька, я сейчас к нему поеду! Да не кричи ты! Ну, он тебя сто раз выгонял! Да успокойся ты! Подожди, я хоть валерианку найду! Господи, вот и мама пришла! Побудь с ней, видишь, что творится? А я на Шаболовку и обратно!

Накинула вязаный жакет, уже не застегивающийся на животе, и — в дверь.

Он встретил ее, не похожий на себя. Спокойный, трезвый.

— Зачем пожаловала, Тамара? Запыхалась... Садись. Что скажешь?

— Коля, ты ведь хороший человек! Я всегда чувствовала, что ты хороший! Что у вас случилось?

— Не хотелось бы мне об этом, Тома. Но раз уж ты с этим пузом прибежала, давай поговорим. Ты вот сказала: "хороший человек", да? А я в себе человека-то и не чувствую. Так, живет себе какое-то существо. Пьет, спит. Чаще всего с бабой, одному-то страшно. Водку лакает. А дальше — пустота. Черная такая, липкая, как земля в окопе. Ни просвета. Чего ты хочешь от такого?

— Миленький, ну пожалей ее!

— Я, Тома, себя жалею. Мне с ней — как тебе объяснить? Мне с ней трудно. Она меня, бедняга, на



поверхность вытягивает, а я туда рвусь, в землю, поглубже. Ну, ошибся, не додумал. Она ведь, как канарейка моя, покойница, такая же щебетунья, так же перышки чистит. Изю всех баб моих самая, честно тебе сказать, замечательная! Ласковая, аж до слез. Только это ничего не меняет. Дальше, как ни крути, только хуже будет. Ей ведь детей, как тебе, надо, гостей там всяких, чтоб всё как у людей. А мне бутылку погорчей да дверь поплотней. Хороша парочка? Да и любить-то я не умею. Разучился, судя по всему. Она щебечет, а у меня от злости ком в горле. Топлю ведь ее. Ты посмотри, на кого она у меня похожа стала! Пришла ведь, как лиса лесная, теплая, пушистая. Смешная такая. И погляди, что с ней за четыре года стало? Кошка ободранная. Мне бы ее пожалеть, по перманенту погладить, а я от злобы, как самовар, закипаю. Нет, это не жизнь. И обсуждать тут нечего. Но раз уж ты все равно пришла, сделай доброе дело: забери ты от меня все эти салфеточки, всех этих зверюшек да куколок. Ты посмотри, во что она комнату превратила? Музей прикладного искусства, а не жилье! Хотя... Что греха таить? Я еще без нее заскучаю. Но ничего, баб на мой век хватит. И на безногого кидаются. Зубами готовы рвать. Изголодались. Ступай, Тамара. Прости, что так.

Она медленно спускалась по лестнице и думала: "Как же я передам ей всё это?"

Рябина горела красной кистью. Да, горела. И листья падали. Я родилась двадцать первого сентября. Утром в деревянном доме напротив был пожар. Из окон вырывалось пламя. Шипела вода. А я просила, чтобы этот мир принял меня, впустил, и болью, похлеще любого огня, пронизывала материнское тело. А через неделю меня приняла теплая комната в доме 4, квартире 4 по Первому Труженни-

кову переулку, и суетливые мои тетки, дедовы племянницы, кричали папе:

- Не клади, не клади ее на одеяло! На мех надо! Чтоб была счастливой! Чтоб была здоровой! Чтоб была богатой!

И прыгающими от волнения руками он положил меня на вытертую котиковую шубу.

\* \* \*

- Пей, пей молоко! Пей, пока горячее! Наказанье мое! Хочешь, я почитаю тебе "Онегина"? А что ты хочешь? Опять мамин чемодан?

\* \* \*

Она прислала неожиданную телеграмму: "Возвращаюсь завтра восемь. Вагон шесть. Наташа".

Удивленные, радостные, они встречали ее после трехлетней разлуки. Отец сжимал в руках полуживые зимние цветы. Осторожно нащупывая ногой вагонные ступеньки, она спустилась к ним с девочкой на руках.

- Когда на следующий день она пришла к нам, - и бабуля незаметно опускает в мое горячее молоко кусочек масла, - я просто ахнула. Такая красавица! Анна Каренина. Еще лучше стала. Во всем заграничном. Ботинки, как сейчас помню, на толстой-претолстой подошве. Кофта с деревянными пуговицами. Волосы постригла. А какие были косы! Но ей всё шло. Схватила тебя на руки и не отпускает. Несчастливая! Господи...

Что она рассказала моей маме, когда они шли с ней по остекленевшей белой Девичке? Откуда я знаю? Мне не было четырех месяцев, и я спала.

- Тома, я думала, что более чужих людей на свете просто не встретишь. А вот теперь его нет, и мне, как Матрёна бы сказала, выть хочется. Места

себе не нахожу, спать не могу. Хотя дышится мне без него словно бы и легче. Горечи такой нет. Не смотри ты на меня так, не ужасайся! Все равно я всё только тебе одной и могу рассказать. Ну, ладно. Даже не знаю, с чего начать. Приехали мы, меня тошнит. Голова всё время кружится. Вокруг не город, кладбище какое-то. Все в черном. Дети голубоглазые, вежливые, глаза опущены. Да и у взрослых опущены глаза. Он уходил в восемь, приходил в семь. При этом ни за что не хотел, чтобы я поддерживала отношения с этими – как их? – с женами... Чтобы ни-ни: сиди дома, не рыпайся. Никакой ни с кем откровенности! Ну, этому я и сама была рада, потому что эти жены... Они всё горевали, мы поздно приехали. Поживиться нечем. Все гобелены по офицерским чемоданам растеклись. Всё уже разграбили. Это в те-то еще годы! Так вот я и сидела дома. Совершенно одна, и меня рвало.

Она вдруг осеклась. Медленно плывущий с неба снег забелил их головы в вязаных шарфах и неуклюжую голубую коляску, в которой я спала и ничего не слышала, ничего не понимала в этом засыпаемом снегом разговоре. Она молчала и слизывала снег с верхней губы. И тогда мама, розовая от холода, с повисшими на ресницах капельками, сказала ей: "Что? что?"

- Меня рвало, и я была совершенно одна. Он приходил вечером. Он очень изменился там. Стал каким-то каменным. Ел молча. Потом...

Она опять замолчала. Мама ждала со страхом.

- Потом сразу в постель. Господи, чего он только ни выделял со мной! Я сначала ужасалась, потом привыкла. Меня затягивало, как в омут. Воля пропадала. Когда я на следующий день вспоминала это, меня бросало то в жар, то в холод. И ведь ко всему этому я же Аню ждала! Утром вставала вся разбитая, вся в пятнах, но...

как сказать? Не счастливая, а какая-то словно огнем наполненная. Нет, не могу, не смотри на меня.

Так продолжалось месяца три. Потом, когда беременность стала совсем уж заметной, он вдруг резко от меня отстранился. Ужинал, читал иногда и спать. Даже не целовал. Это ему было безразлично. И вот родилась Аня. Мне стало сразу легче. Я первый раз почувствовала себя счастливой. И Аня, ты знаешь, сразу же была невероятно похожа на маму, на мою маму, это так чудесно, правда? Я как-то даже перестала обращать на него внимание. Вся принадлежала ей. А он — это чудовище, нелепо, но правда — он меня к ней ревновал. Ее кровать стояла рядом с нашей. Среди ночи я вставала кормить. И пока меняла пеленки, она, как все дети, попискивала. И я, естественно, перекладывала ее на нашу постель, ему под бок. Поначалу он терпел. И вдруг взорвался. Он кричал, что достаточно устает за день, чтобы вкалывать еще и ночью, и если бы он знал, какую райскую жизнь я ему тут уготовлю, без сомнения оставил бы меня в Москве. Я стала перекладывать ее на кресло. У нас там было большое такое, вишневое. Это его тоже взбесило, потому что я так безропотно, понимаешь, безропотно, сделала, как он хотел, словно бы не сочла нужным с ним объясниться, словно бы его этим оскорбила. Тем не менее и после родов, когда я просто на ногах еле держалась от усталости, он почти каждую ночь будил меня. И я опять подчинялась ему. Нет, я, наверное, сама любила его какой-то ужасной, постыдной любовью. Изнурительной, ночной, рабской. Объяснить это невозможно и совестно... В общем, я тебе почти всё рассказала...

Две совершенно белые фигуры шли по остекленной Девичке. Запорошенной гусеницей полз

трамвай за чугунной оградой. Я спала и видела сны.

Небо было забито облаками, как ватой. Тяжелая клочковатая вата висела над сквериком, где она сидела рядом с бескровной голубоглазой старухой, одетой в траур. Быстро темнело. Она взглянула на часы. Шесть. Скоро он придет ужинать. Жизнь постукивала по накатанным рельсам. Душная вата забила небо. Она подхватила смуглую девочку, похожую на цыганку, усадила ее в коляску: "Пойдем, Анечка, скоро папа придет".

Картофельные котлеты стыли на столе под салфеткой. Он не пришел ни в семь, ни в восемь, ни в девять. В десять ей стало страшно. Она ходила по трем большим комнатам со старой дубовой мебелью, сжав виски ладонями и прислушиваясь. У него могло быть срочное задание в той части Берлина. Но он обычно знал об этом заранее и предупреждал ее. Второе предположение было нелепым, но она остановилась именно на нем. Женщина. Да, без сомнения. Она перенесла Аню на постель. Прижалась лицом к чернокудрой головке и заснула.

Под утро ее разбудил стук в дверь. Двое в штатском – один маленький, с узкоглазым морщинистым лицом, второй – высокий, жилистый, отстранив ее, молча прошли в квартиру. Она с ужасом запахла халат.

– Ваш муж не ночевал дома? – скорее утвердительно, чем вопросительно, сказал первый.

– Нет, – прошептала она. – Нет, нет...

Они спросили, когда он приходил обычно. Она ответила. Высокий жилистый вдруг снял очки и положил их в карман. Голые, без ресниц, немигающие глаза посмотрели на спящую Аню.

– А не заметили ли вы чего-то странного, необычного в его вчерашнем поведении?

Ей удалось перехватить его взгляд, устрем-

ленный на ребенка. Маленький, морщинистый, щелкнул пальцами.

- Мы вас не торопим. Вспоминайте, вспоминайте...

- Что с ним? - выдохнула она. - Где он?

- Вот этого мы пока не знаем. Должен был отчитаться вчера в исполнении важного задания. И не явился. Исчез. Похоже, что без следов. Вот как. Искали и днем и ночью. Нету муженька вашего.

И он вдруг фамильярно подмигнул ей.

- У нас тут свои подозрения возникли, - вновь заговорил жилистый, протирая очки. - И потому вы нам сейчас ответите на кое-какие вопросы...

Вопросы показались ей странными. Не изучал ли он вечерами какой-нибудь иностранный язык? Нет, не английский. Какой-нибудь восточный? Индонезийский, например? Японский? Не совершал ли длительных загородных прогулок? Насколько сильно был привязан к семье? Наконец, она не выдержала:

- Да где же он? Что с ним?

Маленький успокоительно похлопал ее по руке:

- Есть предположение, что муженек ваш бежал. Перемахнул. Фью-ить!

Она вздрогнула. Всё, что угодно, только не это. Что будет с Аней?

- Не забудьте, это только предположение. Не без оснований, правда. Но вдруг он к вечеру сам объявится? Или в лесу обнаружится тело неизвестного? А? Всё может быть...

Облака забили небо. Бескровная старуха с жидкими голубыми косицами равнодушно смотрела, как маленькая, похожая на цыганку, девочка возится в песке. Всё кончено. Он не придет больше. Бежал. Бежал? А как же Аня? Что будет с Аней? А, может быть, он умер? Убит? Может быть, свои

же и умертвили его? Она вдруг вспомнила отца: "Это же свора, душа. Дикие волки. Кобели цепные. Только хитро наусяканы. На своих охотнее, чем на чужих бросаются. Родственной, так сказать, крови жаждут. Вокруг страх сеют и сами дрожат. Сладостная картина. Что молчишь, душа?"

Звон синенького графинчика. Материнское "А-а-ах!"...

Ночью она почувствовала его руку. Рука нетерпеливо гладила ее тело, разливая медленный привычный огонь.

- Соскучилась?

Влажное жало вползло в ее губы, размыкая их, настаивая. Этим он всегда начинал. "Соскучилась?" Она раскрыла губы, потянулась навстречу. Впереди была пустота. Она тянулась с раскрытыми губами. Рука, гладящая ее тело, вдруг стала бесплотной. Голос отца произнес: "Что молчишь, душа?"

Она раскрыла глаза. Месяц, прозрачный, как лимонный леденец, чудом держался в небе. Еще немного, и он упал бы на ее постель, растекся бы по ней своей холодноватой желтизной.

Всё. Он не придет больше. Сбежал. Или умер. Свои или чужие, они убили его. Что будет с Аней?

- Я ждала еще несколько месяцев. Мучилась одна со своими подозрениями. Он мог засыпаться. Он мог испугаться, что засыпется. Сбежать. Или сдать. И те, и другие могли убрать его. Официально они объявили внутренний розыск и, пока он шел, не выпускали меня. Потом выдали справку: "Считать без вести пропавшим". И выпустили.

Я сплю. Снег идет. Вся Девичка в снегу.

Дед явно затаил что-то. Глаза его стали особенно хитрыми. Сашка парил ноги, и бабуля тер-

пеливо ждала, пока он освободит кухню. Девочку пора было купать. И в кого только этот Сашка уродился таким сибаритом?

- Лиза, - сказал дед, - мы должны взять прислугу.

- Прислугу? - ахнула бабуля, округляя глаза.  
- Какую прислугу?

- Просто прислугу, - твердо повторил дед, - чистоплотную. Не воровку. Не пьяницу. Чтобы кухарила и помогала с ребенком. По-нынешнему: домработницу.

- Опять за старое, - вздохнула бабуля. - Били вас, били...

Так в квартире 4, доме 4, по Первому Труженникову переулку появилось новое лицо. Ее звали Валькой, и она приехала из Калужской области.

Постепенно складывалось впечатление, что дед с бабулей взяли ее на воспитание.

- Да ты ешь, не стесняйся, - ласково говорил дед за завтраком. - Маслом мажь. А то из твоей худобы скоро опилки посыпятся.

Валька закрывала рот ладонью и прыскала.

- Когда смеешься, - вставляла бабуля, - не закрывай рта рукой. Это не принято, некрасиво.

- Не буду, тетя Лиз, - покорно соглашалась Валька и пальцем тыкала в синюю тарелку с изображением Наполеона. - Ктой-то?

- Наполеон, Валюша, - вздыхал дед. - Тот самый. А тебе надо в техникум готовиться. Нечего баклуши бить. Образование получать надо.

И принес с работы потрепанную "Историю КПСС".

Вечерами, вдоволь наговорившись с подружками по телефону, Валька располагалась на раскладушке за ширмой и сладко, до слез, зевала.

- Ну, давай, Валюша, давай, - подбадривал дед.  
- Давай, занимайся.



- Ой, дядь Кость, - с хрустом потягивалась Валька, - умаялась я до полусмерти. В сквере часа три гуляла с коляской, да в магазин сбегала, да вечером на Зубовской ситец давали, всю очередуху выстояла! Платье хочу пошить. А в башку, дядь Коль, ничего не лезет!

- Ну, хоть вчерашнее повтори, Валюша, - растерянно упрасивал дед. - Нельзя же так. Бездельница.

- Вчерашнее? - удивлялась Валька. Шуршали страницы. - А, вот оно: "Конституция - это основной закон..."

- Ты же эту фразу месяц учишь! - не выдерживала бабуля. - Опять конституция!

- Конституция - это основной закон, - бормотала Валька, засыпая. - Основной закон... Конституция...

И падала на пол толстая книга. Пылилась.

На Наташу было страшно смотреть. Анечка лежала в изоляторе на первом этаже. В инфекционное отделение родителей не пускали. Она складывала башенку из битых кирпичей, залезала на нее, прижималась лицом к окну, до середины замазанному белой краской, и мокрыми обезумевшими глазами не отрывалась от заострившегося личика на плоской подушке. Так прошло десять дней. На одиннадцатый Анечки не стало.

- Нет! - кричала Наташа и билась на только что вымытом кафельном полу. - Нет! Не верю! Неправда! Да покажите же мне! Не верю!

На похоронах она не проронила ни слезинки. А когда всё было кончено, легла на свежий холмик и замерла. Оторвать ее не могли никакими силами. Тогда дед сказал моей маме: "Идите. Уведи всех. Подождите нас на улице".

Продрогшие, заплаканные, они долго стояли у кладбищенских ворот, ждали. Наконец, она пока-

залась, поддерживаемая дедом под руку. Лицо ее было сильно испачкано землей.

Папу уволили в начале пятьдесят третьего. Сокращение кадров предваряло большую операцию по борьбе с евреями.

- Да плюнь ты, - успокаивал дед и гладил кудрявый папин затылок. - Пусть подавятся! С голоду не умрем!

- Я молотобойцем пойду, - скрипел зубами папа. - Видели мускулы? - И напрягал бронзовую руку. Мускулы каменели на глазах. - На завод пойду. Сволочи.

- Да, на заводе легко спрятаться, - грустно усмеялся дед. - Местечко теплое...

А в марте усатый хозяин умер. Растрепанная Валька голосила на раскладушке. Котлеты сгорели. На улицах была давка.

- Сегодня никто из вас из дома не выйдет, - дед предостерегающе поднял палец. - Никто.

- Как? - взвизгнула Валька. - Очумели, дядь Кость? - А проститься-то?

- Сиди, не рыпайся! - Лицо его было непроницаемым.

...я лежу на диване со своей любимой куклой. Кукла называется "кореец Пак" и представляет собой желтого узкоглазого мальчика в синих шелковых шароварах. Стук в дверь. Мама пришла!

- Скорей! - шепчет мне бабуля. - Дай маме тапочки!

Когда, много лет спустя, меня спрашивали: "Неужели ты ее совсем не запомнила?", я всегда отвечала: "Нет, запомнила. Она приходит с работы, и я даю ей тапочки".

\* \* \*

...туман. Молочный туман моей неуклюжей дет-

ской памяти, в котором я бреду наощупь с вытянутыми руками, натываясь на собственные сны и чужие рассказы. И вдруг в этом волокнистом, шумящем, как кровь в ушах, тумане, мои растопыренные пальцы упираются в нечто плотное, осязаемое, пушистое – мамины домашние тапочки. Красные. Да, это было. Это я знаю точно.

...я лезу под диван, достаю тапочки, слышу, как кто-то смеется, потом бегу к ней. Ее я не вижу. Чувствую только невероятную легкость, соединенную с чем-то сияющим, светлым, склонившимся надо мной, теплом, коснувшимся моей головы и исчезнувшим. Господи, какой туман... Я ничего не вижу. Что потом?

...подушки, гора подушек. Я подхожу ближе и опять что-то сияющее, большое выплывает мне навстречу. Смеха не слышно.

– Мама больна, – шепчет бабуля. – Пойдем. Мама спит.

Но она не спит. Я отчетливо вижу, как что-то плавное, белое – рука? – поправляет каштановую волну – волосы? – на большой белой подушке. Она не спит. Она сидит, откинувшись, и ей мешают волосы. Опять всё обрывается. Молочный, шумящий, как кровь в ушах, туман, и я бреду в нем с вытянутыми руками...

\* \* \*

В коричневом чемодане была отдельно связанная стопка. Она лежала с документами и не представлялась мне особенно интересной. Однажды я ее все-таки развязала. И замелькало странное: "...моя жена... грязное оскорбление, предьявленное моей жене... умершая в марте пятьдесят пятого года... обращаюсь к вам, уважаемый Никита Сергеевич... убежден, что нарушение законности и безобразная клевета, доведшая ее до могилы..."

После Анечкиной смерти прошло четыре месяца. Ляля сидела на низенькой скамеечке у огня. Волосы ее заметно потемнели. Наташа куталась в платок. Снег валил за окном.

- Ты завтра выходишь на работу?

- Да, - сказала Тома. - Немножко страшно. Но какие там ковры! И зеркала. Дворец. Нет, правда. Я думала, будет противно, но ничего, приятно даже. Машинистки все в лаковых туфельках. Где они их достают, Бог ведает! Привозные, наверное.

- Куда ты летишь, Томочка? - в соседней комнате звякнул синенький графинчик. - В гнездо, в осиное гнездо летишь... А ведь ты не оса, душа моя. Бабочка садовая, шоколадница...

- Она очень любит английский, папа, - негромко сказала Наташа, кутаясь в платок. - Она же ни к чему не будет иметь отношения. Просто переводить на переговорах. Министерство Внешней торговли все-таки не Министерство Внутренних дел, не путай!

- В этой стране, душа моя, все дела - "внутренние", "внешнего" ничего нету. И не иметь к ним отношения невозможно. Мы все к ним отношение имеем. Даже я, старый пьяница. Присутствую, молчу, следовательно, и отношение имею. Эх, Томочка! Сидела бы дома, с девочкой бы гуляла в скверике...

В скверике под взглядом накупившегося гранитного Толстого я гуляла с Валькой. Валька без умолку болтала с подружками, и будь я постарше, я легко поняла бы, что происходит у нас в доме.

- Через год буду в техникум поступать, - заливалась Валька. - Не могу я их сейчас бросить. Теть Лиз без меня свалится. Они ведь все ни свет ни заря на работу убегают: Томка в одну сторону, дядь Кость в другую, а кудрявый - в третью. Его ведь обратно взяли книжки перево-

дить. Он у нас все языки знает! Я вот в деревне жила, думала: евреи все синие да старые, как куры инкубаторские. Пальцы, блазнилось, у них скрюченные да жесткие, того гляди зацапают! Мне бабка Клавдя говорила: "Пуще всего, Валька, жидов бойся! Как завидишь жида, беги без оглядки!" А ведь всё, девчат, враньё! Наш-то красавец, хризантема, ей-Богу! Два раза на дню холодной водой обливается, Томку нашу любит, страсть! Не пьющий, ей-Богу! Капли в рот не берет! Одна беда: больно горяч! Как что не по нему, так и подскочит! А отходчивый. Она его по голове погладит, глядь и прошло. С той-то, с прежней своей, не ужился, подходу, поди, не нашла. А наша умная. Слова поперек не скажет, а всё по-своему сделает. Вот уж, девчат, правда: дал Господь голову...

После родов она неожиданно располнела. Вечно опаздывая, бежала на Смоленскую (трамваи ходили редко и добежать туда было быстрее, чем доехать!). Задыхаясь, распахивала тяжелую дверь, предъявляла пропуск. Стряхивала снег с вязаного шарфа. Поднималась в лифте на десятый этаж. Пахло чернилами, бумагой, крепким чаем. Машинистки стучали вишневыми ноготками.

- ...она, - говорит папа и страдальчески морщится. - Она была просто влюблена в эту работу. Ей всё нравилось: и это двадцатизэтажное уродство с башнями, и беготня, и то, что приходилось всё время говорить по-английски. Как она поплатилась за свою суетность!

- Он вчера на переговорах, Тamarочка, допустил идеологическую ошибку. Сказал, что производство сельскохозяйственных машин всё еще не налажено после войны, и...

- Да что же здесь идеологического?

- Как что? Ах, да, вы ведь это переводили! И вы ничего не заметили?

- Чушь какая-то! - она вспыхнула. - Где он? У себя?

Он сидел за столом, заставленном телефонами. Мучнистое лицо было отчаянным.

- Неприятности у меня, слышали? - потер виски ладонями. - Два пирамидона принял. Не помогло. Разламывается голова. Да, вот такие дела...

- Но я же переводила это, Дмитрий Степаныч, дорогой! Я же помню контекст! То, как вы это сказали, звучало совершенно уместно!

- Тамара Константиновна, - он понизил голос, оглянувшись затравленно. Она невольно придвинулась ближе, чтобы расслышать. - В том, что меня не сегодня-завтра выкинут, я не сомневаюсь. Хуже бы чего не было... Спасибо, что зашли.

И вот тут у нее застучало сердце. Я слышу, как оно неистово застучало, ее сердце, в котором дремал тот самый порок, который назывался "скрытым" и никак не проявлялся в этой своей "скрытости", пока не настало его время, пока оно не подошло.

- Что ты так задыхаешься, Томочка? - спросил дед, внимательно всматриваясь за вечерним чаем в ее горящее лицо. - Что ты так волнуешься?

- Но я же рассказываю! Такая несправедливость! И главное: ведь я переводила!

- Ты так возмущаешься, словно имела счастливую возможность привыкнуть к справедливости. Вот уж чем у нас и не пахнет!

- Да, но я переводила!

Лицо ее горело, она задыхалась.

Сразу после Нового года был назначен новый начальник отдела.

- Лялька, - она обхватила Лялину голову, - как я хочу, чтобы ты с ним познакомилась! Та-

кой замечательный! Деликатный. Я почему-то уверена, что он не женат!

- ...она всегда кем-то восхищалась, - папа страдальчески морщится. - Ей вечно надо было кого-то опекать, женить, знакомить! Ужасно! И ты такая же! Вот чего я боюсь!

"...мою жену в глаза обвинили в nepозволи- тельной связи с начальником отдела товарищем Рыжовым, - читаю я на пожелтевшем от времени листе. - Моя жена (зачеркнуто)... снести неза- служенных оскорблений и (зачеркнуто)... вслед за последовавшим увольнением слегла..."

- Пей молоко! Не помню я ничего! Не хочу я этого помнить! Спроси папу, пусть он тебе расскажет! Если найдет нужным! Пей, пока горячее...

Как же это началось? Откуда мне знать? Я гуляла с Валькой на Девичке, и суровый Толстой сверлил меня глазами.

Задыхаясь, она распахнула тяжелую дверь. Предъявила пропуск. В отделе было как-то слишком оживленно. Машинистки шушукались по углам.

- У Рыжова неприятности. Наверх вызывали.

- Что такое?

Через два дня Рыжова уволили, и маленький вертлявый заместитель в очках-лупах занял его место за столом, заставленным телефонами.

- Но я не могу, не могу с этим смириться! Как же я промолчу? Если бы ты видел, как он уходил! Как побитый! В дверях уронил какую-то книжку. Извинился. И все сидели, как каменные, Боже мой, да ведь так можно убить, распять, ограбить, и никто слова не пикнет! Что же это такое?

- А ты знаешь, - шептал папа, - чем бы это кончилось, если бы т о т не умер? Это еще

что... Успокойся. Ты ведь одна не переделаешь этот мир. Спи.

И заснул первым. А она лежала с открытыми глазами, и свет от редких машинных фар плавно скользил по низкому потолку. У нее горело лицо и стучало сердце, а я спала в соседней комнате, и над моей детской кроваткой висел тканый коврик, на котором огненно-рыжая лиса волочила в зубах растрепанного белого петуха, уносила его куда-то за синие леса, за высокие горы, в глубокие норы...

Она написала письмо, которое никто, кроме нее, не подписал. Она хотела наивно восстановить справедливость, которой – разве она не знала об этом? – никогда и не пахло. В эти дни она стала ездить на Смоленскую на трамвае, еще не отдавая себе отчет в том, что бегать по улицам ей просто не под силу. Задышалась. Ночами ее мучил кашель. "Простудилась?" – тревожился папа. Через несколько дней ее вызвали к вертлявому заместителю.

– Вы что же это, не разобравшись в ситуации, защитные письма посылать вздумали? Мне товарищи позвонили и настоятельно просили разобраться. Письмо у вас получилось такое пылкое, литературное. Но прямо говорю: пустое. Безосновательное. Проще сказать: нелепое письмо. И я подозреваю, что тут личные мотивы замешаны. А вы знаете...

– Что вы сказали? – сердце застучало в горле.

– Сказал я то, что всем известно. Наше учреждение не ЖЭК, как вы понимаете, и не контора дровяного склада. Так что вносить в его работу подобную художественную, так сказать, неразбериху мы никому не позволим, – прямо на нее сверкнули очки-лупы.

– Как вы смеее так разговаривать со мной!



- Что значит: "смею"? - он повысил голос и приподнялся в массивном кресле. - Что значит: смею? А вы как смеее прикрывать дурацкими писульками своих любовников, находясь в стенах советского учреждения, а?

Она вылетела, хлопнув дверью. Опустилась на первый стул. Закашлялась. После обеда ее вызвали в отдел кадров. Приказ об увольнении уже был подписан.

Снег тает. Окна слепнут от солнца. Мы с папой едем в пропахшем бензином автобусе, и я спрашиваю его с негодованием, чувствуя, как неистовое сердце разрывает мне горло:

- Но как, как она могла так расстроиться, чтобы заболеть и умереть? Как? Ведь у нее же была я? Разве она не любила меня?

У меня горит лицо, и я задыхаюсь, прижимаюсь носом к автобусному стеклу в весенних подтеках.

- Тебе тринадцать лет, - говорит он устало. - А ты рассуждаешь, как маленькая. Никто про тебя не забывал. Пока этот мерзкий порядок не затронул ее, ей трудно было представить, насколько он мерзок. Она витала в облаках, пока эта подлая дурацкая история не открыла ей глаза. Удивительно, конечно! Вырасти в такой семье и на проверку оказаться столь беспомощной, столь наивной, удивительно, невероятно! Но она действительно переживала настолько сильно, что уже ни о чем другом не могла думать. Она сгорела. Больному сердцу ведь немного надо, чтобы...

Он умолкает. В автобусе пахнет бензином, окна слепнут от солнца.

Она уже не ходит на работу, и тапочки сиротливо краснеют у постели, на которой она сидит, опираясь на гору высоких подушек и кашляя. Мы с Валькой входим в комнату, где топится кафельная печка и пахнет лекарствами. Мы запо-

рошены снегом и разрумянены. За окном скребут дворники. Она отводит от лица тяжелую каштановую прядь и спрашивает Вальку:

- Холодно на улице? Она не легко одета?

Похудевшая строгая Наташа входит следом и говорит спокойно:

- На улице чудесно. Тепло и пахнет весной. Хватит тебе болеть!

Она кашляет.

Я леплю снежную бабу. Толстой, как всегда, за мной присматривает. Валька сидит на санках, окруженная подружками, и всхлипывает:

- Томка вчера мне свою шапку каракулевую подарила. Говорит: "Я все равно лежу, а поправлюсь, так зима кончится. Покрасуйся". И подарила. Кашляет, разывается. Два профессора вчера были. Частники. Дядь Кость за ними на такси ездил. Говорят: сердце. А кто ж, девчат, от сердца кашляет! Врут, поди, деньги вымогают! А я давеча выскочила на заре в уборную, смотрю, в кухне на табуретке дядь Кость сидит, голову обхватил руками и плачет. Боимся мы. Ужинать сядем, и кусок в горло не идет. Завтра последний анализ сделаем и решать будем, в больницу класть или чего...

Старенький сухой доктор с печальным еврейским профилем долго отряхивал снег с калош. Величавая Катя проплыла в свою комнату с блюдом кривобоких пышек.

- Позвольте мне вымыть руки.

Он печально приподнял брови и прошел на кухню. Папа шел за ним с полотенцем. От волнения акцент его опять усилился.

- Она очень переживает одну отвратительную служебную историю. Она слегла от нее. Я вас прошу: поговорите с ней как специалист, объясните ей, что...

- Мы от жизни не лечим, голубчик, - скорбными глазами он посмотрел прямо в папины, испуганные. - А от такой жизни тем паче...

Она кашляла, а он слушал, выстукивал, считал пульс и хмурился.

- Меня сегодня утром участковый симулянткой назвал, - и она рассмеялась, отводя каштановые волосы с лица. - Сказал, что мне болеть просто выгодно. Интересно, почему мне это выгодно?

- Хамы... - он улыбнулся ей. - Не обращайтесь внимания. Нельзя принимать всё так быстро к сердцу. Оно этого не любит.

...Как он уцелел, этот старенький сухопарый доктор, единственный из всех понявший, как серьезно она больна, как он, с его скорбным карим взглядом, дотянул до относительного благополучия пятьдесят пятого года?

- Только один человек, не профессор даже, просто врач из клиники, заподозрил то, что потом подтвердилось на вскрытии, - папа страдальчески морщится. - Он только что вернулся из лагеря, только что был допущен к работе. Маленький такой старик, еврей. Он очень хмурился, осмотрев ее, и сказал нам...

Что он сказал?

Они стояли вокруг стола - дед, бабуля, папа - и ждали. Он хмурился и думал. Потом произнес:

- Тяжелое положение. И надо в больницу. Срочно, немедленно. Странно, что ее до сих пор не госпитализировали. Позвоните мне утром на работу, я попробую завтра же положить ее к себе. Боюсь, что нужна операция.

Печально посмотрел в папины запрыгавшие зрачки:

- Вы не оставляйте ее одну ночью. Подежурьте. Чтобы не пропустить, если что...

Ночью она умерла.

Туман. Я бреду в нем с сухими глазами. Я одна. Ее нет. Я продираюсь к ней сквозь сомкнутые годы, и всё повторяется: туман, туман, туман, гора белых подушек, красные тапочки, свет...

"...моя жена не была больным человеком в прямом смысле этого слова... За три года до своей скоропостижной кончины она легко и благополучно родила совершенно здорового ребенка..."

Мы с папой едем в автобусе. Солнце слепит.

- Скажи мне только: если бы не это, она жила бы? - У меня перехватывает дыхание от невыносимой мысли: если бы не это, она бы...

В церкви было много народу. Любопытные старухи с вытекающими глазами толпились в дверях, перешептывались:

- Молодая совсем. Годков двадцать пять будет. Замужняя. Вон мужик-то ее. Кудрявый! Оо-о-х! От судьбы не уйдешь!

А я? Я гуляла с распухшей от слез Валькой, ничего не зная. Я лепила снежную бабу из последнего мартовского снега, пока ее отпевали и прощались с нею. Я искала в колючем сугробе свою лопатку, пока папа, не отрываясь смотрел на ее изменившееся лицо. Ночевали мы с Валькой у знакомых.

- Андел, андел и была, - мрачно говорила Матрёна на кухне. - А анделов Бог завсегда к себе берёт. Они ему там сподручнее... А здесья чего? На нехристов вкалывать, прости, Господи, меня грешную!

Да. Но почему одновременно с мамой исчезли из моей жизни и Ляля с Наташей?

- Я останусь здесь сегодня. Переночую, - сказала Ляля неподвижной, совершенно черной Наташе.

Поминки кончились. Они вымыли посуду, протерли пол.

- Иди домой. Я останусь.

И Наташа ушла. А Ляля осталась. Она легла на

раскладушке в комнате, вскоре переименованной в "папину". Из маленькой, смежной, в которую скрылись дед и бабуля, не доносилось ни звука. Папа молчал, а она рыдала, вжимаясь в подушку. Потом стала успокаивать его, хотя он молчал.

- Я всё время буду с вами, - рыдала она. - Мы ее вырастим! Мы ее вырастим так, как если бы Томка была жива. Я буду с вами, ты слышишь? Кто мне дороже на свете?

Под утро она заснула. И проснулась от дверного скрипа. В матовой рассветной белизне стояла моя бабуля, одетая так же, как накануне, а за ее плечами, наглухо застегнутый, стоял дед, и они были похожи на две вытянутые бесплотные тени.

- Ляля, - сказала бабуля ровным голосом, - иди домой. Я не могу вас видеть: ни Наташу, ни тебя. Ее нет, и мне никого не нужно. Я справлюсь сама. Она приходила ко мне и просила не оставлять девочку. Она приходила ко мне во сне. Я обещала ей. И мне никого не нужно. Я не хотела жить, но она плакала и умоляла меня. Значит, будет так, как она хочет. Иди, Ляля. Я не могу вас видеть: ни Наташу, ни тебя.

Повернулась и ушла. И дед, не проронивший и слова, приблизился к Ляле, поцеловал ее в потемневший подбородок и ушел тоже...

Какой снег! Мир расползается под моими ва-режками, как намокшая вата. Взъерошенный воробей в белой наколке перепрыгивает с ветки на ветку. Голоса кажутся мягче, медленнее и увязают в слепящем белом месиве вместе с моими валенками, воробьиными лапками, папиными остроносими башмаками. Мы спешим в театр. Разве умирая, я посмею сказать себе, что не была счастлива в этой жизни, на шестом году которой было воскресное утро, заваленное снегом, и новое платье

с кружевным воротником, и красный бархат ложи, куда мы вошли, как всегда опаздывая, когда уже погасили свет, и поэтому я не обратила никакого внимания на просиявшую улыбкой чернобровую красавицу с косами, обмотанными вокруг головы?

Дети бредут по сцене в поисках Синей птицы. Мне интересно, только немножко неприятно, что их умершие дедушка и бабушка разговаривают с ними, как живые, расположившись на куске плотного белого кружева, отдаленно напоминающего облако. Мои дедушка и бабушка живы, никогда не умрут и ждут меня дома. В театре тепло, темно, пахнет духами и апельсинами. Мое новое платье с кружевным воротником – самое красивое на свете. Зажигается свет. Антракт. Чернобровая худая красавица с мокрыми от застывших слез сияющими глазами целует меня и крепко прижимает к груди мою голову. Папа напоминает мне, что ее зовут Наташа. Она, не отрываясь, смотрит на меня – радостно, жадно, словно не может насмотреться. Потом мы идем в буфет, и глаза мои разбегаются от разноцветных пирожных. Нет, лучше шоколадку. Со сказками Пушкина. Там, где всё на обертке: и дуб с цепью, и старик с неводом, и Людмила в кокошнике, и говорящий кот... А потом мы едем, нет, плывем сквозь медленную белизну, сквозь печальный печной дым, сквозь стеклянные деревья, мы плывем и приплываем в большую полуподвальную комнату с белоснежной занавеской на окне, с круглым столом под белоснежной скатертью, которая ломится от пирожков, конфет, чашек, чашечек и вышитых салфеток с голубками и незабудками. Вокруг стола суетятся две полные сырые старухи, похожие на уток, и кудрявая, круглолицая, с высоко поднятыми бровями женщина, которая, едва увидев меня, бросает всё, зацеловывает мою холодную заиндеветшую голову в капоре и так же, как Наташа, прижимает ее к груди. Мы пьем

чай, и я внимательно разглядываю эту комнату с ее фотографиями на стенах, темным скрипучим буфетом, соломенным креслом, из которого торчат прутья...

Я ем булочки, а все эти женщины, не отрываясь, смотрят на меня, и у сырой старухи, похожей на утку, смешно краснеет кончик носа, и по щекам ползут слезы...

- Дай Бог, чтобы у тебя были такие подруги, - сурово говорит бабуля и бережно заворачивает фотографии в папиросную бумагу. - Опять ты молоко не пьешь! Пей, пока горячее...



В. БРАЙНИН-ПАССЕК

## Предпоследний светлый день...

\* \* \*

*Арсению Тарковскому*

Люблю твое неровное тепло,  
могильщик лета, месяц листопада,  
когда еще беспечна колоннада  
дерев, чьи корни холодом свело.

О, портики стволов! Антаблементы  
державных крон! Расчет полуприметный,  
немыслимый без глаза и руки!  
Не в ульях ли и муравьиных замках  
в трагедиях всё той же крови запах,  
а фарсы незлобивы и легки?

В твоём театре зрителей не сыщешь,  
ты сам себя неистово освищешь  
и астрами себя вознаградишь.  
Так для кого распутница природа  
в тебе изображает зрелость года,  
заламывая руки на груди?

В опилках золотых нисходит осень,  
и нам в спектакле роль отведена –  
на полотенцах август мы выносим  
из дома, где клубится тишина.



Здесь точен каждый жест и неминуем,  
и мы, поставив август на крыльцо,  
с ним навсегда прощаясь, поцелуем  
его зеленоглазое лицо.

1979

\* \* \*

Месяц профилей литых  
с ископаемых монет  
подошел и встал впритык –  
значит, лето на исходе.  
Вновь грозит Октавиан,  
что сошлет, сведет на нет –  
краснозадый павиан  
нынче властвует в природе.

– За безнравственность и за  
недвусмысленный подтекст  
поезжай, протри глаза –  
остудит тебя зимовка, –  
наплевать на слезный твой  
унизительный протест –  
прежде б думал головой,  
а не чем назвать неловко...

В осень сосланный, впотьмах  
буду жадно вспоминать  
возлежанья на пирах –  
всё изысканно и в меру.  
Счастлив тот, кому знаком  
безмятежный променад  
с утонченным знатоком  
комментариев к Гомеру.

Предпоследний светлый день,  
восхитительная рань.  
Упивайся и владей –  
ты пока еще хозяин, –  
от унынья откажись  
и наполни чашу всклянй  
за приемлемую жизнь  
императорских окраин.

1986

\* \* \*

Карточный домик на тонких бумажных опорах,  
плачущий комик, тряпиц окровавленных ворох,  
что-то еще? – да, вчера лишь рожденное слово,  
через плечо озираясь, исчезнуть готово.

Минули сроки, глупцу отведенные снова:  
жест недалекий, небрежность движенья слепого –  
и полегли в пограничье тузы и шестёрки,  
выпали дни – о, как нынче романы жестоки!

Если б не эта, не эта, не эта попытка,  
если б не лето, не глупое счастье избытка,  
мне б никогда не дойти до такого паденья,  
где и следа не найти от бывшего паренья.

1986

\* \* \*

В летних платьях женщины пока еще,  
губы цвета спелой земляники.  
Медный август, силы напрягающий  
перед сентябрем сереброликим.

Ночи колесо своё замедлили,  
сыплют капли фосфорного яда –  
не заметишь, как затянет петлями,  
млечной паутиной звездопада.

Это осень, это мухи сонные,  
наши обленившиеся души.  
В тишину крикливыми клаксонами  
город самого себя обрушит.

От полёта зоркого оторваны,  
звездам отцветающим навстречу  
понесут огни таксомоторные  
глупую беспечность человечью.

Это лето женское, последнее,  
это страсти земляничный запах.  
Бьется, остывает платье летнее  
в деловитых, ядовитых лапах.

1986

\* \* \*

Время пришло заикаться о детстве.  
С небытием в простодушном соседстве  
крик недоверья, как плач похоронный,  
ангел у ножки несчастной Мадонны.

Время пришло – бесполезна отвага:  
значит, наверх не осталось ни шага –  
время слепцу ненадёжной стопою  
снова опору искать под собою.

В самом начале крутого подъема,  
выйдя из вечного общего дома,

был он разумным паденьем научен  
пробовать почву на склоне сыпучем.

Позавчера еще складывал слоги,  
от нетерпенья дрожал на пороге,  
девочка с облака на пол ступала –  
было, прошло, в зазеркалье попало.

За пеленой венецейского блеска  
ветром колеблемая занавеска  
приоткрывает родное окошко,  
машет оттуда пустая ладошка.

На амальгаме посмертная слава –  
видишь? – записана слева направо –  
значит, бороздки весеннего сева  
были проложены справа налево.

Если за бездной, в стеклянной неволе  
мутно томится свинцовое поле –  
значит, заброшено в жирное время  
Искарियोтово черное семя.

1987

\* \* \*

Ради горения стоит ли пробовать  
липкий озон, соловьиные яства?  
Трогает бестолочь, жившая впроголодь,  
битые стёкла, дремучая астма.

Птичье биенье и нежное зарево,  
что половину души не пожрало –  
плата за пот, за газетное варево,  
за перековку мечей на орала.

Дни Александровы веку завещаны,  
альфа легка – неподъёмна омега.  
Как пауки разбегаются трещины  
на партитуре железного века.

Лепятся снега пушистые варежки  
к незамерзающим окнам столетья,  
сыплют мазурками польские барышни,  
вздохи, признания и междометья.

Пёрышком лёгким бумагу насилуя,  
строчку дырявую мальчик латает,  
смотрит в упор на отчизну немилую  
и восхищения слезы глотает.

Слава тому, кто плетётся в фарватере,  
а для упрямца веревка найдется.  
Пахнет могилой в утробе у матери  
для нерождённого канатаходца.

1987

## ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ ЗАХЕЗИНА

Убегает последний трамвай. Последний виток  
моложавой дурашливости: а ну, догоняй!  
У локтей, торчащих из окон, выходит срок –  
по расшатанной памяти жмёт последний трамвай.

На подножку его вскочить – невеликий риск.  
На кондукторе профиль, точно камей, надет.  
Тормоза его издают благородный визг.  
За дугой осыпается метеоритный след.

Обгоняя его, летит площадная брань,  
потому что стоящие в нем не глядят назад.

Поперёк сегодня торчит зеркальная грань,  
отражается в ней перспектива прошлых утрат.

Хорошо вот, Лев Николаевич, – грешен был,  
а потом исправился. Или же мытарь тот,  
что впоследствии стал апостолом, – прежде бил  
ничего дурного не делавших вдов и сирот.

Это значит, что времени там, впереди – вагон –  
ведь не большой, на самом деле, вкусил я срам?  
Да и рельсов особенность – не совершить обгон,  
протолкаешься разве что по чужим ногам.

1987

\* \* \*

Наморщенная простыня  
бутылочного стекла  
уже к середине дня  
густых небес голубее.  
У края глаз пролегла  
обманчивая западня,  
серебряная игла,  
сирены, Пантикапеи.

С обрыва видно насквозь,  
что листья травы морской  
стремятся не на авось,  
но как магнитные стрелы –  
как будто властной рукой  
Господь на земную ось  
навел их поиск слепой,  
несмелый и неумелый.

Кто б ни был ты – не спеши.  
Пусть с этими заодно  
побеги твоей души  
направит Божья десница –  
там тоже глухое дно  
и тоже в сырой глуши  
ни солнечно, ни темно,  
но мрак золотой гнездится.

1987

\* \* \*

*”...если это не тот заповеданный сад...”*

*О. Седакова*

Если в замочную скважину сделаешь марш-бросок  
через морской бинокль или же микроскоп,  
не позабудь оглянуться на глиняный образец,  
каштановый огонек, козлийный чумной галоп.

Ты – за моей спиной, а я, представь, за твоей,  
ты – за моей женой, и я, представь, не дурак –  
там наедемся вдоволь жареных желудей,  
где нас обоих заманят в хлев, казарму, барак.

Господи, что же Ты отвернулся от сырых нас?  
За голубой звездой – бесконечность дурная, и  
близится тот напророченный, тот ресторанный час,  
когда, пузырясь, отверзнется небо цвета Аи.

В это же самое время патмосский лицедей  
около оперенья двухтысячелетней стрелы  
сомкнет воспаленные очи, и жареных желудей  
достанется нам отведать, а также льда и смолы.

Будет гореть архив тайной полиции. Там  
место в анналах найдется жертве и стукачу:  
взять – и спасти для потомков этот занятный  
хлам,  
но и себя обнаружить – не каждому по плечу.

Я бы пошел в разведчики – пусть научат меня,  
я бы стучал отважно морзянкой в чужой эфир:  
– Артиллеристы, родные, не жалеите огня!  
Жену поцелуйте! И сына! Да здравствует! Миру  
– мир!

В час между волком и псом взгляд устремлен  
туда,  
в обетованный сад, где над хлевом звезда,  
где ненадкусены яблоки, где отдыхают стада,  
в сад, куда нам дорога заказана навсегда.

1990

\* \* \*

*A Valeria Salvini*

Мне приснилась Флоренция красно-кирпичная,  
черепичная, в ржавых листьях виноградных,  
и мадонны ее, и тоска чечевичная  
от пустых, чистотою пропахших парадных.

Мне казалось – умру я, никем не оплаканный,  
драгоценный словарь промотавший бездарно.  
Изумрудный Давид, голубями обкаканный,  
мне пращою грозил по ту сторону Арно.

Не грози, дорогой, я проснусь обязательно,  
напрощусь на пародию в доме родимом.



Вот крестьяне с холмов возвращаются затемно,  
вот печурка горчит прочесоченным дымом.

Здесь покой, но такой, что любезно отечество,  
занесенное снегом по самые крыши.

Здесь готова душа возлюбить человечество,  
а затем с голубями отправиться выше.

1990

## ISOLA D'ELBA

*Bisogna vivere così  
e sempre, se si può...*

Если возможно, о, как я бездомно хотел бы,  
как я просил бы смиренно: "Мой Господи Боже,  
дай мне сегодня остаться на острове Эльбе!" –  
а получив, попросил бы назавтра того же.

Час приходящий венчает собой предыдущий,  
время – в упряжке прибора. Его не заметив,  
не ошибешься, подумав, что райские кущи  
вновь появились на склонах приветливых этих.

Там, где сосна протянула ветвистые руки  
к пальме, акации, кактусу – там без тревоги  
я получал бы уроки блаженной науки  
с морем, горами и небом вести диалоги.

Как поступил по примеру безумца Адама  
пленный властитель – понять не смогу я отныне.  
Это ли счастье, иметь среди прочего хлама  
знак ослепленья – соленую ношу гордыни?

Мне бы такую же ссылку – пускай не понравлюсь  
строгим ревнителям воли – я всё бы оставил,

только б кифарка бренчала да жалобный авлос  
что-то равелеподобное сладко гнусавил.

Но не про нас эта радость, и если такое  
даже случится – возникнет мурло вертухая  
там, где в душе облюбован загнеток для Хлои,  
вместо же моря восстанет колючка глухая.

Землю промерзшую наши отцы откайлили,  
горе Овидию, но и счастливец Овидий –  
самый печальный поэт в безымянной могиле  
путь завершил, а твоих берегов не увидел.

Мой милосердный, вот я пред Тобою, вот самый  
обыкновенный из грешных, и если сегодня  
так одаряешь, то, может быть, бедные мамы  
нас отмолили уже в ледяной преисподней.

1990



## Пропажа, или альбом моей бабушки

Жизнь состоит из утрат. Уходят люди. Навсегда уезжаем из полюбившихся городов. Куда-то исчезают любимые вещи. Иногда их просто отнимают.

Когда мне было восемь и я только начал привыкать к кирзовой офицерской планшетке, с которой ходил в школу, бабушка своими руками – в незапамятном прошлом дворянскими, а в невообразимые военные годы изрядно покореженными руками – построила мне самокат. Две доски, соединенные шарниром, на сверкающих шарикоподшипниках. На асфальте нержавеющей колесики сочно гудели, и я мог больше не завидовать счастливым нашей улицы.

Но счастье не успело померкнуть само собой. Я даже толком не научился разгоняться, когда самокат этот был у меня отобран. Подошел "большой мальчик", уверенно выхватил из моих рук рулевую перекладинку – и со словами "Я сейчас!" умчался на моем самокате. Ни того, ни другого я никогда больше не видел.

Но это, так сказать, утилитарная вещь. Хотя – в нищие сороковые такая самоделка значила для мальчишки гораздо больше, чем просто средство передвижения. Безвозвратно исчез с годами де-

душкин брелок к часам в виде миниатюрного дуэльного пистолетика. Можно было щелкать курком, прицеливаться. Недавно в Орле, в музее Лескова я видел такой – в витрине о тульских умельцах. Был еще – итальянский? английский? – ножичек в форме лежащей болонки, с бочками из перламутра, но я обменял его в школе на какую-то дрянь.

В доме присутствовала и чуть разохшаяся китайская шкатулка из черного лака, с золотыми хризантемами. В ней держали штопку. Ныне она где-то за океаном, у знакомой литературной дамы, в которую я был влюблен в юности, а потом ее с мужем унесло стылым эмигрантским ветром. Была дедова хрустальная печатка с мудреным вензелем на доньшке. Я не сразу понял ее назначение – припечатывать сургуч. Было пресс-папье – тяжелая аспидная пластинка, а на ней – бронзовая змейка, обвинившая бронзового же совенка и готовая его ужалить. Один из змейкиных глаз-рубинчиков был утрачен, зато испуганные совиные бусинки по-прежнему таращились. Теперь оба этих дорогих сердцу предмета прописаны в блочном доме в Медведково у моей бывшей жены. Там же – бронзовая подставка для каминного экрана. Хорошо еще, сам экран с охотничьей сценкой – бисер по шелку – в чуть траченом виде помещен под стекло и висит у меня в изголовье.

В начале века Александр Блок восхищался этим экраном, который уже тогда был довольно старым и стоял на письменном столе у деда. Этот стол красного дерева – огромное, с причудливыми закруглениями сооружение – я тоже застал и любил играть с ним, выдвигая и задвигая выгнутые скрипучие ящики, в те годы уже пустые. Он не дождался времен, когда мог бы быть реставрирован, и однажды, уже в пятидесятых, был расчленен и по частям бездумно отнесен на помойку.

Но пора сказать несколько слов о самом деде.

Валериан Валерианович Бородаевский был горный инженер, а в 1908 году по наследству стал владельцем двух небольших усадеб в Курской губернии. Как выяснилось – ненадолго, хотя и поныне жители деревеньки, где находился барский дом, зовут ее Бородаевкой, а самые древние старухи еще помнят, как запросто ходили гулять в большой яблоневый сад и встречали там "барчука" с осликом. Этому маленькому казачку в черкеске с гозырями суждено было стать моим отцом...

В пореформенной России положение выпускника петербургского Горного института было видным и почетным. Кстати, в среднерусской полосе многие из таких выпускников выполняли обязанности межевых инспекторов и сыграли конструктивную роль в осуществлении стопыпинской реформы.

Но главным в деде Валериане – и для него самого, для семьи и друзей, а теперь и для меня – потомка, была его причастность к Поэзии. Валериан Валерианович писал стихи всерьез, выпускал сборники, участвовал в антологиях. В довольно известной антологии "Мусагета" 1911 года его стихотворения помещены между Блоком и Белым.

Готовя свою первую книгу стихов, дед познакомился с признанным мэтром символизма Вячеславом Ивановым и быстро вошел в его ближайшее окружение. Вячеслав Иванович написал теплое предисловие к этому сборнику, предсказывал новому поэту большое будущее. Они были близки духовно, дружили домами. Есть снимок, на котором Вячеслав Иванов в компании маленького Димы – моего будущего отца – и родственника и соседа семьи доктора Цельшерта удобно развалились на копне свежего сена в кшенском имении деда.

Стихи Валериана Валериановича были замечены Брюсовым, который, впрочем, отзывался о них довольно сдержанно. В 1911 году в письме к Брюсо-

ву Вячеслав Иванов писал: "Сожалею и удивляюсь, что ты не хочешь признать Бородаевского. Сила его дарования очевидна". А Николай Гумилев посвятил творениям Бородаевского несколько замечаний в своих знаменитых "Письмах о русской поэзии". Первое из них было и самым лестным. О книге-дебюте поэта Николай Степанович писал, что "в ней чувствуется знание многих метрических тайн, аллитераций, ассонансов; рифмы в ней то нежны и прозрачны, как далекое эхо, то звонки и уверенны, как сталкивающиеся серебряные щиты". Справедливости ради отмечу, что стихи деда в "Антологии" понравились Гумилеву меньше.

Так вот, о Блоке. Дед хорошо знал Александра Александровича, любил беседовать с ним на литературных встречах, принимал дома. Во время одного из таких посещений Блок и обратил внимание на каминный экран. Он долго рассматривал бисерную картинку, а потом заметил полушутя-полусерьезно: мол, такой предмет не следует держать близко от себя. "Впрочем, - добавил он, рассмеявшись, - это действует как наркоз, а без наркоза нынче трудно". Вглядываясь в сине-лиловые тона пейзажа с охотником, ласкающим на привале поджарую бело-рыжую гончую, Блок рассуждал о магии некоторых красок, о Врубеле и его судьбе.

Была у деда и большая папка с авторскими оттисками гравюр Федора Толстого - знаменитый цикл "Душенька". Я еще успел помусолить толстые листы, на которых предприимчивый Амур склоняется над спящей Психеей. В голодной послевоенной Москве папка закономерно перекочевала к букинистам из Метрополя. А чуть раньше дедовы карманные золотые часы с двумя массивными крышками и мелодичным боем счастливо удалось обменять в селе Киучер под Переяславлем на козу Розку, которая поила двух маленьких "выковырен-

ных (эвакуированных!) из Москвы” сладким спасительным молоком. Кстати, сарай для содержания бесценной Розки соорудила – без инструментов и на шестидесятом году жизни – та же бабушка.

И все-таки самой большой ”вещевой” потерей для меня – по крайней мере, в сам момент расставания – был тот злополучный самокат. Я понимаю Плюмбума из одноименного кинофильма, соперещаю его яростное бессилие, которое и сделало из подростка оперотрядовского монстра. Такое – ломает, унижает, корежит душу. Впрочем, весь этот разговор не о том.

Как я уже упомянул, кроме деда была у меня еще бабушка, Маргарита Андреевна. Собственно говоря, из того старшего поколения одна она у меня и была. О Валериане Валериановиче я только слышал, конечно, от нее же. Он ушел из жизни голодной весной 1923 года, вслед за Блоком и Гумилевым, не найдя места в той жестокой и бессмысленной действительности, которая его окружала.

Бабушка была настоящей женой поэта. Высоко-развитая творческая личность, исполненная духовности и доброты. Потеряв четверых детей, старшим из которых был мой отец, Дмитрий Валерианович, архитектор и живописец, погибший тридцати двух лет от роду в ледяном январе 1940 года на финской войне, бабушка обратила всю свою любовь и воспитательные таланты на меня. Единственный внук, я был для нее свет в окошке. С ней мы читали, ходили на выставки, ездили на Птичий рынок. Ради меня она выстаивала многочасовые очереди за билетами в Малый и МХАТ, для меня выкраивала из пенсии за сына (142 рубля в старых деньгах) то на грушу, то на кисточку винограда. Помнит ли кто, что в Москве тех лет пачка молочного мороженого стоила полста рублей и ее продавали половинками?

Если было у меня в жизни крупное везение, так это возможность вырасти в благодатной тени моей бабушки. Только не всегда я это ценил...

И был у Маргариты Андреевны "альбомчик", как все мы называли ее настоящий литературный альбом, в который великие и просто большие поэты начала века писали ей стихи. Писали охотно, уважая и любя эту прекрасную женщину. Писали щедро, от души и таланта. И не только старое, известное, но и специально для нее созданное. Как однажды Алеша (так она его называла) Толстой, выросший по соседству с Бородаевскими в Самарской губернии и только что опубликовавший свой первый (по всеобщему признанию, неудачный!) поэтический сборник "За синими реками", разразился опусом "Шутливое излияние М. А. Бородаевской о муже ее Валериане". Как Алексей Ремизов, забрав на сутки альбом, создал на одной из толстых, чуть желтоватых (под слоновую кость!) меловых страниц целую каллиграфическую миниатюру, с удивительным мастерством и тщательностью выполненную красной и черной тушью и повествовавшую о посвящении своего друга, а моего деда в рыцари высшего "обезьяньего ордена". Как суховатый, всегда сдержанный поэт-джентльмен Николай Гумилев, только что вернувшийся из Африки, написал одной из первых в России и только входивших в моду златоперых авторучек обращенное к Маргарите Андреевне четверостишие, которое я называю "синим".

Синими были чернила, что резко отличало растянутые пружинки гумилевских слов, составленных из мелких наклонных буквочек, от артистически-размашистых, с нажимами и арабесками исполненных черной тушью автографов Вячеслава Иванова и Федора Сологуба или известного всему миру журавлиного полета блоковских строк.

"Синим" было и содержание:



Гляжу на Ваше платье синее,  
Как небо в дальней Абиссинии,  
И заполняю Ваш альбом  
Воспоминанием о том.

Строчки, ей-Богу, немудреные, но где еще их можно было прочесть?

Я ловлю себя на том, что все время пишу "было", "были". Пора сказать главное. Давно, с осени 1969 года, нет моей бабушки, так неохотно покидавшей коммуналку в полюбившихся Сокольниках и пожившей в новой тогда квартире у стадиона "Динамо" всего несколько месяцев. Нет и альбома ее...

То есть он, наверняка, где-то есть. Но не у меня, не в нашей семье. Редкая душевная слепота, а может - "затмение сердца", как пелось в некогда популярном шлягере, привели к тому, что он смог стать предметом кражи. Я не хотел убирать "альбомчик" из той комнаты, где жила Маргарита Андреевна, оставил в их с мамой общем шкафу, на той же полке. Наведывался к нему редко, от случая к случаю, чтобы показать кому-нибудь из друзей. И однажды обнаружил, что его в том шкафу больше нет. И вообще нигде в доме.

Это было настоящее семейное горе. Я обвинял маму, тем более что незадолго до этого она без моего ведома передала в Ленинку некоторые бумаги деда. Мама была в растерянности, но не виновата. Ведь никому альбома она не отдавала. Виноват был я один. Мама была, конечно, слепа и доверчива, что в семьдесят с лишним лет понятно и простительно. Но я-то... А дело, скорее всего, было так.

Года через четыре после смерти бабушки в нашем доме объявился - всего-то два раза и приходил - один жалкий старик. Его порекомендовали маме давние знакомые Маргариты Андреевны и ее, известные в нашей семье как "сестры Кранидовны"

– по их общему отчеству, довольно редкому. Кстати, старшая из сестер умерла совсем недавно, чуть не дотянув до сотни и пережив сестру-подругу на три года (той тоже было хорошо за девяносто). Так вот, Ольга и Евгения Кранидовны послали к нам этого старика, которого, как потом выяснилось, и сами толком не знали. А послали потому, что он интересовался старыми изданиями подешевле, скупал кое-что по мелочам – для перепродажи. Тем и жил, судя по внешнему виду, в крайней бедности.

Этот старик, даже имени-отчества которого никто из нас не запомнил, пришел в мое отсутствие и был допущен к ТОМУ шкафу. Там на нижней полке пылилось несколько расхристанных хрестоматий (какое столкновение "х"! ). Он ими заинтересовался, листал, в конце концов купил две-три у мамы рублей за десять. При этом жаловался на жизнь, безденежье.

К следующему его приходу я даже приготовил пару вышедших из моды рубашек и вполне приличный свитер – предложить ему. Он был рад, благодарил. Снова что-то отобрал из книг. Я еще не думал: вот, будет дочь – ей пригодятся... Отобрал он эти книги, снова благодарил. И исчез, как в воду канул. А через полгода или больше я обнаружил пропажу...

Сегодня я уже далеко не так уверен, что именно тот старик всему виною. Наметились и иные версии – все, как на подбор, еще более унижительные и обидные. Тогда же, сознаюсь, на него одного и грешил. Но в любом случае мне самому оправданий нет. Нельзя вводить библиофилов (и вообще кого бы то ни было!) в соблазн. Альбомчик воистину "плохо лежал", так и просился в слабые цепкие руки.

Повторяю, я был уверен, что соблазна не выдержал тот старик. Но затмение продолжалось.

Я даже толком не попытался его разыскать. Наткнулся на незнание адреса, имени-фамилии, на нежелание мамы допекать престарелых сестер неприятными вопросами – и руки опустились.

Так или иначе, миновало почти двадцать лет. Затмение прошло, потеря осталась. После драки кулаками не машут, да я и не собираюсь махать кулаками. И едва ли он жив сегодня, этот старик. Но чувство такое: надо хоть что-то сделать, рассказать прилюдно об утрате. Тем более, что потеря-то общая. Речь идет о незаурядной культурной ценности.

Поэтому расскажу об альбоме Маргариты Андреевны подробнее. Держали его в засиженной мухами, некогда белой картонной коробочке, в которой он и находился, когда был куплен (в Лубянском пассаже? в Гостином дворе?). Небольшая вещица, сантиметров двадцать в длину на десять в ширину. С золотым обрезом, одета в вишневую кожу с легким тиснением, с бронзовым запором и ключиком на шелковом шнурке. Открывался альбом стихотворением Валериана Валериановича, который, если память не изменяет, больше в нем не писал. А дальше шел большой цикл стихов Вячеслава Иванова, частью – по-французски. Среди них помню стихотворение, обращенное к Маргарите Андреевне. В 1978 году оно вошло в сборник Вячеслава Иванова, выпущенный в малой серии "Библиотеки поэта" (с. 225). Вот эти строки:

## СЛАВЯНСКАЯ ЖЕНСТВЕННОСТЬ

*М. А. Бородаевской*

Как речь славянская лелеет  
Усладу жен! Какая мгла  
Благоухает, лунность млеет  
В медлительном глагольном ла!

Воздушной лаской покрывала  
Крылатым обаяньем сна  
Звучит о женщине: *она*,  
Поет о ней: *очаровала*.  
(1910)

Было там и стихотворение "Моей куме", которого я опубликованным не видел. Кума – это тоже Маргарита Андреевна, которая была крестной матерью сына Вячеслава Иванова – Дмитрия. Уже в зрелом возрасте, вскоре после первого молодежного фестиваля в Москве Дмитрий Вячеславович, римский корреспондент парижской газеты "Франсуар", писавший под псевдонимом Жан Нёвсель, посещал нас в Сокольниках. Они подолгу говорили с бабушкой – о былом, о последних годах Вячеслава Ивановича в Ватикане, где он был хранителем папской библиотеки. Кстати, кумовство было, так сказать, перекрестное – Вячеслав Иванов был воспитанником моего отца, тоже Димы.

В альбоме стихи Вячеслава Иванова перемежались с элегиями и сонетами Юрия Верховского – еще одного тонкого мастера русской поэзии, ценного Блоком, а в наши дни незаслуженно забытого.

А дальше шла целая антология символизма и вокруг, включая редкий по графической красоте автограф известного стихотворения Александра Блока, не помню точно, какого. Может быть, "Душа! Когда устанешь верить?..", где, между прочим, упоминается имя Маргарита? По страничке заняли Федор Сологуб и Константин Бальмонт. Вслед за автографом не опубликованного нигде обращения к бабушке А. Н. Толстого шли еще какие-то его стихи, а рядом – строфы его первой жены Наталии Крандиевской – кстати, единственной "литературной дамы", представленной в альбоме. Маргарита Андреевна не слишком жаловала "женскую" поэзию,

что не позволило ей по достоинству оценить, например, Ахматову. Впрочем, Анна Андреевна была в те годы очень молода, сказывался разрыв в поколениях. А Зинаиде Гиппиус, как бабушка мне рассказывала, она просто сама никогда не предлагала воспользоваться своим альбомом, хотя симпатизировала ей по-житейски, бывала в гостях. Не помню точно, писал ли ей в альбом Дмитрий Мережковский, хотя это было бы логично предположить. Маргарита Андреевна любила его стихи, восхищалась трилогией "Христос и Антихрист".

Вообще же в бабушкин альбом, который она всегда брала с собой, отправляясь на литературные встречи, писали прежде и больше всего посетители знаменитой Башни - петербургской квартиры Вячеслава Иванова. Это был, как теперь бы сказали, просторный богатый "penthouse", знавший и многолюдные поэтические чтения, и костюмированные рождественские балы, и чопорные приемы с участием заезжих европейских знаменитостей. После одного из таких святочных маскарадов, когда Маргарита Андреевна была одета русской боярышней, а Валериан Валерианович предстал в эффектном облачении турецкого бея, и появилась "Славянская женственность". В тот вечер в ее альбом писали многие, в том числе Андрей Белый. Это был ее маленький триумф, о котором она охотно вспоминала.

В те же годы бабушка познакомилась с Максимилианом Волошиным, к которому относилась одновременно с симпатией и легкой отстраненностью. Ее потешала тяга "Макса" к всякого рода мистификациям, вроде "открытия" мифической поэтессы Черубины де Габриак, а вот его дуэль с Николаем Гумилевым она вспоминала с большим неодобрением. В альбоме Волошин аккуратно заполнил две странички большим "крымским" стихотворением.

Помнится, что стихотворение это не сопровождалось рисунками, хотя от Волошина можно было ожидать "художеств" и в прямом смысле слова. Но рисунки в альбоме все-таки появились, и при довольно необычных обстоятельствах.

Однажды Гумилев был в гостях у четы Бородавских на "пятичасовом" чае. Внезапно появилась экспансивная дама из какого-то журнала и стала подсовывать Валериану Валериановичу листы, горячо убеждая его нарисовать что-нибудь. Она, мол, готовит подборку рисунков поэтов, иллюстрирующих их собственные стихотворения. Обнаружив, что здесь Гумилев, она, естественно, принялась и за него. Николай Степанович покладистости не проявил, и, когда обескураженная посетительница ретировалась, тут же попросил у бабушки альбом: "А вот Вам, дорогая Маргарита Андреевна, нарисую с удовольствием!" Альбом, как всегда, был под рукой. И тут же, взяв перо и тушь, Гумилев вписал в него большое стихотворение "Крыса" (не знаю, было ли оно когда-нибудь опубликовано), окружив строфы "детскими" по стилю рисунками: испуганная девочка с бантом, усатая крыса, крадущаяся к ней, брошенная на полу кукла... Видно, тема детских страхов волновала не одну Анну Ахматову ("Я боюсь того сыча, для чего он вышит?").

По встречам на Башне дед хорошо знал Михаила Кузмина, высоко ценил его стихотворную технику. У нас сохранились книги Кузмина с дарственными надписями автора. Был представлен в альбоме и Георгий Чулков.

Несколько страниц было исписано неровным остроконечным почерком известного писателя и философа-мистика тех дней В. Розанова. Дед познакомился с ним в петербургском Религиозно-философском обществе, и они быстро подружились. Одобрив религиозные искания деда, Василий Ва-

Сильевич почти полностью перенес на страницы альбома текст одной из своих статей (кажется, что-то о лечении болезней запахами цветов). Их разговоры вращались вокруг проблем оккультизма, книг Блавацкой, "антропософских" лекций Рудольфа Штейнера. В те годы многие им увлекались, ездили в Швейцарию, в горное местечко Дорнах, где, подобно Андрею Белому, участвовали в строительстве "Гётеанума" - храма Духа.

Незадолго до Первой мировой побывали в Дорнахе и Бородаевские. А после уже Второй мировой у Маргариты Андреевны в Сокольниках раз в две недели снова начали собираться попить чаю с тортолетками и поговорить о запретном старики-антропософы - отец нашего знаменитого руководителя танцевального ансамбля Игоря Моисеева - Александр Михайлович, в прошлом крупный международный юрист, и Семен Григорьевич Сквозников, рядовой чиновник министерства путей сообщения, холостяк, увлекавшийся историей религии и исследовавший генетическое родство мировых языков. Главная его мысль, обоснованию которой он посвятил несколько десятилетий, выражалась в том, что коренные человеческие понятия - "я", "ты", "небо", "земля", "солнце", "бог", "хлеб" - имеют единое происхождение и родственны во всех языках - от древнекитайского до суахили. Иностранных языков как таковых он не знал, истово работал со словарями, составлял сложнейшие таблицы, вычерчивал схемы, исписал более сорока школьных тетрадей...

Слушать их обоих было очень интересно. То и дело произносились маловразумительные, но многозначительные слова - "эфирное тело", "мистерия Голгофы". И все равно я по молодости обычно норовил улизнуть побыстрее, ограничившись чашкой чая и каким-нибудь анекдотом Александра Михайловича времен его блестящей карьеры в

Париже. Оба они были трогательны, бедны и одиноки, немного "не от мира сего". Но как тепло вспоминается о них сейчас...

Но еще больше, чем о Дорнахе и "строителях капища", как иронически называли русских последователей Штейнера современники, Маргарита Андреевна рассказывала о Риме, Венеции и Флоренции, где они побывали в ту единственную заграничную поездку. Станцы Рафаэля, Мост Вздохов, дворец Уффици...

Своими рассказами об Италии бабушка навсегда внесла в мою жизнь запах теплого моря и водорослей над венецианскими каналами, шум голубиных крыльев на площади Святого Марка, трепет перед лицом великого искусства Возрождения. В моем сознании венецианские впечатления предков соседствуют и перекликаются с образом города в стихах молодого Бориса Пастернака:

Я был разбужен спозаранку  
Щелчком оконного стекла.  
Размокшей каменной баранкой  
В воде Венеция плыла...

Маргарита Андреевна любила рассуждать о судьбе русских в Италии, о "прекрасном далеко" Гоголя, его нежной дружбе с художником Александром Ивановым. Может быть, их совместные с Валерианом Валериановичем размышления на эти близкие каждому интеллигентному русскому темы и побудили деда в 1922 году сказать решительное "нет!" друзьям, уговаривавшим его уехать вместе с ними из Советской России.

"Я не имею права депатриировать своих детей!" — сказал он тогда.

В 1917 году дед приветствовал свержение царя, называл революцию "Красной Пасхой", участвовал во всероссийском конкурсе на республиканский



гимн. Один из экземпляров листовки с текстом для гимна ("Красную Пасху встречаем, Пасху пресветлую ждем, Розой штыки украшаем, Песню святую поем...") я передал еще в шестидесятых своему другу Николаю Илларионовичу Панину для основанного им краеведческого и художественного музея в селе Желанное Шацкого района Рязанской области, где она по сей день экспонируется в историческом отделе.

А вот несколько четверостиший из произведений оставшегося неопубликованным цикла "Историческое":

"Народовольцы! Строй людей из стали,  
Откованных, как лезвие кинжала.  
Вы, что в былом святыми просияли,  
Святыми, позабывшими про жалость..."

"...Когда к тебе с хоругвями, как дети,  
Текли толпы и пели гимн отцов, —  
Вдруг проиграл рожок и залпом ты ответил,  
И лег багрец на белизну снегов..."

"...И мир взирал с надеждой и тревогой  
На грозный труд тех роковых людей,  
Что, повинувшись чей-то воле строгой,  
Искали неизведанных путей..."

Позднее Валериан Валерианович, вошедший было после Февраля в состав одного из первых Советов своей (Курской? Самарской?) губернии, пережил насильственное отторжение от революции. Еще в начале 18-го пришли в имение мужики и сказали: "Барин! Нам говорят, пора тебя громить. Бери подводы, сколько нужно, и уезжай с Богом!" По справкам времен "военного коммунизма" прослеживаются мытарства с работой: опытный дипломи-

рованный специалист одной из самых дефицитных профессий еле-еле мог наскрести на оплату наемной квартиры (свой дом в Курске был конфискован за то, что, мол, "хотел уйти с белыми" - ежели "хотел", так что же не ушел?!). Не миновала деда с бабушкой и тюрьма (еще по-Божески: полгода всего - сказать страшно! - за петицию в защиту приходского священника). И все равно, оставить Родину дед не счел возможным...

После эстетического и интеллектуального великолепия опусов "серебряного века" в альбоме Маргариты Андреевны шел большой пробел - оставленный, видимо, с надеждой на продолжение, на новые встречи с людьми своего круга. А ближе к концу снова начинались стихи - моего отца Дмитрия Валериановича и его друзей, "неоперившихся" поэтов - членов основанного Валерианом Валериановичем в Курске литературного кружка. Были здесь стихи Димы Олицкого, позднее погибшего в сталинском лагере, обаятельной Жени Станиславской, Сергея Андриевича, талантливое художника-графика, также успевшего отбыть часть своей "десятки", полученной уже после войны за запись в блокадном дневнике: "О чем они там думают, на своей Большой Земле!". Писал в альбом и Фима Черномордик, брат известной нашей переводчицы Риты Яковлевны Райт-Ковалевой.

Из всей этой курской компании только Елена Александровна Благинина стала большим поэтом. Ее преданная дружба с моей мамой, Зинаидой Васильевной продолжалась до последнего дня жизни "Леночки", как она звалась в нашем доме. С восхищением и легкой завистью я глядел на опрятных старушек, в любую погоду собиравшихся на традиционные "четверги" в квартире Благиной в большом писательском доме на улице Левитана. Здесь читали стихи Юлия Нейман и сама Елена Александровна, устраивались вечера памяти друзей -

Геorgia Оболдуева, Марии Петровых, Марии Поступальской.

Когда Елена Александровна умирала, я знал о происходящем и думал о ней всю ночь. Так возникло стихотворение – маленький памятник любимому человеку.

## СВЯТАЯ ТРОИЦА

*Елене Александровне Благиной*

Если умер поэт,  
как найти нам значение Икса?  
Вечен поиск ответов  
к загадкам премудрого Сфинкса,  
ворожба над секретом  
нетленного точного слова,  
без которого нет  
причащения Духу Святому.  
Покидала ты мир  
этой свежеею ночью весенней,  
загорался и мерк  
впереди ночничок Воскресенья,  
а меня в светлом бденье  
держала нездешняя сила  
и труба Провиденья  
свой дальний призыв возносила.

Вот пробило четыре,  
и рык поливальной машины  
(барс, терзающий Мцыри!)  
встревожил вороньи вершины,  
а за Соколом – там,  
где оазисом спящие дачи,  
отлетела к ногам  
Саваофа, легка и незряча,  
и безгрешна уже,  
и достойна Святого Престола,

как пристало душе,  
дочь привольного курского дола...

А в моей голове,  
точно в скалах разбуженных вереск,  
строчки к новой главе  
прорастали в восторге и вере.

"Леночка", "тетя Лена" всегда играла большую роль в моей жизни. В конце сороковых она доставала мне билеты в Колонный зал на "День детской книги", каждые Святки собирала детей своих друзей на елку с чтением стихов и подарками. И происходило все это в тесном подвале на Кузнецком, где она обитала в те годы одна (любимый муж, поэт и философ Георгий Оболдуев был в армии, а потом в ссылке). Этот наш главный зимний праздник назывался "Мандариновые корочки" – потому что в конце вечера все мы обязательно получали мандарины, а к чаю подавалось мандариновое же варенье, будто бы сваренное из корочек, оставшихся от прошлого Нового года.

И где бы ни жила Елена Александровна, где бы мы с нею ни виделись, всегда она растроганно вспоминала "писки" (от слова "пищать") – литературные сборища тридцатых годов в старой квартире на Новинском бульваре у талантливейшего мастера – конструктора театральных кукол Екатерины Терентьевны Беклешовой. Там, на "Новинском" отец и познакомился с мамой, в вихре литературных представлений и розыгрышей между ними возникло большое чувство, что и сделало возможным мое скорое появление на свет.

В нашей семье отнюдь не эпохальный факт моего рождения, конечно же, не мог остаться не отмеченным стихами. Сочинил их мой отец душным и страшным летом 1936 года, так что в альбоме они

появились много позже остальных. Начинались они обращением к маме:

Те минуты живы, только вспомни  
Переулок узкий и глухой.  
Я к тебе не мог придти на помощь,  
Ты одна и страх перед тобой...

Потом, где-то в середине, звучала надежда на долгую счастливую жизнь в семье, с сыном, звучала как заклинание:

Так давайте дружно пожелаем  
В этот славный и веселый час,  
Чтоб суровой жизни вьюга злая  
Пощадила и его и нас...

И в самом конце мотив надежды возникал снова. Правда, оптимизм этих строк кажется мне наигранным (может быть, потому, что знаю последующее...):

Так расти, расти, зверенок милый,  
Расцветай прекрасней с каждым днем.  
И покуда хватит нашей силы,  
Мы с тобою вместе проживем.

Предчувствовал ли отец свою скорую гибель? Время было беспокойное, а глядя из наших дней – роковое, трагическое время. Отец не был силен в политике. В письмах из действующей армии, куда попал с обычных летних сборов (сначала – на "раздел Польши", а оттуда – на Карельский перешеек), он сетовал, что, мол, "англичанка мутит воду", но тон писем домой был спокойный, бодрый.

Только в самом последнем письме с "финской кампании" к маминой старшей сестре отец пока-

зал, что было у него на сердце: "...Домой я писал и пишу, что мы занимаемся спокойной строительной работой. До сих пор это и верно было почти так... Теперь же нас шлют вперед в самые передовые линии, иной раз впереди пехоты пойдём... Вы из газет знаете характер нашей войны и роль в ней саперов. Т. к. от других я не отстану, а наоборот как командир буду впереди, шансы мои сложить здесь голову очень велики... Надеюсь на то, что до конца войны очередь моя еще не наступит. Я, конечно, не спешу петь себе отходную, но смотрю правде в глаза. Вот завтра-послезавтра эта жизнь начнется... Я бодр, уверен, семьи нашей не посрамлю..." Когда это письмо дошло до адресата, отца уже не было в живых.

Да, по-разному могут складываться мужские судьбы в одной и той же семье. Мой отец, будучи в начале тридцатых годов выперт из ленинградской Академии художеств "за сокрытие социального происхождения", еле-еле завершает высшее образование и почти десятилетие мыкается с семьей, исполняя копеечные работы по договорам (зато не надо заполнять подробных инквизиторских анкет!). После чего, весной 1939 года, его, человека сугубо штатского, преданного искусству и дому, подхватывает безумный вихрь коварной и пагубной внешней политики Сталина, чтобы меньше чем через год принести прямо под пулю снайпера.

А его прадед Осип Осипович Бородаевский, вступив в 1809 году юнкером в Сумской гусарский полк, проходит с ним всю "кампанию 1812 года", получает в Бородинском сражении "контузию картечью в правую ногу" и "за отличие, при чем оказанное", - Золотую Саблю с надписью "За храбрость"; потом, при отступлении к Можайску снова ранен, на этот раз в правую руку; далее с боями идет сквозь Пруссию, Польшу, Саксонию и Баварию - во Францию, где и кончает войну с

Серебряной медалью на голубой ленте, Орденом Св. Владимира 4 степени, Орденами Св. Анны 4 и 2 класса и Серебряной медалью на георгиевской ленте – за участие во взятии Парижа. А еще через восемь лет "герой Бородина", как писал о нем курский краевед наших дней Юрий Александрович Бугров, "по Высочайшему приказу... уволен от службы за рангом полковника и с мундиром". После чего занимается хозяйством, пишет картины маслом и дает жизнь сыновьям Сергею, который тоже становится художником, и моему прадеду Валериану (окончил университет, учился в петербургской консерватории у Веняковского). Завидная участь!

В шестидесятые годы альбом пополнился автографами новых знакомых Маргариты Андреевны, с которыми тогда – в десятых-двадцатых – судьба ее не свела. Эти поздние по времени записи вступили в причудливую перекличку с теми, первыми, из "серебряного века" русской поэзии. Сильные, совсем не "женские" стихи вписала Ольга Мочалова, бывшая соперница Ирины Одоевцевой, оспаривавшая право на особое внимание их общего мэтра – Николая Гумилева. Эсхатологические настроения деда нашли своеобразный отзвук в духовной поэзии Александра Солодовникова.

А еще через десятилетие в альбоме появились последние записи – уже мои. И были они навеяны светлой памятью Маргариты Андреевны. Вот стихотворение, в котором я вспоминаю о ней, а заодно и о других умерших Женщинах нашей семьи:

Покидают нас наши старухи,  
уплывают к истокам,  
в природу.  
Огонь  
и всякие "членистобрюхие"

обращают их в пепел  
и воду.

Не просматривается  
их присутствие  
в событийно-людском каталоге.  
Но само их  
земное отсутствие  
есть напоминанье  
о Боге.

Сердце мягко щемит  
сожаление  
о невысказанном,  
упущенном...  
Разучилось мое поколение  
отдавать свою нежность  
живущим!

Маргариты, Марьяны, Марии  
и другие –  
свои и чужие,  
вы – слезинки, росинки  
России,  
и без вас в ней стыло  
и сиро.

Наши тетушки,  
наши бабушки,  
кулебяк фамильных  
блюстители...  
Прорастают  
зеленой муравушкой  
незабвенные долгожители.

Осеняют тихие звезды  
вашей памяти  
наши жизни.



Горько-сладки  
прощальные тосты  
на родной  
человеческой тризне.

И еще одно свое стихотворение хочется мне здесь обнародовать. В середине "застойных" семидесятых я уже однажды предлагал его нашей республиканской газете. Просто позвонил и спросил, не хотят ли они опубликовать что-то личное, но связанное с памятью Юрия Гагарина, тем более что приближалось очередное 12 апреля - День космонавтики.

"Нет! - ответили мне, даже не поинтересовавшись, о каком "личном" идет речь. - Мы юбилейных стихов не печатаем". И бросили трубку.

А жаль, подумал я, так никто и не узнает, что последний год своей жизни Маргарита Андреевна чтит память Юры как безвременно ушедшего внука, близкого человека. Может быть, теперь все же стоит рассказать об этом? В стихах - одна правда, только лет жизни я бабушке отвел чуть больше, чем было на самом деле.

## БАБУШКА И ВНУКИ

Говорила бабушка -  
восемьдесят лет:  
"Уж в полнеба тянется  
реактивный след,  
будит ночь бибиканьем  
новая звезда.  
Не пора ли, старая,  
и тебе туда?"

Подвернула газ под рассольником  
и присела почитать про Раскольникову.

Говорила бабушка –  
восемьдесят три:  
”До чего же милый,  
только посмотри!  
Очень обаятельный  
новый наш герой,  
покоритель космоса,  
одногодок твой!”

Сладкого вина за Юру выпила  
и портретик на стенку прикрепила.

Говорила бабушка –  
восемьдесят пять:  
”Хватит тебе, Юрочка,  
по свету гулять!  
Лишь вчера из Индии  
и опять – в Париж...  
Отдохнул бы капельку,  
звездный мой малыш!”

Хоть свое недовольство и выразила,  
из газеты заметочку вырезала.

Говорила бабушка –  
восемьдесят семь:  
”Спятит человечество  
с космосом совсем!  
Все не налетаются,  
манит их Луна...  
А моя привязанность  
все равно одна!”

Улыбнулась тебе заговорщически,  
и на кухню – почистить картошечки.

Говорила бабушка –  
девяносто лет,

вглядываясь пристально  
в выцветший портрет:  
"Что же ты, хороший мой?  
Разве вышел срок?  
Как же вас с товарищем  
Бог не уберег?"

Плечи шалью потуже укутала  
и пошла ставить свечку к заутрене.

Замолчала бабушка -  
дням окончен счет.  
Кто же завтра, Юрочка,  
твой портрет протрет?  
Через чувство бабушки  
стал ты братом мне.  
Так висите рядышком  
на одной стене!

Может быть, на орбите нечаянной  
ваши души еще повстречаются...

Но пора кончать эту историю с альбомом моей бабушки. Зачем я ее написал? Чтобы сделать хоть что-то для его "возвращения к жизни".

Я долго готовился к этой задаче. Первым толчком послужила публикация Владимиром Петровичем Енишерловым в альманахе "День поэзии" за 1980 год сокращенного текста речи В. В. Бородаевского об Александре Блоке, прочитанной им в Курском союзе поэтов в 1921 году. А когда чуть позже меня разыскал Ю. А. Бугров, глубоко копающий культурные пласты курского края и натолкнувшийся на имена художника Сергея Осиповича Бородаевского и Валериана Валериановича, я впервые твердо решил рано или поздно обнародовать эту историю. Теперь же, когда в нашу литературу массово возвращаются славные имена, ко-

гда в Музее писателей-орловцев можно прикоснуться к письменному столу, за которым написаны "Темные аллеи", когда страна заново открывает для себя творчество Алексея Ремизова, Николая Гумилева, Евгения Замятина, Василия Розанова, молчать больше не могу.

Поверьте, я не столь наивен, чтобы ожидать, что после этой публикации завтра же прозвонит звонок и на пороге возникнет раскаявшийся жулик. Уповаю на другое.

Мир безбрежен, но он же и тесен. Альбом Маргариты Андреевны - ценность немалая, хоть в рублях, хоть в долларах. И я тайно надеюсь, что украден он был не для того, чтобы пылиться в сундуке под старыми телогрейками. Скорее всего, он был продан - и продан какому-нибудь коллекционеру, знатоку, человеку небезразличному. А если это так, то я призываю этого человека, будь то наш соотечественник или "гражданин одной иностранной державы", откликнуться.

Поскольку я заранее отказываюсь от каких-либо личных прав на этот альбом, данная публикация делает нынешнего его обладателя законным владельцем. От него ожидается только одно - не держать эту, пусть малую часть нашего культурного достояния под спудом. Допустить к ней специалистов, коль скоро у них возникнет такое желание. Кстати, о существовании этого альбома известно в литературоведческих кругах. Еще при жизни Маргариты Андреевны с ним знакомился и делал выписки, например, Вадим Вацура, сотрудник Пушкинского дома.

Для себя же я мечтаю об одном - получить ксерокопию, чтобы иметь возможность прикоснуться к векам семейной истории. Я допускаю, что по каким-то причинам нынешний хранитель альбома может оказаться не готов пойти на огласку своего имени. Но что может помешать ему своими

силами сделать хотя бы фотокопии страничек – и передать пленку мне через издателя? А уж я позабочусь, чтобы моя дочь Анна научилась ценить их больше, чем когда-то я. Что касается представителей научной общественности, то им был бы гарантирован надежный доступ к этому литературному источнику.

Если же в этом авантюрном начинании нас постигнет неудача – тоже не беда. По крайней мере мне удалось рассказать хоть что-то о главном человеке в моей жизни – любимой бабушке Маргарите Андреевне и других прекрасных людях ее поколения.

*К сведению издателя:* При наличии интереса к публикации готов предоставить материалы для художественного оформления – фотографии, рисунки, автографы стихов, книги с дарственными надписями авторов.

*Москва*



## А скрипач играет песенку...

### ПОХОРОНЫ

*Памяти А. Д. Сахарова*

Шутил со столицей Цельсий:  
То – вниз, то – негаданно – вверх...  
В венках похоронных процессий  
Не гроб выносили, а век.  
Притихли прозябшие птицы,  
Дудели составы в трубу...  
И как это смог уместиться  
Сей век в деревянном гробу!  
Какой-то оратор толково  
К концу продирался среди вех...  
А в стылой тоске Вострякова –  
Лишь сосны да стаявший снег.  
Автобусная остановка –  
Земного пути окоем.  
И так было веку неловко,  
Что вышла заминка на нем!  
Что ропот – и глух, и нестойк –  
Над сонным Сенатом замрет,  
А дошлый очкарик-историк  
Для выгоды дела – соврет!..  
Что так же далёко до цели,  
Что ноша безмерно горька!..

...А ртутный термометр Цельсий  
Валял над страной дурака...

1990

## К ВОПРОСУ О ВОСКРЕСЕНИИ

Все б нам "шашки наголо!" да "по ко́ням!"  
Все б по гипсовым колоссам – поленом!  
А какой-нибудь партийный покойник  
Может вправду оказаться нетленным.  
И во имя коммунизма и мира  
Скажут: жив, мол, не забыт, мол, не списан!  
И воздвигнем мы по нóвой кумира, –  
Даром, что он колченогий и лысый...  
Будут в небе голубицы, не галки,  
Закрома – те прямо треснут от снеди!  
И погонят нас кремлевской нагайкой  
К окончательной и полной победе...  
И сердца не защемит, не заколет, –  
Как спасенье будет встречено лихо...  
Ни "Авророю" на вечном приколе, –  
То в крови у нас "покойник", то – в лимфе!  
Ой, и накрепко же был нам привит он:  
Не избавиться ни за год, ни за день!  
Все спешим мы расквитаться с гранитом,  
Все с собой не получается сладить...  
И шалея от державных попоек, –  
Мягче глины и горячее пакли –  
Всё кричим с больничных коек: "По ко́ням!"  
...А из капельниц всё каплет и каплет...

1990

## ВОЗВРАЩЕНИЕ

Отстрадали молодые Вертеры,  
Мельницы при штурме сожжены...  
...Возвращались по домам ефрейторы  
С так и не оконченной войны...  
Поминали павших для приличия,  
Подцепив селедочку ножом:  
"Мы-то, мол, не бегали за лычками,  
Мы не лезли сдуру на рожон!  
Ни к чему нам почести и звания..."  
И в тиши зашторенных квартир  
Принялись писать воспоминания,  
Примеряли маршальский мундир...  
И пилотка стала шляпой фетровой.  
Головы пьянила крутизна...  
И сдалась безропотно ефрейторам  
От потерь ослепшая страна.  
Из обрывков спешно знамя соткано,  
Площади расчищены для сцен...  
...А пехота билась над высоткою,  
Той, что называют буквой "Н"...  
Пахло время порохом и клевером.  
Будет светел ваш последний час!  
...В государстве праведных ефрейторов  
Места не оставлено для вас...

*1990*

9 МАЯ 1990 ГОДА В ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ № 19

Под закуску нехитрую  
(Довоенный грешок!)  
Мы с соседом Никитою  
Пополам - "портвешок",  
Делим надвое пряничек,  
Рядом - пара конфет...



”Ну так, стало быть, с праздничком!  
Долгих, стало быть, лет...”  
И стаканчики – тренькнули,  
Изогнулась рука.  
...И пошло перестрелками  
Да огнем полыхать!  
И сверкнула из прошлого  
Пуля, словно блесна.  
Тут, нежданно–непрошено,  
Наступает весна.  
Ой, бессмертные бездари,  
Вечно вы на кону!  
Пропадать бы мне без вести,  
Подыхать бы в плену!..  
Но стою я над Одером,  
Где песок и покой...  
Но смеюсь я до одури,  
Что вернулся живой.  
Эй, сестричка Тamarочка,  
Принимай жениха!  
Запаливши сигарочку,  
Раздвигаю меха:  
Как гармоника сыпала –  
Бесшабашно и зло!  
Как нас – стрелками, стыками, –  
По России несло...  
Как шмонало перронами,  
Как гнало воевать,  
Как богатства природные  
Повело добывать!  
Как – от пайки и добычи –  
Умотало вконец...  
...А теперь вот – коробочки  
Да казённый супец...  
Я ж и ”куму” не каялся,  
Шел под Курскою – в рост.  
А таперича кланяюсь  
За пяток папирос,

За тройк, за доверие,  
За капусту-гнильё...  
И за то, что на Вербное  
Не сменили белье.  
Все, мол, в полном порядочке!  
Все дела - на мази!  
(Тома - Тома - Тamarочка  
Колет аминазин.)  
Что ж, закусим конфетою!  
"Портвешок" - на паях.  
Я геройски поведаю  
О геройских боях...  
Я счастливой икотою  
Встречу сумерки дня.  
Пуля - дура, а все-таки,  
Вишь, достала меня!

В пене яблонь над Одером  
Птичий посвист да щёлк...  
...И смеюсь я до одури ,  
Что не помер еще!..

1990

МАРКУ ШАГАЛУ

*"Я по небу летал".*  
Б. Окуджава

А по небу, а как по небу!.. Может, в пляс,  
а может, вскачь! -  
Лошадь синяя летела... Рядом с ней летел скрипач.  
Он смычком по скрипке водит, лошадь машет  
головой...  
А на площади растерянный стоит городской.  
А ему приказом велено: на небо - не пущать!

А со скрипочки, со скрипочки – лется Божия  
 печаль!

А скрипач играет песенку, лошадь в такт  
 тихонько ржет...

А у рынка и у булочной собирается народ.  
 А народу тоже хочется той песне подпевать,  
 Но, к несчастью, не положено нам по небу летать.  
 А скрипач – он в вальсе кружится, лошадь рядом  
 скок! да скок!

Тут городской находчиво использует свисток.  
 Он свистит! И струны лопаются!.. И народ подался  
 вспять.

А скрипач и лошадь синяя разучились вдруг  
 летать.

И упали... И разбились... И узнали: что –  
 почему!

И остались только музыка, подкова да смычок...  
 ...Только музыка? А музыку – на ноты и –  
 в тетрадь!

Добросовестным пожарникам на трубе ее играть.  
 А смычок с подковой синюю для заезжих для людей  
 Отнесли незамедлительно в краеведческий музей,  
 Где с указкою облупленной все бубнит  
 экскурсовод:

”Вот скульптура вам, вот кастрюля вам, шляпа  
 вот и башня вот!  
 Вот вам книга с чьей-то надписью, вот огарок  
 от свечи...  
 ...а вот у вас, например, летают лошади? у вас  
 летают скрипачи?  
 а вот у нас, например, летают лошади, у нас  
 летают скрипачи.  
 вот там у нас летают лошади, а вот тут у нас  
 летают скрипачи...”

Тают в синем небе лошади... Тают в небе  
 скрипачи...

1988

## ГОРОД

А морозец-то сегодня! Морозец!  
Я от снега ошалел, как язычник!  
Бестолковый воробьиный народец  
Что-то там себе щебечет по-птичьи...  
Он в священном древнегреческом действе  
Плесневелой поклоняется корке.  
Разбежусь, и безрассудно, как в детстве,  
Прямо с горки покачусь, прямо с горки.  
...Хлеб из булочных твоих мне – просфора,  
А вино, что на троих, мне – причастье!  
Для чего тебя воздвигли, мой Город,  
Город, где ни воскресенья, ни счастья!..  
Где на снег насыплют дворники соли,  
Где в трамваях закрываются дверцы...  
...Где, устав от униженья и боли,  
Вдруг однажды остановится сердце...

1989

\* \* \*

”Тройкой” решено: на всю катушку  
Срок мотать да мерзлоту кайлить.  
...В эту ночь беспамятство удушья  
Стало влажным шепотом олив.  
Что веселье в Галилейской Кане,  
Что венец терновый впереди!  
Здесь не накормить пятью хлебами,  
Начертанья не сорвать с груди...  
Под бушлатом вздрагивают плечи.  
В сотни глоток – стоны, храп и крик!  
Там, в ”Крестах”, не трижды, а навечно  
От Него отрекся ученик...  
Он доходит нынче в Сусумане,  
Где цингою зубы сведены...  
”Или! Или! Лимá савахфани!” –

Как признание собственной вины!  
...А наутро проскрипели сани  
В заметенный поздним снегом лес...  
И в графу о смерти – как в Писанье –  
От руки:

”О третий день –  
воскрес”.

1990

## ДВОРНИК

Ежедневно осеннею ранью,  
Когда все еще спят без забот,  
Старый дворник с холста Пирсманни  
Мостовую исправно метет!  
Дворник только в одном привередлив,  
Чтобы улица чистой была.  
И на нем – тот же самый передник,  
И в руках его – та же метла...  
А когда-то здесь было так тесно:  
Флаги, толпы и – речь наизусть!  
Спозаранку гремели оркестры,  
Нагонявшие медную грусть.  
Вон у той танцевальной площадки,  
Где так важно шагают грачи,  
Как фальшивили невероятно  
Раскрасневшиеся трубачи!  
С сей до блеска начищенной фальшью  
Под неистово радостный хор  
Мы шагали все выше! Все дальше!  
И клубился по улицам сор...  
Но теперь нас никто не обманет,  
Безнаказанно нам – не соврет! –  
Ибо дворник с холста Пирсманни  
Мостовую исправно метет...

1987



## Машина красного цвета

Память упрямо возвращает меня к дням далекой молодости, и передо мной предстает сухопарый, сутулый человек с впалой грудью, с орлиным носом на костистом вытянутом лице. Я слышу чуть хриловатый голос, вижу глубоко посаженные глаза с искрами доброты, незащитности и какой-то дьявольской неистовости. Я вижу белые руки, чуть дрожащие вытянутые пальцы музыканта, хотя музыкантом он не был никогда и сладости музыки предпочитал сладость бескомпромиссного спора на любую из предложенных тем.

Таким я вспоминаю своего дядю, который после смерти отца как-то незаметно вошел в наш дом и принимал самое активное участие в моей пионерской и комсомольской жизни.

Если дядя и не заменил полностью отца, то лишь потому, что виделись мы с ним далеко не каждый день, поскольку жили в разных концах города. Дядя занимал небольшую комнатку в общей квартире, населенной рабочим людом, вечно спешащим, горластым, бесшабашно гуляющим по воскресеньям с гармошкой и неумеренным возлиянием. В квартире дядю любили за справедливость, он часто бывал посредником при улаживании семейных драм и кухонных конфликтов. С ним советовались, брали у него займы, иногда без от-

дачи, но дядя никогда ни на кого не обижался и лишь отступление от истины могло вывести его из равновесия и толкнуть на необдуманные поступки.

В соседней с дядиной комнате со своим многочисленным семейством проживал дворник Мухаметшин, небольшого роста мужичишка, повседневно озабоченный поиском рубля на опохмел.

Вот с ним-то в один из понедельников и срезался дядя в принципиальном споре о машиновладельцах.

Мухаметшин со злого похмелья поносил всех "частников", называя воругами, людьми нечестными и недобросовестными. Дядя, приняв сторону "обиженных", пытался втолковать оппоненту, что не может такое государство, как наше, производить автомобили для людей нечестных и что каждый работающий при соответствующем желании имеет возможность приобрести машину.

Не присутствуя при споре, я очень ясно представил себе, как дядя бьет себя по тощей груди, густо кашляет и петухом наскაკивает на противника.

- Понимаешь, Сеня, чепуха какая получилась, - рассказывал мне дядя, - я же вижу, что он нарочно меня заводит, а удержаться уже не могу. Он мне кричит: портки свалятся, если ты на свою зарплату машину покупать будешь, а я ему про куриные мозги, которые чистить нужно. Ты же его знаешь, обиженный человек... В общем... поспорили мы... на бутылку... это он предложил, - с расстановкой закончил дядя, - через три года беру машину.

Зная непреклонный дядин характер и его принципиальность, я тут же выстроил цепь событий, следующих за этим спором, и мне стало не по себе.

- Купить машину можно, я в этом убежден, - рассуждал дядя. - Но где-то надо прижать себя, в

чем-то ограничить. А как же! Американцы каждую копейку считают, отсюда машины и дома. А мы привыкли направо и налево, а потом жалуемся, что до полочки не хватает.

Дядя ходил по комнате, дергал себя за нос и о чем-то лихорадочно думал. Я, конечно, предлагал плюнуть на этот спор и самого Мухаметшина, но дядю уже понесло.

- Эх, Сенька, - вздыхал дядя. - А как же честь, совесть?! Может, мне и не стоило с соседом спорить, но назад дороги нет. Расшибусь, а куплю машину.

Поиски путей экономии продолжались долго. Дядя перебрал множество вариантов, отвергал одни, принимал другие, но самым экономически выгодным вариантом оказался отказ от курения. Теперь при встрече со мной он устремлял глаза в потолок, что-то делил, умножал и, торжественно улыбаясь, называл съэкономленную сумму.

- Вот так, Сеня! - потирал он руки. - Резервов - непечатый край. Понял? Да и не машина мне нужна вовсе, а доказательство, что среди честных людей живем. Ты честный, я честный, и все на машинах. Усекаешь?

Пользуясь простыми правилами арифметики, я сосчитал, что, экономя на сигаретах, машину можно купить лет через пятьдесят.

- Ну?! - усомнился дядя. - А, впрочем...

Что "впрочем", я так и не узнал, но он как-то резко изменился, стал молчалив. От перегрузки мыслительного аппарата, нос его истончился и еще больше загнулся к верхней губе, но решительности не убавилось.

Как-то раз у меня зазвонил телефон, и я снова услышал бодрый голос дяди. Он похохатывал в трубку, я даже слышал легкую дробь припляса перед телефонным столиком.



- Сенька, - кричал он. - Ты что ж, такой, разъедакой, совсем старика забыл! Приезжай! Мыслишки тут кое-какие есть!

Дядя по-прежнему был шумен и весел. Он бегал по комнате, дергал себя за нос и выплескивал идеи, в абсурдности которых у меня не было ни малейшего сомнения. Навязчивая мысль покупки автомобиля гвоздем сидела в его мозгу. Во имя этой мысли он отказывался практически от всего, за что надо было платить. Дядя выкрикивал цифры, требовал от меня подтверждения правильности расчетов и нещадно бил себя в грудь.

- Конец Мухаметшину! - кричал он радостно. - Ах, сукин сын, старого воробья подловить захотел! Не пить тебе моей бутылки, алкаш непутевый!

И тут только я заметил, что в его неистовом взоре появился голодный блеск, присущий разве только бездомным собакам.

- Живем, Сенька! - восклицал дядя, непонятно что вкладывая в слово "живем". - Тебе это не понять, по-разному мы с тобой чувствуем.

На какое-то время я выпустил дядю из поля зрения. Работа, дом, мелкие заботы и огорчения, а в промежутке тихие семейные радости заслонили собой происходящие события. Снова увидев дядю, я испугался. Он ужасно похудел, седая щетина кустиками топорщилась на его впалых щеках. Я поинтересовался насчет здоровья, дядя потер руки и загадочно улыбнулся.

- Язва у меня, вот ведь какие пироги, - неожиданно глаза его заблестели. - Ничего ты не понимаешь, балда! Сколько у меня в активе? Не знаешь? То-то же! А впереди полный государственный пансион месяца на два да плюс зарплата. Кумекаешь? Я этого Мухаметшина через год собственноручно перееду.

Я часто навещал дядю в больнице. Он был по-

прежнему разговорчив, возбужден. Яркий болезненный румянец покрывал его морщинистые щеки. Поговорив о том, о сем, он вынимал из-под подушки записную книжку и, лукаво поглядывая на меня, занимался обычными подсчетами.

Когда дядя выписался из больницы, я еще раз попытался воздействовать на него, убеждая в нереальности его затей.

- Пойми, дядя. Я не могу без боли смотреть, как ты сам себе роешь яму. Неужели ты не понимаешь, что, получая сто двадцать рублей, невозможно осилить такую крупную вещь, как машина.

- Деньги, деньги, - кипятился дядя. - Мне государство платит, что я зарабатываю. И не у меня одного такая зарплата. А вообще, деньги зло. Может, слышал? Все беды от них: насилие, неравенство, разобщение! И перестань давить на меня, я знаю, что делаю!

Дядя продолжал толстовствовать, подтачивая и без того слабый организм. Он здорово постарел, усох и часто менял свой потертый лоснящийся пиджак на больничную пижаму. Как-то он сообщил, что очередь его продвигается и он очень боится, что к нужному моменту у него не окажется достаточной суммы. Я прикинул, сколько могу занять, и сказал дяде, чтобы он не беспокоился, поддержу по-родственному.

Он замахал руками: "И не вздумай, Сеня! Все должно быть честно, покупаю только на свои деньги. Я обязательно возьму красного цвета, чтобы издали заметна была. Понимаешь, Сенька, машина будет стоять перед моими окнами и все будут показывать на нее пальцами и говорить: смотрите, вот машина красного цвета куплена исключительно на зарплату".

Увели его внезапно. Дядя почувствовал острую боль в области желудка, с трудом дотащился до телефона и вызвал неотложку.

- Прободение, - сказал дежурный врач, когда я на следующий день пришел в больницу. - Делали операцию, состояние, сами понимаете. Очень рекомендую не беспокоить. Звоните!

Я ушел с тяжелым чувством. Всю ночь проворочавшись, с утра пораньше я позвонил в больницу. Меня долго расспрашивали, кто я, о чем-то совещались и попросили приехать, так как состояние больного внушало опасение.

Когда я вошел в палату, дядя лежал на спине, высоко задрав острый подбородок, и часто дышал. Я посмотрел на его лицо и почувствовал всю свою беспомощность и незначительность перед совершающимся актом ухода в небытие.

- А... а... это ты, - сказал он тихим голосом. - А я, вот видишь, промашку дал... Сядь, посиди.

Я сел подле него, взял за руку, она была влажная и горячая. Говорить было тяжело, я молчал. И вдруг вымученная улыбка появилась на его костистом лице. Потухший было взгляд заискрился, он слабо пожал мне руку и заговорил, неестественно растягивая губы.

- Слышь, Сенька! А я купил машину-то. Вчера весь день на ней ездил. Да...а...а. Красивая машина... Красного цвета... Жаль, ты не видел.

Эта длинная фраза, видимо, отняла у него много сил. Рука безвольно упала на одеяло и взгляд, пустой, безразличный взгляд, уперся в потолок.

- Ведь не выиграл он, Сеня, - с трудом прошептал дядя. - Времени у меня не хватило. Вот что.

- Кто? - спросил я, отрываясь от невеселых дум.

- Да он, сосед, забыл, что ли?

- Ах, Мухаметшин! Конечно, не выиграл! - поддержал я. - Сам видел эту машину. Она стоит около твоего дома. Красивая такая, красная.

Дядя надолго замолчал. Мне даже показалось, что он спит с открытыми глазами, и я тихо провел по его руке.

- Купи этому болвану бутылку, - одними губами произнес дядя и отвернулся к стенке.

1975



Мария ШНЕЕРСОН

## Два романа Василия Гроссмана

Творческая история Сталинградской дилогии Гроссмана, о которой уже немало написано, до сих пор полна загадок и вызывает споры. Так, трудно установить, когда совершился перелом в мировоззрении писателя, определивший общий характер Второй книги – романа "Жизнь и судьба". И был ли это крутой перелом или же философское переосмысление коренных вопросов бытия и новое понимание советской действительности созрели постепенно? Можно также лишь гадать, чем было вызвано решение Гроссмана писать Вторую книгу совершенно раскованно, безоглядно смело, отбросив все табу, словно их никогда и не было.

О многом свидетельствует хронология. Роман "За правое дело" начат был в 1943 году, сдан в "Новый мир" в 1949-м, а опубликован там лишь в 1952-м. По словам Семена Липкина, к середине 1960 года писатель завершил работу над романом "Жизнь и судьба"<sup>1</sup>. О начале работы над ним говорит Гроссман в письме к Хрущеву (оно отправлено в 1962 году в связи с тем, что рукопись "Жизни и судьбы", отданная в "Знамя" два года назад, в феврале 1961 года была арестована): "Прошло двенадцать лет с тех пор, как я начал работать над этой книгой /.../ еще при жизни Сталина"<sup>2</sup>. В том же письме и еще в другом месте

Гроссман указывает, что писал "Жизнь и судьбу" "около десяти лет"<sup>3</sup>. Следовательно, работа над Второй книгой началась в 1950 году, еще тогда, когда шла полная драматизма подготовка к печати Первой книги – подготовка, растянувшаяся на три года. Параллельная работа Гроссмана над обеими книгами, в одном случае направленная на то, чтобы приблизить роман к соцреалистическим стандартам, в другом же – вне всякой связи с какими бы то ни было стандартами – представляется мне одной из самых неразрешимых загадок.

Неясно также, когда родился замысел "Жизни и судьбы", в какой мере он связан с замыслом "За правое дело". И связан ли? Можно ли вообще говорить о диалогии, то есть о двух частях одного произведения? Не исключают ли философская концепция каждой из книг и различный художественный метод, определивший их структуру, возможность внутреннего единства?

### Одно произведение или два разных?

Вопрос о взаимосвязи романов "За правое дело" и "Жизнь и судьба" до сих пор остается нерешенным. В статье Л. Лазарева "Дух свободы" утверждается следующее: "...при всех различиях «За правое дело» и «Жизнь и судьба» /.../ – единое произведение с общим замыслом, с общими героями"<sup>4</sup>. Аналогичной точки зрения придерживается и Л. Аннинский. В статье "Мироздание Гроссмана" он задает вопрос: "...о д н о это произведение или д в а р а з н ы х произведения? Единое создание пера и сердца или вещи несовместимые?.." И отвечает: "Совместимо. Едино". Критик считает обе книги двумя частями "единого повествования". Первую он называет "экспозицией, разгоном, разбегом"<sup>5</sup>. При этом Аннинский, как и Лазарев, не обращается к тексту и не приводит

каких-либо веских доказательств. Зарубежную критику Аннинский упрекает в том, что она придерживается противоположной точки зрения.

Между тем, единства по данному вопросу и у зарубежных критиков нет. Даже в рамках первого женеvского издания "Жизни и судьбы" обнаруживается разногласие. Во вступлении "От издательства" говорится: "Автор «Жизни и судьбы» и «Все течет» не имеет ничего общего с тем Василием Гроссманом, который написал «Степана Кольчугина» и «За правое дело»"<sup>6</sup>. А в послесловии В. Кардин высказывает иную мысль: "Сталинградская диалогия – это художественное осознание не только самых событий, но также их истоков и вероятных последствий"<sup>7</sup>. И далее оба романа рассматриваются как целостное произведение.

В исследовании Шимона Маркиша "Пример Гроссмана" также ставится вопрос о соотношении обеих частей диалогии и приводятся убедительные аргументы в пользу следующего вывода: "У Гроссмана между двумя романами лег кризис мировоззрения, духовный переворот /.../ Единство диалогии – в предмете повествования, в непрерывности фабульных линий /.../ Но во всем остальном Вторая книга оторвана от Первой с резкостью, которая может показаться умышленной..."<sup>8</sup>.

Наряду с анализом текста, подтверждающим его выводы, Маркиш ссылается на слова самого Гроссмана (их цитирует Лидия Чуковская во втором томе "Записок об Анне Ахматовой"): "В 1960 году в № 21 газеты «Советский воин» он (Гроссман. – М. Ш.) сообщает читателям: «...я закончил большой многоплановый роман «Жизнь и судьба» /.../ В этой книге действуют многие герои, известные читателю по роману «За правое дело»". Маркиш справедливо замечает: "Ясно, что Гроссман избегает прямо называть Вторую книгу продолжением Первой"<sup>9</sup>.

Особо следует остановиться на точке зрения Семена Липкина, ибо он был ближайшим другом Гроссмана и первым читателем его романов. С одной стороны, мнение Липкина весьма авторитетно. С другой — оно не может быть вполне объективным. Как и многие, пишущие о романе "За правое дело", Липкин судит о нем, до сих пор находясь под впечатлением, которое эта вещь произвела на читателей пятидесятых годов, резко выделяясь на сером фоне тогдашней литературы. К тому же Липкин читал и первые варианты романа, которых не знаем мы, был свидетелем мучений, через которые прошел Гроссман, прежде чем "За правое дело" увидело свет. Это не могло не сказаться на отношении к роману.

Утверждая, что "За правое дело" "было чуждо социалистическому реализму"<sup>10</sup>, Липкин приводит лишь отдельные примеры, вырванные из контекста. Но все, о чем он говорит, отсутствует как в журнальной версии, так и в первых отдельных изданиях "За правое дело" и появляется лишь в последнем прижизненном издании 1964 года (о нем — ниже). А издание это готовилось, когда давно уже не было Сталина и завершилась работа над "Жизнью и судьбой".

Другие исследователи, которые рассматривают оба романа как нечто целое, тоже ссылаются не на общую концепцию Первой книги, а лишь на отдельные детали. Так, утверждая, что для Гроссмана "вообще не было резкой границы между Первой и Второй книгами...", Елена Дрыжакова приводит в подтверждение несколько примеров, которые свидетельствуют о неприятии писателем каких-то отдельных сторон советской действительности — и только<sup>11</sup>.

Думается, такой подход в корне ошибочен. Для решения вопроса о взаимосвязи обеих книг надо сопоставлять их, рассматривая каждую как це-



лостное произведение, а не выискивать намеки и аллюзии, не столь уж густо рассыпанные в Первой книге. Быть может, крупницы правды в ней и сохранились. Но для того, чтобы увидеть правду в "Жизни и судьбе", специальных изысканий не требуется.

Напомню слова самого Гроссмана о том, как он понимает, что значит подлинная художественная правда. Во Второй книге писатель задает вопрос: надо ли рассказывать о пьянстве, склоках, жестокости генералов – героев Сталинградской битвы? И отвечает: "Правда одна. Нет двух правд. Трудно жить без правды или с осколочками, с частицей правды, с обрубленной, подстриженной правдой. Часть правды – это не правда /.../ Пусть в душе будет вся правда – без утайки"<sup>12</sup>.

Вот в чем прежде всего заключается принципиальная разница между обоими романами: в первом – лишь кое-где сохранились "осколочки правды", правда в ней "обрубленная"; во втором – за сверкала "вся правда – без утайки". Другое мировосприятие, другая эстетическая система определяют художественную структуру Главной книги Василия Гроссмана.

## "Заданная литература"

В своих мемуарах, точнее – в предсмертной исповеди "Эпилог" Вениамин Каверин, известный прежде всего как исключительно порядочный человек, кается в грехе приспособленчества. Ни одно его произведение не было написано без учета, что можно сказать, а что – нельзя. "И я был обманут, и без вины виноват, и наказан унижением и страхом, – подводит он итоги своей писательской деятельности. – И я верил, и не верил, и упрямо работал, оступаясь на каждом шагу, и путался в

противоречиях, доказывая себе, что ложь - это правда. И я тосковал, стараясь забыть тяжелые сны, в которых приходилось мириться с бессмысленностью, хитрить и лицемерить"<sup>13</sup>.

Но, пожалуй, самое трагическое в честной, предельно искренней книге Каверина заключается в том, что о причастности своей к "заданной литературе" (так называет он творения соцреалистов) писатель говорит как о чем-то естественном, фатальном. "Желание сказать «почти правду», на деле скрывая ее..."; "внутренний редактор, не колеблясь, вычеркнул..." - такого рода признания рассыпаны по всей книге.

К концу тридцатых годов, вспоминает Каверин, "психологическая деформация, превращающая писателей в исполнителей «социального заказа», произошла и со мной". От превращения в продажного писателя спасла Каверина "сила внушенной с детства порядочности, профессиональная требовательность, наконец, вкус..."<sup>14</sup>.

Нечто подобное происходило и с другими честными, но подневольными писателями<sup>15</sup>. Среди них был и Гроссман - человек того же поколения, что и Каверин. Разница - в масштабах дарования. А отсюда - и в том, что Гроссман, благодаря своему исключительному таланту, не умещавшемуся ни в какие рамки, перешагнул запретную грань и создал "Жизнь и судьбу".

Исповедь Каверина многое объясняет в истории создания "За правое дело".

Когда писатель начал работать над ним, он уже знал об ужасах коллективизации и террора. Герои "Жизни и судьбы" в пору войны знают об этом. Да и в довоенном рассказе Гроссмана "Молодая и старая" (1938-1940) тема репрессий занимает существенное место: речь идет не о каком-то отдельном случае, а о массовых арестах, о доносах, страхе, о ликвидации опытных кадров и о

новой пролетарской аристократии. (Впервые рассказ был напечатан в годы "оттепели" - "Москва" № 9, 1964.)

Семен Липкин, встречавшийся с Гроссманом во время войны, вспоминает: "Гроссман не сомневался в том, что идет война между интернационализмом и фашизмом. Эта война, по его мнению, смыывает всю сталинскую грязь с лица России. Святая кровь этой войны очистила нас от крови невинно раскулаченных, от крови тридцать седьмого года"<sup>16</sup>.

Итак, писатель знал о крови и грязи сталинской эпохи. Однако не об этом роман "За правое дело". Как и другие, даже лучшие произведения тех лет, он создавался по нормам "социального заказа", применительно к требованиям времени. Это не значит, что Гроссман лгал. Писатель "был зачарован не одним лишь ужасом, но и «возвышающим обманом» творимой утопии"<sup>17</sup>. Расстаться с верой было не так-то легко. Иллюзии рассеивались постепенно. И, надо полагать, когда развернулась работа над Второй книгой, они исчезли окончательно. Но вспомним, что Гроссман начал работать над ней, еще не закончив редактирование Первой, до того, как "За правое дело" было сдано в печать. Значит, переворот в сознании автора завершился, когда он доводил до кондиции "За правое дело", однако отражения там не нашел. Работа над Первой книгой еще шла под давлением как "внутреннего редактора", так и многочисленных внешних.

Тем не менее, первые читатели этого романа встретили его восторженно. И, право, тут нечему удивляться. Вспомним, как мы читали в сороковые-пятидесятые годы. Если вещь была мало-мальски талантлива и не принадлежала к разряду рептильных, мы пытались найти в ней "осколки правды" и на большее не претендовали. Вот почему сильное впечатление производили в ту пору

книги, которые сейчас невозможно перечитывать. Среди них – и роман "За правое дело".

Порою в нем, как и в некоторых довоенных вещах Гроссмана, чувствуются "когти льва". Мастерски написаны батальные сцены, степные пейзажи, картина разрушенного города, отдельные эпизоды. Первых читателей поражало и непривычное в ту пору трагическое звучание некоторых страниц, мотивы обреченности защитников Сталинграда. Критика за это всячески поносила автора. Читателей же она возмущала. Помню, как горько шутили в ту пору: "За что ругают Гроссмана?" – "За правое дело".

### У семи нянек...

Лишь недавно стало известно, как на протяжении почти трех лет готовый роман "За правое дело" подвергался бесчисленным "исправлениям" под нажимом рецензентов, редакторов, "вышестоящих товарищей". В Центральном государственном архиве литературы и искусства имеется 12 (двенадцать!) вариантов романа.

Сохранился также уникальный документ – "Дневник прохождения рукописи", который вел писатель, фиксируя все перипетии, связанные с подготовкой романа к печати. Об этом впервые рассказал А. Бочаров в статье "По страдному пути"<sup>18</sup>. Из двенадцати вариантов, по словам Бочарова, девять написано под нажимом со стороны. Судить о первоначальном замысле, не зная первых трех вариантов, довольно-таки трудно, поскольку опубликованная версия появилась в результате указаний бесчисленных "идеологических нянек".

О переработке, которую пришлось проделать писателю под их воздействием, свидетельствует

не только его дневник, но и сохранившиеся стенограммы обсуждения романа в разных инстанциях.

Вести дневник Гроссман начал 2 августа 1949 года, когда готовая рукопись была сдана в редакцию "Нового мира". Завершается дневник 26 октября 1954 года сообщением, что отдельное издание книги поступило в продажу (журнальная публикация датируется 1952 г.).

Бочаров считает, что это явилось "конечным торжеством таланта", что справедливость была восстановлена и "правое дело Гроссмана восторжествовало"<sup>19</sup>. Но на самом деле, выход в свет *изуродованной* книги (даже в большей степени, чем журнальный вариант, ибо в первое издание романа внесена дополнительная правка - по следам разносной критики) был не торжеством художника, а вынужденным самоубийством.

Вызывает сомнение и другое утверждение Бочарова. Он считает, что причина столь трудного прохождения рукописи заключается в "необычности и значительности" произведения. Но есть все основания полагать, что ко времени сдачи рукописи в журнал она уже прошла через тщательную автоцензуру. В сталинские времена иначе и быть не могло.

Чтобы понять главную причину, вызвавшую сперва бесчисленные придирки, а после публикации - яростную атаку критиков, достаточно взглянуть на даты: роман был сдан в журнал в 1949 году, а опубликован - в 1952-м! Нет нужды говорить, что это было за время. В годы борьбы против "безродных космополитов" роман еврея Гроссмана не мог не вызвать резкой реакции, каким бы правоверным он ни был.

Характерно суждение Шолохова, к которому "Новый мир" обратился с вопросом: печатать "За правое дело" или нет? Вот ответ советского классика (в своем роде тоже классический): "Ко-

му вы поручили писать о Сталинграде? В своем ли вы уме? Я против"<sup>20</sup>.

Липкин вспоминает, с какими переживаниями был сопряжен "мучительный, страшный, долгий путь романа «За правое дело»: ...мы с Василием Семеновичем затаились у меня на даче в Ильинском, и каждый ночной порыв ветра, стук ставни, шаги в безлюдной улице пугали: Они пришли"<sup>21</sup>.

Следует подчеркнуть, что весьма придирчивая критика почти не касалась батальных сцен. Видимо, они сохранились в первоначальном виде. Не потому ли именно картины войны - лучшие в романе? На первом же редакционном совете в "Новом мире" было отмечено: "Все хорошо, что касается войны, но как только дело касается философии, так оказывается не на месте...". И автору предлагалось: "...обезопасить роман" "от противоречий с нашим мировоззрением"<sup>22</sup>.

Тот же критик, очевидно, выражая общее мнение, подчеркнул необходимость отказаться от принципа, которому следует Гроссман: "непременно обращать внимание на противоречивые, неприглядные, темные стороны /.../ Реалистичность вовсе не достигается показом всяких неприглядных и уродливых вещей"<sup>23</sup>. Очевидно, как ни старался "внутренний редактор" приспособить рукопись для печати, какие-то "идеологические просчеты" в ней сохранились. Но даже если они и были, дело заключалось не в них. Когда требования первых зоиллов писатель удовлетворил, посыпались новые и новые указания. После каждого очередного обсуждения - число их росло. Автору предлагалось то снять главу о приходе Гитлера к власти и страницы о маршале Жукове, то ярче показать роль "товарища И. В. Сталина", то говорилось, что "советскую науку должен представлять крупный русский ученый, а не Штрум"... Гроссман подчиняется указаниям. Но им не видно конца.

В отчаянии писатель обращается с письмом к самому Сталину. Там есть такие строки: "Количество страниц рецензий, стенограмм заседаний и отзывов по объему уже приблизилось к объему самого романа /.../ Но до сих пор не сказано окончательное слово"<sup>24</sup>. Письмо, как и следовало ожидать, не помогло. Через несколько месяцев Фадеев предлагает сделать новые исправления: внести главы о рабочем классе и крестьянстве, снять Штрума совсем! Лишь с последним требованием автор не согласился, остальные - принял, и роман, еще более изуродованный, был сдан на перекладку.

Однако и тут поток замечаний не иссяк. "Нет больше сил", - жалуется Гроссман. А критики не унимаются: "...в романе мало отражен рабочий класс, крестьянство, партия /.../ не те генералы описаны..." И еще через несколько месяцев - нечто уж и вовсе несусветное: "книгу предложено перевести в рамки личного опыта"<sup>25</sup>

Снова проходит несколько месяцев. Фадеев, который в общем-то покровительствовал писателю, с облегчением замечает: "...в книге зазвучала партийная струя". И "Новый мир" наконец выпускает в свет многострадальный роман. Но тут-то и обрушился на него сокрушительный шквал обвинений. Через месяц после того, как в "Правде" появилось сообщение о раскрытии заговора "убийц в белых халатах"!

Между тем, тогда уже была в разгаре работа над "Жизнью и судьбой". Гроссман писал Вторую книгу, не думая ни о "внутреннем", ни о внешнем редакторе. Не потому ли вместо традиционного покаяния, которое по правилам игры он должен был написать в самоуничижительном тоне, автор заклеянного романа посылает в Секретариат ССП письмо, полное достоинства: "Я хочу, учтя критику партийной печати, продолжать работу над

второй книгой романа /.../ В этой работе я буду стремиться к марксистски четкому, к более глубокому идейно-философскому осмыслению событий /.../ Я буду стремиться к тому, чтобы работа над книгой по-новому, внутренним светом, изнутри осветила для меня предыдущую первую книгу романа, дала мне возможность освободить ее от недостатков, несовершенств. Этот путь нелегок, но я хочу верить, что именно он является правильным” (письмо от 28 февраля 1953 г.)<sup>26</sup>.

Конечно, слова о марксизме – только камуфляж. Однако первое отдельное издание “За правое дело”, ставшее возможным только тогда, когда времена переменились (“Воениздат”, 1954), все же носит печать недавних критических бурь: Гроссман внес в него новые исправления с учетом обвинений, которым его подвергала конъюнктурная критика. Переделать же Первую книгу, приблизив ее по общему духу ко Второй, писатель или не считал возможным, или не успел.

У современного читателя, далекого от эпохи сороковых-пятидесятых, естественно, может возникнуть вопрос: зачем Гроссман шел на компромиссы и портил роман “За правое дело”, следуя указаниям партийных идеологов? Подобные вопросы легко задавать сейчас... Но писатель ответил на любые упреки потомков, создав свою Главную книгу. Быть может, тернистый путь романа “За правое дело” и привел художника к решению: не считаясь ни с кем и ни с чем, писать так, как велят разум, сердце и совесть.

## Под прессом соцреализма

Для того, чтобы решить непростой вопрос о взаимосвязи между обеими книгами Сталинградской эпопеи, надо рассмотреть текст каждой из



них как нечто целое, не ограничиваясь вырванными из произведения отдельными цитатами.

Заглавие "За правое дело", хотя оно и не придумано автором (Гроссман, как известно, хотел назвать роман "Сталинград"), выражает общий пафос книги. Это заглавие, впрочем, как и "Сталинград", подчеркивает, что в центре - великая битва, определившая исход войны. Роман, таким образом, в основном посвящен изображению исторического события.

Заглавие "Жизнь и судьба" имеет куда более широкий смысл. Автора этого произведения волнуют глобальные вопросы бытия: он размышляет о ценности любой человеческой личности ("чудо отдельного человека"), о добре и доброте, о свободе общественной и внутренней, о трагических вопросах современной истории, рассматривая их в свете общеполитических проблем, и о многом, многом другом. И хотя фабульным стержнем и здесь остается Сталинградская битва, границы раздумий бесконечно расширяются, акценты расставлены по-иному и центром повествования становится не битва, а человек. Сам Гроссман так определил пафос романа "Жизнь и судьба": "Я писал о любви к людям и о сострадании к людям"<sup>27</sup>.

В романе же "За правое дело" люди - на заднем плане. И похожи они не на живых людей, а на безликие тени. Различие между ними сводится лишь к одному: на полюсе со знаком "плюс" - советский человек, сражающийся за счастливую жизнь "на богатой земле"; на полюсе со знаком "минус" - фашисты, которые стремятся поработить свободную страну. "Добро мирных, трудовых людей" противопоставлено "ополчившемуся на это добро кровавому злу поработителей"<sup>28</sup>.

Персонажи созданы по канонам соцреализма: они четко делятся на "положительных" и "отрицательных", и каждый является "представителем" ка-

кой-нибудь социальной группы. Очевидно, не без влияния рецензентов в романе появились многочисленные "типичные" рабочие, похожие друг на друга, как две капли воды. Смысл их существования сводится к работе. Так, Иван Новиков "всегда и неизменно ощущал свой труд как самое высшее, самое главное и основное дело жизни". Даже любовь к четырехлетней дочке "как-то удивительно, как-то странно соединялась в душе его с могучей силой ревуших доменных печей, со скрежетом и воем бурильного станка".

Встречаем мы и "типичного" колхозника Вавилова. Он "чувствовал то новое, что было внесено в жизнь размахом колхозной работы", его вдохновляла на трудовые подвиги (а потом - и на боевые) "дружная и единая сила народа".

Встречаем мы и "типичного" директора предприятия - Степана Федоровича Спиридонова, влюбленного в свой СталГРЭС, в турбины, машины, в людей труда. Действуют в романе и многочисленные партийные руководители, которые "все равны, как на подбор". Так, в "типичном" парторге Николаеве сочетаются деловитость с пресловутым "чутким отношением к человеку". В самые роковые часы, когда немцы уже в Сталинграде, он между делом не забывает позаботиться о рабочих и их семьях.

Мысли и слова рабочих, колхозников, ученых, старых и молодых, партийных и беспартийных совершенно одинаковы как по содержанию, так и по стилю, и ничем не отличаются от авторской речи. На языке газетных передовиц и лозунгов говорят все - от мала до велика. Вот мать семейства Шапошниковых, старая интеллигентка, обращается к подруге: "...я, старуха, по-прежнему так же страстно верю в силу революции, верю в победу над фашизмом, верю в силу тех, кто держит знамя народного счастья и свободы". Ей вторит дочь: "...такой мы самоотверженный, такой трудолюбивый

народ! /.../ Родина требует великих жертв /.../  
Нет, невозможно нас победить!"

"Типичный" советский ученый Штрум тоже верит "в счастливое будущее своей Родины". "Наша сила в одном, — размышляет он, — мы преобразуем общество и идем вперед". Его, как и рабочих Челябинского завода, восхищает "величественная мощь всенародного труда".

В том же ключе звучит и авторская речь. Режут слух нарочитый пафос, казенные штампы, "стертые" слова. Для первых читателей романа язык этот был настолько привычным, что не вызывал отрицательных эмоций: его попросту не замечали. Теперь же... Вот, послушайте!

"А советская сила — огромная сила. И есть у нас партия, чья воля собирает, организует спокойно и разумно всю мощь народа". "Партия, ее ЦК, комиссары дивизий и полков, политруки рот и взводов, рядовые коммунисты в этих боях ковали дисциплину, организовывали боевую и моральную силу Красной Армии". Или еще такое: "Бескрайняя река людского гнева и горя не ушла в песок, не впиталась в землю, а волей народа, партии и государства перевоплотилась в труд и потекла обратно с востока на запад, чтобы страшной тяжестью своей поколебать чаши весов, превысив мощью русского оружия силу врага".

Читая подобные слова, ловишь себя на том, что перестаешь понимать их смысл. Ну как представить себе реку, которая перевоплотилась в труд и колеблет чаши весов... Неужели так писал автор "Жизни и судьбы"?!

Немало в Первой книге и сусальных сцен в стиле соцреализма. Вот, например, хоть такая. Комиссар Крымов выводит солдат из окружения. В самый безнадежный момент, когда, казалось, спастись невозможно, Крымов собрал отряд и произнес такую речь: "«Мы не оторванная частица,

забытая в лесу в тылу фашистов. Двести миллионов сердец с нами, двести миллионов наших братьев и сестер за нас. Мы пробьемся, товарищи! — Он вынул партийный билет, поднял его над головой. — Товарищи, — крикнул он, — клянусь вам, мы пробьемся!» И они пробились...”

Думаю, нет необходимости приводить еще примеры, чтобы сделать вывод: “За правое дело”, при всех своих достоинствах, роман соцреалистический. И причина тут не только в редакции, навязанной извне. Общая концепция произведения, его язык, метод изображения персонажей — все это не могло появиться лишь под воздействием “идеологических няnek”. Как и его собратьям по перу, Гроссману “приходилось мириться с бессмысленностью, хитрить и лицемерить” (Каверин).

### Последняя редакция

Переиздавая “За правое дело” в последний раз, незадолго до смерти, писатель подверг роман основательной переработке, на которой следует остановиться подробнее. На самый факт этой переработки впервые обратила внимание Елена Дрыжакова<sup>29</sup>. Но в задачи ее не входил сравнительный текстологический анализ разных редакций романа, поэтому далеко не все существенное она отметила.

Указано в работе Дрыжаковой лишь на следующее: в издании 1964 года Гроссман снял большинство упоминаний о Сталине, цитаты из его речей, хвалебные слова о нем; изменил рассказ о судьбе Дмитрия Шапошникова, который не умер от разрыва сердца, как говорилось в журнальной версии, а был репрессирован. Писатель, отмечает далее Дрыжакова, восстановил некоторые страницы, изъятые из первого отдельного издания после разностной критики романа.

Утверждение Дрыжаковой, будто Гроссман снял славословия партии и советской власти, справедливо лишь отчасти. Их стало гораздо меньше, но суть сохранилась, о чем свидетельствуют приведенные выше цитаты (напомню, что все они взяты из последнего издания). Так или иначе, хоть правка и была существенной, соцреалистическая основа Первой книги осталась неизменной. Для того, чтобы ее изменить, нужен был не косметический и даже не капитальный ремонт, нужно было воздвигать новое, совсем другое здание.

Помимо той правки, о которой говорит Дрыжакова, Гроссман вставил в последнее издание целые главы и эпизоды. Не видя рукописей, невозможно установить, что написано заново, а что лишь восстановлено. Дальше предположений тут не пойдешь.

Вставлено пять глав. Все они, за исключением одной, так или иначе связаны со Сталинградской битвой. Особенно интересна тридцатая глава второй части, где рассказывается о восхождении Гитлера к власти и дается его психологический портрет. Она была изъята, как мы знаем, по настоянию рецензентов. Глава эта резко выделяется на общем фоне романа, в основе которого лежит противопоставление правого дела советского народа, партии и государства неправому делу немецко-фашистских агрессоров. В тридцатой же главе возникает, пока еще смутно, параллель между фашизмом немецкого и советского образца. Правда, параллель эта касается здесь лишь вождей национал-социалистической и большевистской партий.

В облике Гитлера писатель выделяет черты, которые в равной мере были присущи и Сталину: "мстительная злоба", "зловещее умение играть на низменных инстинктах толпы", "капризная изменчивость в выборе фаворитов", "жестокое вероломство". Сходны со сталинскими и методы завое-

вания власти: "Единственное средство, которым он осуществлял свою цель, было насилие"; "Он заставил замолчать всех инакомыслящих, превратил Германию в зону интеллектуальной пустыни и мертвой тишины".

Аналогия бросалась в глаза, и тогдашние рецензенты и редакторы не зря проявили бдительность. Да и писатель ведал, что творил. Об этом свидетельствует обобщение, завершающее рассказ о фюрере: "Назовем ли мы истинной исторической личностью преступное существо /.../ Разбой против человечества совершают разбойники /.../ Они не герои истории, они палачи и проходимцы /.../ Героями истории, истинными историческими личностями" можно назвать лишь тех, "кто осуществляет свободу, в свободе видит силу человека, народа, государства..."

Не исключено, конечно, что эти размышления добавлены при подготовке последнего издания. Уж очень близки они по духу ко Второй книге. Но так или иначе, ясно: когда писалась тридцатая глава, автор многое уже понимал и переворот в его сознании совершился не в одночасье.

Появилась в последнем издании и глава об Абарчуке (часть I, гл. 28). Она представляет исключительный интерес. Дело даже не в том, что в ней проясняется прошлое первого мужа Людмилы Николаевны Штрум - Абарчука, о котором написаны потрясающие страницы в "Жизни и судьбе". Дело в том, как изображен этот персонаж. Самый почерк писателя здесь иной - это почерк автора Второй, а отнюдь не Первой книги.

Двадцать восьмая глава знакомит нас с трагической и страшной фигурой героя Гражданской войны и деятеля двадцатых годов, в тридцатые брошенного в лагеря. Абарчук - яростный фанатик, слепо преданный партии. Для него не существовало никаких человеческих чувств, ничего, кроме клас-

совой ненависти. "Люди буржуазного происхождения внушали ему чувство физической брезгливости". Он подвергал гонениям своих соучеников за малейшее отступление от норм "пролетарского" поведения. Людмилу он считал мещанкой и вскоре развелся с ней, рассказав комиссии по чистке о мотивах развода и потребовав, чтобы его бывшую жену исключили из института. Он отказался и от сына, считая, что тот будет воспитан в мещанском духе, потерял с ним всякую связь.

В книге, где звучит прославление советского государства и партии большевиков, образ Абарчука кажется чужеродным. В то же время, в нем воплощены существенные идеи "Жизни и судьбы". Да и метод изображения человека здесь не тот, что в Первой книге. Абарчука не назовешь ни положительным, ни отрицательным героем. Это фигура сложная, это душа, в которой "благо смешано со злом". Наряду с отталкивающим жестоким фанатизмом — ему присущи бескорыстие, самоотверженность, честность. Возникает предположение: не написана ли эта глава позже, когда в шестидесятые годы "За правое дело" готовилось к переизданию? Или, быть может, она имелась в самых первых редакциях романа? Во всяком случае, трудно себе представить, чтобы рассказ об Абарчуке содержался в рукописи 1949 года, предназначавшейся для печати.

То же можно предположить и относительно некоторых эпизодов, появившихся в последнем издании. И они выглядят в контексте романа как нечто чужеродное. Остановлюсь лишь на двух.

В предыдущих изданиях рассказывалось, как Крымов, выйдя из окружения, явился к комиссару Шляпину. Подобно другим партийным руководителям, Шляпин изображался в розовых тонах: "От неторопливой речи Шляпина, от его насмешливого и доброго взгляда, от милой улыбки веяло спокой-

ной и простой силой". Крымов и Шляпин приступают к ужину, к ним присоединяется командарм Петров. А далее вставлен следующий эпизод.

Ужин прерывает приход председателя армейского трибунала, который просит утвердить приговоры. "Петров и Шляпин слушали доклад о трех изменниках. Петров детским зеленым карандашом крупными буквами писал "утверждаю" и передавал карандаш Шляпину". Но наткнувшись на дело "старой девы, монахини", занимавшейся антисоветской агитацией, Петров задумался. "«Старая дева? Ну, заменим ей...» - И стал писать. - «Не мягко ли?» - спросил добрый Шляпин".

В воображении читателя встают без суда и следствия приговоренные к расстрелу "изменники" (изменники или свои же ребята?), "помилованная" монахиня, судьба которой может оказаться страшнее расстрела. И как обухом по голове, ударяют нарочито обыденные, вроде бы ничего не значащие слова, которыми завершается вставленный эпизод. Петров, как ни в чем не бывало прощаясь с председателем трибунала, просит: "Будешь в штабе, передай, пожалуйста, чтобы нам варенья вишневого прислали". А далее остается без изменения фраза, в новом контексте приобретающая жуткий смысл: "Крымов уехал, сохраняя в душе тепло этого блаженного дня". Ничего подобного в предыдущих изданиях "За правое дело" мы, конечно же, не найдем.

Другой эпизод. Идут к Сталинграду измученные долгим маршем солдаты. Зной, пыль, смертельная усталость. Люди изнемогают от жажды. И вдруг у дороги видят женщину, которая стоит с ведром и... продает воду. Разгневанный Вавилов ударил ногой по ведру, и оно опрокинулось. "«Ты, что ли, детей моих накормишь?»» - закричала женщина. «Убью, паразитка!» - крикнул солдат, и женщина вдруг вскрикнув, побежала, не



оглядываясь, не подняв ведра. - «Ну, Вавилов /.../ - сказал Рысьев. - Зря он ее напугал. Она ж для детей, слышал?» /.../ - «А мы умирать ради чего идем? Тоже за детей»».

Кто прав? Кто виноват? Писатель не берется судить замученных, озлобленных, обреченных людей. Но до чего же далек отраженный тут мир от идиллических картин братства и единения советского народа, картин, которыми заполнена Первая книга! На этот раз так же отчетливо проступает совсем другой почерк - почерк автора "Жизни и судьбы".

Общий характер изменений, внесенных в последнее издание "За правое дело", свидетельствует, в каком направлении развивалась мысль писателя, когда он вернулся к Первой книге, уже умудренный работой над Второй. Вместе с тем, изменения лишь подчеркивают, как глубоко различие между обоими романами. Никакая правка не могла сделать их идентичными.

## От марионеток - к человеку

Чтобы яснее увидеть пропасть, отделяющую "За правое дело" от "Жизни и судьбы", чтобы окончательно усомниться в правомерности термина "диалогия", сравним, как рисуются одни и те же персонажи в обоих романах.

Интересное сопоставление образов старых большевиков в Первой и Второй книгах проводит Ш. Маркиш, показывая, насколько все изменилось в "Жизни и судьбе".

Особенно глубокими представляются размышления Маркиша о Крымове. И я просто отсылаю читателя к соответствующим страницам исследования "Пример Гроссмана". Некоторые дополнения и коррективы хочу внести лишь в связи с образами

Мостовского и Пряхина. Не могу согласиться с утверждением: "В «Жизни и судьбе» /.../ персонажи остаются те же, только - без масок"<sup>30</sup>. Нет, совсем это не те же персонажи, совсем другие!

Меняется не только авторское отношение к ним и общий их облик, меняется м е т о д изображения человека: вместо марионеток, "типичных представителей", на сцене появляются живые люди, со всеми присущими им противоречиями, странностями, теньвыми и светлыми сторонами, загадочными побуждениями, тайными мыслями.

В очерке "На вечном покое", который создавался одновременно с "Жизнью и судьбой" (1957-1960), Гроссман говорит о людских сердцах: они редко бывают "как бы одноэтажны, линейны. Это здания с толстыми стенами, с глубокими подвалами, с темными жаркими спальнями, с надстройками и пристройками. Что только ни происходит в этих комнатухах, подвалах, коридорчиках и чердаках"<sup>31</sup>. Автор "Жизни и судьбы" заглядывает во все закоулки человеческой души, обнажая то, что доступно лишь его пронизательному взору. Это касается как вымышленных персонажей, так и исторических. Одномерное изображение сменяется объемным.

На страницах Первой книги Михаил Сидорович Мостовской - один из положительных героев. Это - старый большевик-ленинец, страстно преданный партии и восторгающийся всем, что совершается в социалистическом отечестве. "Новая Россия прынула на столетие вперед /.../ - размышляет Мостовской. - ...она меняла все, что от века казалось неизменным - свое земледелие, свои дороги, русла рек /.../ Исчезли разбитые и развеянные революцией, иссякли огромные слои людей, составлявших костяк эксплуататорских классов /.../ Рабочий и крестьянин стали управителями жизни /.../ И теперь, в самую тяжелую пору войны /.../ миллионы тру-

дящихся людей, составляющих главную основу нового общества, сильны своей верой, грамотностью, знаниями, любовью к советскому отечеству”.

Этими размышлениями, опять-таки напоминающими ура-патриотические газетные передовицы, исчерпывается характеристика Мостовского в Первой книге. В других его мыслях и высказываниях, в словах различных персонажей и авторских суждениях о нем варьируются все те же мотивы.

В “Жизни и судьбе” Мостовскому также присущи черты несгибаемого большевика. Но писатель вдохнул жизнь в “типичного положительного героя”, и со страниц книги теперь встает сложный, далеко не однозначный образ – героический и в то же время отталкивающий.

Мостовской появляется в самом начале Второй книги, где рисуется фашистский концлагерь. Из Первой книги мы узнаем, как Михаил Сидорович вместе с доктором Левинтон и шофером Семеновым попал в плен. Казалось бы, в “Жизни и судьбе” развивается все та же сюжетная линия. Но на самом деле это рассказ о другом Мостовском – не о рыцаре без страха и упрека, а о рыцаре на час, страдающем под гнетом сомнений.

В лагере у Мостовского появляются сильные оппоненты (в Первой книге все лишь восторженно внимали его речам). И в спорах с ними раскрывается нечто такое, что никак не вяжется с образом железобетонного коммуниста.

Среди оппонентов его – меньшевик Чернецов; “странный человек с туманной биографией” Иконников-Морж; идеолог фашизма – представитель Главного управления безопасности Лисс. Сталкиваясь с ними, Мостовской непримирим. Но выясняется, что в душе его уже давно зреют тяжкие сомнения. В этом его отличие от Абарчука и коренное отличие от Мостовского из Первой книги.

Суть заключается в том, что изменился сам

повествователь. Если в романе "За правое дело" Михаил Сидорович выражал авторскую позицию (в чем легко убедиться, сравнив их речи), то теперь взгляды автора выражает антипод Мостовского – истинный гуманист и мудрец Иконников. Его слова – ключ к пониманию романа: "Там, где есть насилие /.../ царит горе и льется кровь /.../ Я не верю в добро, я верю в доброту". Вот как Иконников обосновывает свои взгляды. Он был потрясен до глубины души страданиями крестьянства в пору коллективизации, затем – массовыми казнями евреев. А и то, и другое совершалось во имя догмы, которая казалась большевикам и нацистам неким "благим", "добром". "Ведь для вас цель ваша оправдывает средства, а средства ваши безжалостны", – говорит Иконников Мостовскому. Так на первых же страницах романа возникает параллель между насилием классовым и насилием расовым, между тоталитаризмом немецким и советским. (В отличие от романа "За правое дело", где, как уже говорилось, противопоставляется советское государство рабочих и крестьян гитлеровской Германии.) Эта же параллель еще более отчетливо проводится Лиссом в его монологах, обращенных к Мостовскому, с той лишь разницей, что Иконников осуждает насилие, а Лисс его оправдывает.

Твердую убежденность Мостовского из Первой книги никакие оппоненты не могли поколебать. Но вот что говорится в "Жизни и судьбе" об "однофамильце" этого соцреалистического персонажа: "До войны его утешало, что, удаленный от практики, он меньше соприкасался со всем тем, что вызывало его протест и несогласие, – и единовластие Сталина в партии, и кровавые процессы оппозиции /.../ Иногда его мучили сомнения, – может быть, по слабости, по трусости молчит он и не выступает против того, с чем не согласен. Ведь многое в довоенной жизни было ужасно!"

Как видим, между плакатным портретом убежденного большевика и живым, противоречивым образом человека, на старости лет усомнившегося в деле, которому он отдал жизнь, — дистанция огромного размера!

В образе Мостовского писатель, однако, подчеркивает не только трагическое начало. Как бы ни мучили его сомнения, сильнее всего оказывается аморальная идеология, которая насквозь пропитала душу верного сына партии.

В спорах Михаил Сидорович отстаивает ленинские взгляды, оправдывая любые формы насилия. "А мы не скрываем: мы без перчаток. Руки в крови, в грязи /.../ Спасение мира в наших руках!" — кричит он, поднося руки к лицу своего заклятого врага — Чернецова.

Характерно, что на смену газетной риторике, гладким выпрненным монологам Мостовского из романа "За правое дело" приходит нечто иное: в спорах с врагами старый интеллигент, высокообразованный человек не скупится на брань, и речь его теперь напоминает манеру и стиль Ленина-полемиста (что автор явно подчеркивает). В лицо Чернецову Мостовской бросает: "...всю эту гнусь мы слышали /.../ Так гадить, паскудить /.../ Лакей! /.../ Ваши зловонные слова..."

А между тем, Чернецов говорит правду, и бесит Мостовского именно бессилие перед правотой врага: "Клевета Чернецова была ужасна тем, что питалась не одной лишь ложью". Ведь и самого Михаила Сидоровича терзали мысли о сталинском терроре, о том, что большевики "жестоко закрутили гайки".

Самый страшный оппонент Мостовского — Лисс. Гроссман подчеркивает, что по сути они — единомышленники. Так, писатель заставляет Лисса повторить слова и жест Мостовского: "Наши руки, как и ваши, любят большую работу, не боятся

грязи”, – говорит фашист, поднимая и рассматривая свои ладони. “Михаил Сидорович поморщился, такими нестерпимыми показались движения и слова, повторившие его собственные”. Не случайно Лисс называет Мостовского “учителем”. Не случайно совпадает их отношение к людям иных взглядов. Гроссман отмечает, что оба они ненавидят Чернецова, презирают Иконникова. Возвращая Мостовскому трактат Иконникова о доброте, Лисс утверждает: “У вас и у нас одна гадливость к тому, что здесь написано. Вы и мы стоим вместе, а по другую сторону вот эта дрянь”.

Встречи с Лиссом потрясают Михаила Сидоровича. В словах фашиста “было то, что иногда, то робко, то зло шевелилось, скреблось в душе и мозгу Мостовского. Это были гадкие и грязные сомнения, которые Мостовской находил не в чужих словах, а в своей душе”. Лишь однажды его озарило: быть может, именно эти сомнения “и были самым честным, самым чистым, что жило в нем”. Но истый ленинец не позволяет себе сомневаться “в правоте великого дела”.

Погибает он как герой: Мостовского казнят в числе других участников подпольной организации, созданной в лагере. Однако писатель под конец развенчивает этого героя, добавив к его портрету последний убийственный штрих.

Создателем подпольной организации был майор Ершов. Но человек беспартийный, к тому же – сын репрессированного “кулака”, он вызывает недоверие у бдительных членов партии. И чтобы устранить его, они совершают подлое дело: “Человек он неясный, чужой, – рассказывает Мостовскому комиссар Осипов. – ...мы обсудили положение и приняли решение. Чешский товарищ, работающий в канцелярии, положил карточку Ершова в группу отобранных для Бухенвальда /.../ Таково было единое решение коммунистов”.

В следующих словах автора явственно слышится негодование: Осипов "стоял перед Мостовским /.../ непоколебимый, уверенный в своей железной правоте, в своем страшном, большем, чем Божьем, праве ставить дело, которому он служит, высшим судьей над судьбами людей. А /.../ один из основателей великой партии сидел /.../ низко нагнув голову, и молчал. Снова встал перед ним ночной кабинет Лисса. И снова страх охватил его: неужели Лисс не лгал..." Но в эту решающую минуту большевик в душе Мостовского взял верх над человеком: "Он распрямылся и так же, как всегда, как десять лет назад, в пору коллективизации, так же, как в пору политических процессов, приведших на плаху его товарищей молодости, проговорил: «Я подчиняюсь этому решению, принимаю его как член партии»".

\* \* \*

Среди руководящих работников - ультраположительных героев романа "За правое дело" - выделяется секретарь Сталинградского обкома Пряжин. Он строг, деловит, у него железная воля, "уверенность и спокойствие" ему никогда не изменяют. Но на суровом лице Пряжина нет-нет да и появляется "лукавая улыбка". Он радеет не только о нуждах государства, а и о нуждах каждого человека, вникая в его мелкие заботы и частные дела. Старый друг Крымова, Пряжин встречается с ним в Сталинграде, когда враг стоит у ворот города. Но даже тут - человек широкой и доброй души - секретарь обкома находит время, чтобы позаботиться о семейных делах друга и попытаться примирить его с женой.

С этим идеальным персонажем тоже происходит удивительная метаморфоза: в "Жизни и судьбе"

мы встречаем фактически не его, а какого-то другого Пряхина. И авторское восхищение сменяется негодованием.

Преданность Пряхина интересам государства остается. Однако меняется государство, которому он служит: это не великая страна рабочих и крестьян, а тоталитарный спрут. Соответственно преобразуется и облик носителя государственной власти.

Во Второй книге рисуется новая встреча друзей – Пряхина и Крымова. Но Крымов теперь в опале, как зверь, обложен со всех сторон, и с минуты на минуту его должны арестовать. Сам он ничего еще не знает, Пряхину же известно всё. И вот как он встречает старого друга: "Дважды они столкнулись лицом к лицу, и Пряхин словно не узнавал Николая Григорьевича, холодно и безразлично смотрели его глаза". И далее: "Пряхин, спустившись с возвышения /.../ пристальным, тяжелым взглядом смотрел прямо на Крымова; заметив, что Крымов глядит в его сторону, Пряхин медленно отвел глаза... «Что такое?» – подумал Крымов".

Опять звучит тема предательства! Как и Мостовской, Пряхин всецело во власти партийной игры, и для него человеческие отношения – нечто второстепенное. Но, в отличие от Михаила Сидоровича, он совершает предательство из чисто шкурных соображений: общение с опальным другом грозит его карьере.

Он и еще раз совершает предательство, отвернувшись от человека, с которым проработал много лет и в честности которого не мог сомневаться. Гроссман как бы хочет подчеркнуть, что случай с Крымовым – закономерный, что предательство для пряхиных – дело обычное.

Директора СталГРЭС Спиридонова обвинили в дезертирстве, хотя все прекрасно знали, что он



до последней минуты, пока станцию не разбомбили, не покидал своего поста и ушел лишь тогда, когда остались одни развалины. Знал это и Пряхин. Но он не стал защищать старого товарища и даже не захотел с ним проститься. Ведь Спиридонов был родственником Крымова, в ту пору уже арестованного, и Пряхину могли напомнить о его дружеских связях с врагом народа. Как видим, прежнего человеческого, душевного секретаря обкома сменил совсем другой персонаж.

### Человеческое в человеке

Семен Липкин приводит знаменательные слова Гроссмана об Андрее Платонове: "...он не стал бы писать, если б неумоимо, исступленно и безудержно, всегда и повсюду, не искал человеческого в человеке!"<sup>32</sup>. Эти слова как нельзя более точно характеризуют самого автора "Жизни и судьбы".

Тут тоже кроется коренное отличие Второй книги от Первой. Меняется общий подход к человеку, критерии его оценки. Сложнее и тоньше становится метод изображения не только отдельных персонажей, но и народа, и врагов, напавших на советскую Россию.

В романе "За правое дело" народ - безликая масса, в едином патриотическом порыве совершающая трудовые и ратные подвиги. Главный мотив - единение всех, от мала до велика. Вот, например, что происходит на СталГРЭС в дни Сталинградской битвы: "Единение людей мирного труда под завывание немецких самолетов и разрывы немецких снарядов по-новому повернуло отношения и душевные связи /.../ все, работавшие на СталГРЭС, ощущали главные связи жизни - человеческие связи - и были объединены в одну большую семью".

Казалось бы, здесь тоже идет речь о человеческом в человеке. Но оно проявляется лишь в исключительных обстоятельствах. И к тому же автор не различает отдельных лиц, все одинаковы, людей нет, есть безликая "масса". А она изображена так, как положено было ее изображать в соцреалистических произведениях. Исключение, лишь подчеркивающее общий серый фон, составляет вставленная в последнее издание сцена столкновения солдат с женщиной, продававшей воду.

Иное - в романе "Жизнь и судьба". В толпе здесь появляются живые лица, не похожие одно на другое. Прожекторы со всех сторон освещают людей, и проступают темные и светлые полутона, раскрываются противоречивые стороны народной души. Вот лишь несколько примеров.

Людмила Николаевна Штрум едет в Саратов, где в госпитале умирает ее сын. И перед ней, вместо однотонной идиллии, обнажаются контрасты, которых прежде она не замечала. На пароход, целиком предназначенный для элитарной публики, военные власти вынуждены посадить солдат. "Законные пассажиры устроили скандал, отказываясь пустить военных /.../ Нечто непередаваемо странное было в виноватых лицах красноармейцев, едущих под Сталинград и чувствующих, что они стесняли законных пассажиров".

Эти пассажиры - советская аристократия. Как же далека она от всенародной беды, как чужда солдатам! Представители "нового класса" чураются тех, кто не принадлежит к их кругу. Какая уж тут дружная семья! Автор рисует бюрократическую верхушку, противопоставляя ее народу с его "огромным и вечным, как Земля, горем".

Но и простой люд вовсе не похож на дружную семью. Гроссман обнажает "всю правду", и правда эта жестока и сурова. В Саратове "при посадке в трамвай молодые женщины с молчаливой стара-

тельностью отпихивали старых и слабых". Когда же слепой солдат попросил одну из них помочь ему, женщина его оттолкнула, и тот упал, "Слепой бил палкой по воздуху, и в этих круговых взмахах выражалась его ненависть к безжалостному зрячему миру. А люди, которых Людмила с надеждой и любовью объединила в семью труда, нужды, добра и горя, точно сговорились вести себя не по-людски..." И автор продолжает: "Что-то мучительное, темное коснулось Людмилы Николаевны и одним своим прикосновением наполнило ее холодом и тьмой тысячеверстных нищих русских просторов, ощущением беспомощности в жизненной тундре".

Заглянув в лицо женщины, толкнувшей слепого, Людмила подумала: "Откуда это нечеловеческое выражение, что породило его, — голод в 1921 году, пережитый ею в детстве? Мор 1930 года? Жизнь, полная по края нужды?" Уже сами эти вопросы свидетельствуют, что автор не обвиняет людей в жестокости, понимая: страшная жизнь в годы советской власти сделала их такими.

В романе "За правое дело" лишь отдельные отщепенцы нарушают "семейную" идиллию. Так, в традиционном духе рисуется "недобитый кулак", который ждет прихода немцев. Он ненавидит колхозы, советскую власть, партию. Правда, он вспоминает трагедию тридцатого года. Но в устах "внутреннего врага" воспоминания эти кажутся злостной клеветой, тем более потому, что "кулаку" противопоставлен благоденствовавший до войны колхозник Вавилов.

Боль автора "Жизни и судьбы" связана не только с событиями военного времени, но и с прошлыми десятилетиями, искалечившими душу народа. Однако писатель не устает искать человеческое в человеке. Так, в душе майора Ершова — сына раскулаченного, чья семья погибла в глухой

ссылке, живет "нетушимое, задорное, неистребимое презрение к насилию". Он верит, что, сражаясь с фашизмом, "он борется за свободную русскую жизнь", борется не только против нацистских, но и против советских лагерей. И защитник дома "шесть дробь один" – бесстрашный Греков говорит: "Свободы хочу, за нее и воюю".

Как и жажда свободы, неистребима "человеческая доброта". Устами Иконникова автор утверждает: "...бессмысленная, частная, случайная доброта вечна /.../ В эту пору ужаса и безумия бессмысленная, жалкая доброта /.../ не исчезла /.../ Она, эта дурья доброта, и есть человеческое в человеке /.../ Она непобедима /.../ если и теперь человеческое не убито в человеке, то злу уже не одержать победы...".

Мне кажется, Иконников – центральная фигура в романе. Не случайно он появляется на первых же страницах, а трактат его помещен в середине книги. Трактат этот и в философском плане занимает важнейшее место, это сердцевина произведения. Размышления Иконникова бросают особый свет на жизнь и судьбу каждого из героев.

Гроссман находит человеческое начало в разных людях, в своей совокупности составляющих народ. Неосознанная, непобедимая доброта наполняет душу маленького Давида, перед входом в газовую камеру выбросившего свое самое дорогое сокровище – коробочку, где хранилась куколка – будущая бабочка: пусть хоть она живет!<sup>33</sup> Бессмысленную доброту проявляет Женя Шапошникова, отказавшись от счастья с любимым человеком и обрекая себя на участь жены "врага народа" Крымова. Бессмысленную доброту проявляет доктор Левинтон, скрывшая, что она хирург (это спасло бы ее от смерти), ибо хочет разделить участь своего народа и не может оставить маленького Давида в страшный час.

Гроссман вводит в "Жизнь и судьбу" множество эпизодов, не связанных с основными сюжетными линиями. Эти миниатюрные вставные новеллы органически вплетаются в ткань романа, потому что в них звучит его сквозная тема.

Так, шофер Семенов, попавший в плен вместе с Мостовским и Левинтон, появляется во Второй книге лишь один раз. И история его спасения важна потому, что в ней воплощен апофеоз доброты. Умиравший с голода, грязный, завшивевший, он заползает в избу одинокой крестьянки. "В этот день, - говорит писатель, - не безжалостные силы могучих государств, а человек, старая Христя Чуняк решила его жизнь и судьбу".

Христя выходила умирающего, не отдавая себе отчета, зачем прячет пленного от немцев, рискуя жизнью. "...Стремление безжалостного мира уничтожить замученную скотину" побеждено "теплым, добрым миром". И даже тогда, когда случайно выясняется, что Семенов - враг Христи, что он родом из тех, кто в пору коллективизации отбирал последние крохи у украинских крестьян, умиравших с голоду (среди умерших был ее муж!), Христя не меняет своего отношения к спасенному.

В душе ее пробуждаются страшные воспоминания:

"Тихий, протяжный стон стоял над селом, живые скелетики, дети, ползали по полю, чуть скулили; мужики с налитыми водой ногами бродили по дворам, обессиленные голодной одышкой /.../ А ребята, приехавшие из города, ходили по дворам, мимо мертвых и полумертвых, открывали подполы, копали ямы в сараях /.../ искали, выколачивали кулацкое зерно. В душный летний день Василий Чуняк затих, перестал дышать. В этот час в хату зашли приехавшие из города хлопцы, и голубоглазый человек, по-кацапски "акая", совсем так же "акал" Семенов, проговорил, подойдя к умер-

шему: «Уперлось кулачье, жизни своей не жалеет»».

Читатель так и ждет, что эти воспоминания вызовут у старой крестьянки мстительное чувство, что она прогонит Семенова или даже донесет на него немцам. Но зло, носителем которого явилось тоталитарное государство, и "хлопцы", нравственно им искалеченные, не в силах убить доброту в человеческих душах. Рассказ о Христе и спасенном ею солдате завершается простыми, обыденными словами: "Христя вздохнула, перекрестилась и стала разбирать постель".

След перенесенных страданий наложил печать на всю страну. Пронзительная боль слышится в романе "Жизнь и судьба", когда на страницах его возникает обобщенный образ России.

...Штрум включил радио, и "в картонном микрофоне захрипело, завывало, засвистело. Казалось, радио передает осеннюю ночную непогоду, вставшую над передним краем войны, над сожженными деревнями, над солдатскими могилами, над Колымой и Воркутой..." Слов не много, но сколько в них безысходной тоски, вызванной не только тяготами войны.

В Первой книге война тоже воспринимается как всенародное бедствие, и там звучат трагические мотивы. Но несчастье связано лишь с вражеским нашествием. В целом же, говоря словами соцреалистов, перед нами - "оптимистическая трагедия". Иное - во Второй книге. Сердце автора и близких ему героев переполняет отчаяние, вызванное не только нашествием "фашистской силы темной", но и фашистской силой, которая поработила Россию задолго до вторжения нацистов и искалечила жизнь и душу народа.

Однако свет не угас и в "Жизни и судьбе". Лишь источник его другой: не вера в "правое дело" Сталина и его державы, а вера - в человека.

\* \* \*

Неутомимый искатель человеческого в человеке, Гроссман глубоко заглядывает в самые темные, самые порочные души и ему удается где-то на дне их, во мраке, заметить искорки человечности. У Гроссмана даже Сталин в пору, когда он терпел поражение за поражением, ощущает нечто вроде угрызений совести: "У него иногда возникало ужасное чувство: побеждали на полях сражений не только сегодняшние его враги. Ему представлялось, что следом за танками Гитлера в пыли, дыму шли все те, кого он, казалось, навек покарал, усмирил, успокоил. Они лезли из тундры, взрывали сомкнувшуюся над ними вечную мерзлоту, рвали колючую проволоку. Эшелоны, груженные воскресшими, шли из Колымы, из республики Коми. Деревенские бабы, дети выходили из земли со страшными, скорбными, изможденными лицами, шли, шли, искали его беззлыми, печальными глазами". Грандиозная картина страшного суда возникает перед тираном лишь на миг, но и это, по мнению автора, свидетельствует, что в каком-то тайном подполье даже самой окаменевшей души живет нечто человеческое.

Находит Гроссман проблески человечности и в столь же черной душе Гитлера, и проявляются они также в момент, когда фюрер узнает о поражении.

...Я уже говорила о маленьком Давиде. Он становится в романе не только воплощением ужасов, которые приносит людям фашизм, но и воплощением доброты. Еще не ожесточенное жизнью детское сердце болезненно восприимчиво к малейшему про-

явлению зла, остро реагирует на чужую боль — будь то человек или животное. В раннем детстве Давила потрясла картинка в книжке: "На лесной поляне стоял серенький козлик, рядом тьма леса казалась особенно зловещей. Среди черно-коричневых стволов, мухоморов и поганок видна была красная, оскаленная пасть и зеленые глаза волка". Давид понимал, что козленок обречен, что волк обязательно съест его, и никто помочь не может. И мальчик в ужасе просыпался ночью, плакал, звал мать. Только ее доброта и ласка могли его успокоить.

И вот Гроссман создает картину, вызывающую на первый взгляд странные ассоциации.

Узнав о поражении под Сталинградом, потрясенный Гитлер уходит один в лес. "Невыносимое томление возникло от вновь вернувшегося к нему ощущения равенства с людьми. Для того, чтобы стать создателем Новой Германии, зажечь войну и печи Освенцима, создать гестапо, человек не годился. Создатель и вождь Новой Германии должен был уйти из человечества /.../ Русские танки повернули его к людям". Именно это ужасает сверхчеловека, каким мнит себя Гитлер. И именно это разглядел в нем автор — искатель человеческого в человеке.

Гроссман лишает фюрера какого бы то ни было признака превосходства над людьми. Способный лишь вселять страх в других, теперь он сам испытывает чувство страха. "Один, без телохранителей, без привычных адъютантов, он казался себе мальчиком из сказки, вошедшим в сумрачный, заколдованный лес /.../ Вот так шел мальчик-спальчик, вот так же заблудился козленок в лесу, шел, не зная, что в темной чаще крадется к нему волк. И из гумусового сумрака прошедших десятилетий выплыл его детский страх, воспоминание о картинке из книжки, — козленок стоит



на солнечной лесной поляне, а между сырых, темных стволов красные глаза, белые зубы волка. И ему захотелось, как в детстве, вскрикнуть, позвать мать, закрыть глаза, побежать /.../ Охранники видели, что фюрер заторопился /.../ могли ли подумать они, что в минуты первых лесных сумерек вождь Германии вспомнил волка из детской сказки. Из-за деревьев светили огни в окнах штабных построек. Впервые мысль об огне лагерных печей вызвала в нем человеческий ужас”.

Все люди – люди, – словно хочет сказать писатель<sup>34</sup>. И даже между убиенным ребенком и его убийцей существует какая-то изначальная, загадочная связь. Существует связь и между враждующими вождями двух государств, уничтожающих миллионы своих граждан и грозящих всему человечеству. И связь эта – не только в их тотальной власти, но и в том, что даже в их преступных душах человек окончательно не умер.

В романе “За правое дело” фашисты – палачи, мародеры, растленные злодеи – и только. Такими рисовали их на плакатах времен войны. Исключение составляют лишь пролетарий Шмидт и интеллигент Бах: оба в душе испытывают бессильную ненависть к фашизму. Тут дело, очевидно, в их классовой принадлежности. Но Бах, как и полагается “мягкотелому интеллигенту”, в конце Первой книги меняет свое отношение к нацизму. Победное шествие гитлеровской армии, оказавшейся на берегу Волги, ослепляет Баха. И он признается гестаповцу, убийце Ленарду: “...в этот час победы я понял: эта битва идет по ту сторону добра и зла /.../ В мир пришла новая религия, жестокая, яркая, она затмила мораль милосердия...” Один лишь пролетарий Шмидт остается непоколебимым врагом фашизма, как оно и положено представителю рабочего класса.

Образ Баха становится другим в романе "Жизнь и судьба". На этот раз, однако, автор меняет человека, проведя его через коренную эволюцию, а не метод изображения человека.

Во Второй книге Бах раскрывается во взаимоотношениях с русской женщиной Зиной, которая полюбила его. В пору, когда он был упоен победой и оправдывал злодеяния фашистов, Бах пренебрежительно относился к Зине и ее любви. Когда же, вслед за мнимой победой, пришло поражение, изменилась психология "победителей". Гроссман так говорит о нравственных последствиях разгрома немцев под Сталинградом: "...имелись особые изменения, начавшиеся в головах и душах немецких людей, окованных, зачарованных бесчеловечностью нацистского государства /.../ В мучениях голода, в ночных страхах, в ощущении надвигающейся беды медленно и постепенно началось высвобождение свободы в человеке, то есть очеловечивание людей /.../ Кто из гибнущих и обреченных гибели мог понять, что это были первые часы очеловечивания жизни многих десятков миллионов немцев после десятилетия тотальной бесчеловечности!"

Бах - один из тех, кого захватил этот процесс. Поражение и ему принесло прозрение и раскаяние. Проснулось заглушенное шумом победы сознание страшной вины: "Он не убивал детей и женщин, никого не арестовывал. Но он сломал хрупкую плотину, отделявшую чистоту его души от мглы, клокотавшей вокруг. И кровь лагерей и гетто хлынула на него, подхватила, понесла, и уж не стало грани между ним и тьмой, он стал частью этой тьмы".

И тут окончательно просыпается человек. Перед лицом гибели, среди трупов и развалин в душе его с небывалой силой вспыхнуло чувство всепоглощающей любви - к той самой Зине, которую он недавно едва замечал. "Ничего не было в мире,

кроме нее /.../ Стены, воздвигнутые государствами, расовая ярость, огневой вал тяжелой артиллерии ничего не значат, бессильны перед силой любви... И он благодарен судьбе, которая накануне гибели дала ему это понимание”.

Проснулось нечто человеческое и в душах других побежденных. В романе, рисующем гибельную силу тоталитаризма, появляются в самом неожиданном месте светлые страницы.

...Сочельник. В ротном блиндаже немецкие солдаты ведут невеселые разговоры. Неожиданно Бах приводит в блиндаж командира дивизии. Тот поздравляет солдат с праздником и раздает им маленькие елочки, присланные на фронт из Германии. И ожесточенные, измученные люди, огнем и мечом пытавшиеся поработить Россию, ”...молча поняли все сразу, — не бинты, не хлеб, не тыловые шашки, а эти еловые ветки, опутанные бесполезной паутиной, бомбошки из сиротского дома нужны были им”. И командир дивизии, актерствовавший всю жизнь, командир, который по трупам вел своих солдат к победе, не зная ни милосердия, ни сомнений, вдруг превращается в обыкновенного старика, преисполненного простой человеческой жалости ”к голодным, замученным людям. Беспомощный, слабый и старый человек сидел среди беспомощных и несчастных”. Когда же солдаты запели с детства знакомую песенку о рождественской елочке, слова ее вдруг зазвучали, ”как раскаты божественных труб /.../ И со дна моря, из холодной тьмы поднимались на поверхность забытые, заброшенные чувства, высвобождались мысли, о которых давно не было воспоминаний... Они не давали ни радости, ни легкости. Но сила их была человеческой силой, то есть самой большой силой в мире...”

Думается, читатель убедился, что персонажи романов "За правое дело" и "Жизнь и судьба", как и художественная структура обоих произведений, в корне различны. Талант, сжатый тисками цензуры и автоцензуры, насилуемый редакторами и рецензентами, развернулся в полном блеске, отбросив все ограничения, кроме одного: быть верным правде.

Конец "Жизни и судьбы" - открытый. Ни одна из сюжетных линий не завершена. Но завершена центральная тема романа, и это придает ему законченность и стройность. Что касается незавершенности сюжета, - она-то и отражает вечное, изменчивое движение жизни и загадочность человеческих судеб.

Мать семейства Шапошниковых, воплощение Мудрости и Доброты, размышляет, стоя у развалин своего дома - своего старого гнезда, и размышления ее, прозвучавшие в конце романа, выражают глубинные мысли автора: "...в страшное время человек уже не кузнец своего счастья, и мировой судьбе дано право миловать и казнить, возносить к славе и погружать в нужду, и обращать в лагерную пыль, но не дано мировой судьбе, и року истории, и року государственного гнева, и славе, и бесславию битв изменить тех, кто называется людьми, и ждет ли их слава за труд или одиночество, отчаяние и нужда, лагерь и казнь, они проживут людьми и умрут людьми, а те, что погибли, сумели умереть людьми, - и в том их вечная горькая людская победа над всем величественным и нечеловеческим, что было и будет в мире, что приходит и уходит".

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Семен Липкин. Сталинград Василия Гроссмана. Энн Арбор, "Ардис", 1986, с. 71.
2. Письмо Гроссмана Хрущеву написано в 1962 году, после ареста рукописи романа "Жизнь и судьба". Текст письма приведен в цит. книге Липкина, с. 84.
3. Шимон Маркиш. Пример Василия Гроссмана. В кн.: Василий Гроссман. На еврейские темы. Избранное в двух томах. Израиль, "Библиотека Алия", 1986, т. II, с. 516.
4. Л. Лазарев. Дух свободы. В кн.: Василий Гроссман. Жизнь и судьба. Москва, "Книжная палата", 1990, с. 670.
5. Л. Аннинский. Мироздание Гроссмана. "Дружба народов", 1988, № 10, с. 253.
6. Василий Гроссман. Жизнь и судьба. Женева, L'Age d'Homme, 1980, с. III.
7. Там же, с. 818.
8. Шимон Маркиш. Цит. соч., с. 416-417.
9. Там же, с. 516.
10. Семен Липкин. Цит. соч., с. 29.
11. Елена Дрыжакова. Рукописи не горят. Гроссман ("Жизнь и судьба", "Все течет"). В кн.: Марк Альтшуллер, Елена Дрыжакова. Путь отречения. Русская литература 1953-1968. "Эрмитаж", 1985, с. 309.
12. Василий Гроссман. Жизнь и судьба. Москва, "Книжная палата", 1990. Первое полное издание романа, без купюр. В основу его положена выправленная автором рукопись, тайно переданная Гроссманом на сохранение его другу Вячеславу Ивановичу Лободе. Именно данный текст "Жизни и судьбы" признан каноническим. В дальнейшем все цитаты из романа даются по этому изданию.
13. Вениамин Каверин. Эпilog. Мемуары. Москва, "Московский рабочий", 1989, с. 50.
14. Вениамин Каверин. Цит. соч., с. 217, 219.
15. Так, например, аналогичные признания звучат в письмах и дневниках Константина Воробьева - прекрасного писателя, к сожалению, еще недостаточно оцененного. См.: Константин Воробьев. Заметки сердца. Из архива писателя. Москва, "Современник", 1989.
16. Семен Липкин. Цит. соч., с. 15.
17. Шимон Маркиш. Цит. соч., с. 359.
18. А. Бочаров. По страдному пути. В кн.: Василий Гроссман. Жизнь и судьба. Москва, "Книжная палата", 1990. В "Книжном обозрении", 1990, № 26, объявлено о выходе в свет сигнального экземпляра новой монографии А. Бочарова "Василий Гроссман. Жизнь, творчество, судьба". Москва, "Советский писатель", 1990. К сожалению, завершая работу над настоящей статьей, я еще не имела возможности познакомиться с этой монографией.
19. А. Бочаров. Цит. соч., с. 3, 11.
20. Семен Липкин. Цит. соч., с. 31.

21. Там же, с. 26-27.
22. А. Бочаров. Цит. соч., с. 4.
23. Там же, с. 4.
24. Там же, с. 6.
25. Там же, с. 7.
26. Там же, с. 9.
27. Письмо Гроссмана Хрущеву. В кн.: Семен Липкин. Цит. соч., с. 81.

28. Василий Гроссман. За правое дело. Роман. Первая книга. Москва, "Советский писатель", 1989. Это издание воспроизводит последнее прижизненное издание 1964 года ("Советский писатель"). Именно оно представляет собою канонический текст: и потому, что выражает последнюю волю автора, и потому, что готовилось не под давлением со стороны, а на основе идейно-художественных соображений самого писателя (естественно, в рамках, допустимых тогдашней цензурой). Возможно, когда текстологам станут доступны изначальные редакции романа, хранящиеся в архиве, могут возникнуть какие-то иные соображения. Но это дело будущего. В настоящей статье все цитаты романа даются по изданию 1989 года.

29. Елена Дрыжакова. Цит. соч., с. 311. Дальнейшие наблюдения в настоящей статье основаны на сопоставлении издания 1989 и 1955 гг. ("Воениздат").

30. Шимон Маркиш. Цит. соч., с. 429.

31. Василий Гроссман. Несколько печальных дней. Сборник рассказов. Москва, "Современник", 1989.

32. Семен Липкин. Цит. соч., с. 24.

33. Л. Аннинский в цит. соч. (с. 259) пишет, что Давид хранил в коробочке жука. Казалось бы, мелкая неточность. Но в подлинно художественном произведении значимо все. Давид не мог держать в неволе живого жука, ибо даже насекомое он не стал бы мучить, лишая свободы. Другое дело - куколка, которая "спит" в темноте, прежде чем превратиться в бабочку.

34. Вспомним слова Мадьярова, одного из персонажей "Жизни и судьбы", явно созвучные мыслям автора: "...все мы прежде всего люди, понимаете вы, люди, люди, люди...".

#### Примечание автора:

В журнале "Грани", № 157, на стр. 175 допущена опечатка. Напечатано: "...поэт т а к говорил о романе не просто запрещенном, но арестованном ГБ, преданном забвению, о книге, которую готовил к печати".

Надо: "...поэт т а к говорил о романе не просто запрещенном, но арестованном ГБ, преданном забвению, в книге, которую готовил к печати".

Редакция "Граней" приносит М. А. Шнеерсон свои извинения.

## Ирина Сабурова

”В этом странном королевстве никогда не гасло солнце, никогда не меркли звезды, никогда не лилась кровь: там жила в последней башне золотая чудо-птица, птица с крыльями, как пламя, с странным именем - Любовь...”.

А мы жили тогда в ином королевстве, где так недавно обильно лились и слезы и кровь. И тогда же, впервые, мы прочитали волшебные, странные строчки неизвестного автора - Ирины Сабуровой. Было это в лагерях для ”перемещенных лиц” в побежденной Германии. Вокруг - развалины рухнувших городов, елагинские упавшие на колени мосты, ужас только что пережитых событий - и вдруг эти, какие-то будто бы из совершенно иного мира, завораживающие звуки со словами, явно не из нашей действительности. Алые башни, золотые чудо-птицы, - сказки - рассказы для нас, далеко ушедших от сказок. Помню, как тогда тоненькая книжечка Ирины Сабуровой была для многих настоящим праздником и уходом от все еще мрачной действительности с неизвестным будущим. Было это в 1947 году.

---

\* Фрагменты из готовящейся книги о поэтах Русского Зарубежья.

Почти 30 лет спустя в начале 70-х годов Ирина Сабурова читает в Филадельфии отрывки из ее книг и спокойно, даже с юмором рассказывает о своей "бродячей" жизни - полной трагедий и лишений и вместе с тем полной упорной творческой деятельности. Тогда я впервые увидела нашу единственную сочинительницу романтических "рассказов-сказок" (верная последовательница А. Ремизова Н. Кодрянская не в счет, она писала в совершенно другой манере).

На вид И. Сабуровой можно было дать около 60 лет - на самом же деле ей было 66 - возраст немалый для человека, пережившего две мировых войны, потерявшего всю свою семью и множество близких друзей. Запомнилось, что была она небольшого роста, смугла, на продолговатом лице молодо светились внимательные темные глаза, голос был низкого тембра с хрипотцой от курения. Одета она была просто, но необычными были собственного изделия украшения из полудрагоценных камней. Помню, как поразила меня ее необыкновенность, если можно так выразиться. Очень внимательно она смотрела на собеседника, будто ожидая, что он скажет нечто для нее значительное, нечто чрезвычайно важное. Заметна была некоторая властность, категоричность в суждениях и вместе с тем очень женственная мягкость, - некая возвышенная отвлеченность, "надбытность" и очень земная практичность, присущая человеку, привыкшему выживать и помогать выжить другим. Эти качества подтвердились позже в нашей с ней долголетней переписке.

Писательница очень рано - еще почти в отрочестве - начала печататься и весьма гордилась тем, что могла смолоду зарабатывать пером. "...Это всё очень хорошие и красивые слова о жертвенности, подвиге и прочем, - но спрашивается, почему именно писатели и поэты должны жертвовать с



трудом заработанные совсем другой работой деньги, чтобы издавать самим свои книги, или в лучшем случае, что бывает в наши дни невероятно редко, найти мецената-издателя, и фактически продать ему свое произведение за гроши, поскольку обычно, если и дается какой-нибудь "гонорар", то это небольшой задаток, а потом... а потом - ничего, - писала мне Сабурова в 1974 году. - Почему никому в голову не приходит ожидать такой жертвенности от водопроводчика или еще кого-нибудь, - от всех других? Даже если стать на точку зрения, что писатель - нечто вроде скомороха, служащего для развлечения, то спрашивается, кто из работающих в области развлечения - а их миллион - выступает без гонорара?"

Переписка завязалась между нами сразу же после ее поездки в Соединенные Штаты. А тогда, в нашу, к сожалению, единственную встречу, помню - голос Сабуровой плыл вместе со струйками папиросного дыма, и она неторопливо рассказывала о неуютных барачных днях, пронизанных ветром и страхом за будущее. Рассказывала о "Гореиздате", своей дряхлой пишущей машинке, мечтавшей только о покое. Но на ней писательница всё же кое-как выстукивала рождественские сказки волшебного Королевства, продавая затем сшитые листочки за пачку папирос. А в 1947 году, вооружась разрешением американского оккупационного правительства, она издала настоящую небольшую книжечку под названием "Королевство алых башен". Тираж ее мне неизвестен, но сомневаюсь, что он превышал 200-300 экземпляров. Книжка мгновенно разошлась. Сейчас я одна из очень немногих обладателей этого раритета.

На обложке книги изображен замок в готическом стиле, у подножия его черная пепельница с дымящейся папиросой, дымок от которой вьется

вокруг замка, вверху заканчиваясь росчерком имени и фамилии автора. Внизу красивыми красно-розовыми буквами на черном фоне название книги. Обложка, вероятно, работы самой Сабуровой – она неплохо рисовала. Издательство не указано – тогда еще не было в моде выдумывать фиктивные издательства, публикующие книги единого автора, являющегося одновременно и "издательством".

В предисловии к последней, тринадцатой своей книге "Королевство", вышедшей в 1976 году, Ирина Сабурова пишет: "Коммерческими издательствами за рубежом книги выпускаются большей частью только в том случае, если они – политическая сенсация. Меценаты же, то есть люди, жертвующие свои деньги на заведомо бесприбыльное и вряд ли могущее окупить себя предприятие, – очень редки, и мне таких встречать не приходилось... Но писать "в стол" тоже невозможно. Поэтому вот эта еще, по всей вероятности, последняя книга, чтобы подвести итог". В этих, до некоторой степени справедливых, словах улавливается чувство разочарования или даже горечи. Писательница всю жизнь интенсивно работала, много написала, имела и круг своих читателей, и всё же понастоящему ее не признали и, увы, слишком быстро забыли после смерти.

Ирина Евгеньевна Сабурова родилась в 1907 году, жила в основном в Риге. Затем обосновалась в Мюнхене, где умерла в 1979 году. Будущая писательница закончила две гимназии – русскую и немецкую, училась в рижском Французском институте, хорошо знала несколько европейских языков, включая английский и французский, любила рисовать, вышивать и была страстным садоводом. Ее миниатюрный домик в предместье Мюнхена утопал в цветах и много места в переписке со мной она уделяла описанию своих садовод-

ческих работ. Была она нетерпима к лени и не любила жалоб на житейские трудности. "Эпидемия вопля – мне знакома, увы, – писала мне Сабурова. – Откровенно говоря, при всей моей любви к людям это ничего, кроме презрительной усмешки, не вызывает. Да, работа, – в особенности неинтересная (хотя при желании, если не совсем конвейер, можно вложить интерес в любую работу) – вещь, в общем, скучная. Одно уж то, что надо вставать рано, в любую погоду, настроение и прочее, тащиться, возвращаться усталой... Прекрасно знаю – проработала, так или иначе, почти пятьдесят лет! Но поскольку мы живем в мире, где всё материальное покупается за деньги, а наши родители миллионов нам не оставили, то необходимость зарабатывать самим дает нам единственную возможность и жить по-человечески, и хотя бы крохотную независимость, а, следовательно, и внутреннюю свободу, которая переходит во внешнюю".

Личная жизнь писательницы сложилась неудачно. Первым ее мужем был поэт Александр Перфильев, георгиевский кавалер, участник двух войн – Первой мировой и нашей Гражданской. В эмиграции Перфильев был известен как поэт-композитор, автор популярных романсов, писал он также фельетоны и занимался публицистикой. Имел он слишком большой успех у женщин, и брак с Сабуровой вскоре был расторгнут. Но до конца сохранились у них хорошие человеческие отношения – Сабурова издала посмертный сборник стихов своего первого мужа. В 1973 году она с грустью писала мне о его смерти: "Александр Перфильев был последним человеком в моей жизни, который знал меня 48 лет... Это много значит..."

Вторым ее мужем был барон фон Розенберг, умерший в пятидесятых годах. И в этом ее браке "главой семьи", т. е. кормильцем, была она. Единственного сына потеряла писательница в резуль-

тате неудачно сделанной операции аппендицита. Однако, несмотря на все жизненные невзгоды, а может быть, и благодаря им, была в этой женщине необыкновенная твердость, уверенность в себе, вера в свое призвание и вместе с тем – большая тяга к уюту, дому и к Празднику в нем. Именно поэтому так любила она Рождество, европейский уют этого зимнего праздника с запахом хвои и медовых пряников. И нечто свойственное ей самой и ее творчеству: ожидание нежданного гостя – загадочного и желанного. Ожидание чего-то "чудесного" есть во многих ее рассказах: "Снег понесся снова, закружил, запорошил даль, закутал в туман" – ожидание чего-то, волнующего "вдруг", чудесного. А чудеса – даже по самой сухой и трезвой статистике происходят безусловно каждый день. Сколько таких дней выпадает на вашу или мою долю в жизни – это другой вопрос, но ведь может же и с нами случиться чудо тоже? "Все-таки, поверьте, – всегда ждешь чего-то, и надо ждать именно этого восхитительного «вдруг»...", – писала Сабурова в рассказе "Мистер Эль Смит".

Ирина Сабурова – явление редкое в русской литературе, богатой крупнейшими писателями-реалистами с социальным и психологическим уклоном. В русской зарубежной литературе – ее почти можно считать единственной. Здесь жанр опозитивированного сказочного повествования не нашел своего выразителя. Конечно же, Сабурова не писала лишь в одной манере, – были у нее книги совершенно в ином жанре, но в основном по настроению она была близка произведениям Грина, Андерсена, Уайльда и Лагерлёф.

Сказочные рассказы писательницы, в общем, не для детей, отчасти потому, что сказка нередко только вкрапливается в рассказ, иногда дается лишь небольшими вставками и часто рассказы

имеют грустный конец. ("Сказка отнюдь не должна иметь «хэппи энд», — говорила писательница.) Иногда "вставка" была рифмованной, являлась некой прозой в стихах, придающей особый поэтический ритм повествованию, вынося его за рамки обыкновенной прозы. Хотя за всю свою долголетнюю литературную жизнь Сабурова издала всего один поэтический сборник ("Разговор молча", 1956 г.), поэзия щедро рассыпана по страницам ее "рассказов-сказок". Она безусловно обладала поэтическим даром.

Как и многим лирическим поэтам, Сабуровой особенно удавалось выразить осеннее, грустное настроение природы: "...цветы осенью пахли нежным и щемящим запахом одиночества... Осень только подняла руку, чтобы постучаться у порога — и остановилась... Поднялся ветер, сад зашумел холодом. Косой свет из окна дома падал на дорожку, на серые стволы кленов и скользнувшую между ними тень. Потом свет потух, остался только ветер".

Сабурова любила природу и описывала ее — настоящую или воображаемую.

Вот пейзаж, который она могла видеть: "Дюны, низкое небо, рассыпанные сосны, гулкое зеленое море, ломанный лед. Лодки, сети, ветер".

А это воображенная киргизская степь: "Так и видишь перед собой: темно-синее небо, какого у нас не бывает никогда, торжественные звезды, оранжевый костер, темная, как небо, степь. Медные лица, прижатые ноздри, пестрые ватные халаты, пляшущие тени за спинами враскачку. И этот, будто вздыхающий, протяжный и мудрый напев: «Ши намэ»...". Или вот это ассоциативное видение: "Церковный дом стоял против старого, широкого дома крестьянина Штирмайера, — у него была низко надвинута, как чепчик монахини, черепичная крыша, придавленная камнями от ветра".

(Хороша ассоциация крыши церковного дома с чепчиком монахини.)

Последняя книга Ирины Сабуровой "Королевство" (Мюнхен, 1976, 396 стр.) составлена из произведений, написанных в течение почти полувека, но связывает книгу одно настроение - романтическая, щемящая тоска по несбывшемуся, оставшемуся, быть может, только в мечте. Такое настроение у Сабуровой нередко является как бы частью содержания, иногда едва ли не главной частью повествования. И умеет она завораживать музыкой слова, колдовским своим шепотком выводить вот такую мелодию: "Это начинается совсем тихо, потом звенит, ширится, растет, рассыпается победными звонами - и тогда кажется, что вот тут оно, это счастье, уже в руках, - но нет его больше, и опять тихо, мечтой звенит уходящая песня...".

Когда откладываешь книгу, остается грусть по чему-то ушедшему - красивому и неповторимому. В нынешней суматошной жизни у Ирины Сабуровой был редкий дар: она любила и умела мечтать. Но о чем же? Мечты бывают разные: "Одни мечтают о телевизоре, другие, вот именно, о другом". Есть люди, которым вообще не свойственны никакие мечты, никакие высокие порывы души: "А как низко спускалось серое небо в стране, где все жители разводили свиней и сами были такими же упитанными и розовыми, с зажиревшим сердцем, глухие ко всему, кроме еды". Резким отрывом от низкого серого неба - настойчивый зов в даль, где волны и ветер, куда уплывают невозвращающиеся корабли, или в высокую синь небес, где "треугольники журавлей, прорезающие небо, увлекающие за собой неутолимую тоску глаз". Есть этот зов у А. Грина, в его мире кораблей и парусов, волн и ветра.

Совершенно особое внимание уделяет Сабурова

снегу. Он – ее дань Северу, самый любимый, я бы сказала, декоративный элемент ее творчества. Во многих сабуровских рассказах снег почти перестает быть фоном, он становится действующим лицом, – он искрится, он идет, он метет... Он является ключевым образом во всех ее зимних "рассказах-сказках", в которых, наряду с королями, принцами и принцессами, вставлены настоящие персонажи – настоящие люди с различными характерами и судьбами.

"Тихая ночь" – пожалуй, самый проникновенный рассказ писательницы на рождественскую тему. Сказочной канвы в нем нет. Есть неповторимое настроение тихой звездной ночи, которая "как замерзшая птица в глубоком снегу лежит...", ночь, в которой сложилась "песнь громадной, светлой, радостной тишины". Музыка "Тихой ночи" была написана школьным учителем, обойденным в жизни решительно всем, кроме вдохновения. Автору удалось приобщить читателя к большому творческому порыву, осенившему бедного, в жизни ни в чем не преуспевшего человека.

Отношение к неодушевленным предметам у Сабуровой такое же, как у Р. М. Рильке. Так же, как и он, она любит те вещи, которые умело и с любовью сделаны человеческой рукой; они как бы приобретают душу, делаются частью нас самих. "Пусть только ковш, ковер какой-нибудь, – но обдумываешь его, вкладываешь свою мысль, любовь к цвету, орнаменту, старине... и получается вещь", которую затем писательница spryskivaet живой водой своего воображения. Так оживает у нее старый английский глиняный кувшин, превращаясь в добродушно мудрого мистера Эль Смита. Он наделяется не только характерной внешностью, но Сабурова последовательно вырисовывает очень типичные черты английского характера. Повесть "Мистер Эль Смит" состоит из семи глав, – семи вечерних

бесед с английским "джентльменом" мистером Смитом. В этом диалоге писательницы с глиняным кувшином есть много авторских мыслей и особенно, сабуровского мироощущения.

Этим оригинальным, последним в ее жизни произведением Ирина Сабурова подвела итог своей творческой жизни. Есть там вот эти строчки: "Да, признаюсь, мне, конечно, льстило, было даже немножко стыдно от похвал, была всем благодарна до слез (речь идет о турне писательницы. - В. С.), - а вместе с тем отмечала уже по ледяному, краешком глаза, с любезной, понимающей и ничего не требующей улыбкой, что те, на кого мне полагается смотреть снизу вверх (и я смотрю так часто) - все без исключения не протянули мне даже пальца. В лучшем случае - снисходительный кивок, если уж нельзя было из вежливости иначе. Я для них просто не существую, такое «сбоку-около-кое» существо, которое нельзя же, помилуйте, принимать всерьез. Не то чтобы нашли слишком легкой - просто не дали себе труда взвесить. Случайность? О, нет. Десятки лет случайностей не бывает. Но эти две линии как наметились сразу, так и оставались неизменными. А при всей самокритике все-таки должна сказать, что после первых незрелых шагов я сделала несколько и вперед, с годами создав что-то действительно свое. Нет, я не озлоблена и не так глупа, чтобы считать, что меня решили все преследовать и замалчивать из-за каких-то коварных соображений. Сперва я надеялась, ждала, старалась, и было больно от пренебрежения. Впрочем, больно и до сих пор. Только раньше, если я могла возмущаться, стараться пробить эту стену, доказать кому-то и прежде всего самой себе, что мне удалось все-таки подняться еще на одну ступень, то теперь - я спокойно складываю оружие..."



Что это - трагедия писателя в эмиграции? Отсутствие большого таланта? Непопулярность жанра? Нет, не это. Или, во всяком случае, не только это. Есть судьба у людей, есть она и у книг. Творческая (да и человеческая тоже) судьбы писательницы, действительно, пытавшейся создать что-то "свое", счастливой не была. "Сказка, - писала она, - сублимация жизни, воплощение тоски и мечты...". Но это сказка. А в жизни мечта Ирины Сабуровой найти прочное место в русской зарубежной литературе - не воплотилась.

## Тихая муза

*(О поэтессе Лидии Алексеевой)*

*...И брошу в мир, как на последний суд,  
В бутылке запечатанное слово -  
И, может быть, у берега родного  
Она пристанет и ее найдут.*

*Л. Алексеева*

Недавно русское литературное Зарубежье понесло еще одну потерю: умерла Лидия Алексеева.

С Лидией Алексеевной я познакомилась много лет тому назад в Нью-Йорке в ту пору, когда многие из ныне очень пожилых писателей и поэтов (иных и нет уже в живых) были полны жизненной и творческой энергии. В т. н. "русском Нью-Йорке" часто устраивались авторские вечера, лекции, чтения, приезжали "заморские гости" - русские парижане с громкими именами: Георгий Адамович, Ирина Одоевцева и другие.

Лидия Алексеевна всегда присутствовала на таких вечерах, нередко сама принимала в них участие, хотя выступать перед публикой не любила: неизменно кто-нибудь просил ее читать громче. "Не могу - такой у меня голос", - тихо отвечала она.

Голос у нее, действительно, был тихим, читала она монотонно, без всякой попытки драматизации; прекрасные свои стихи "доносить" до слушателей не умела. Во всем ее облике была какая-то неяркость, старомодность - это касалось не только одежды и прически, но и манеры держаться и манеры говорить. Мне всегда казалось, что идет она куда-то мимо, многого не замечая. Безмолвно присутствовала она на литературных, иногда довольно оживленных собраниях. В гостях тоже сидела молча, - сосредоточенная, спокойная и одинокая. (Ко времени нашего знакомства одинокой она уже была.)

\* \* \*

Лидия Алексеевна Иванникова, урожденная Девель (Алексеева - псевдоним), эмигрировала в Америку из Германии в 1949 году, приехав сюда с матерью и отчимом - оба здесь вскоре умерли. В Югославии, куда попала в раннем детстве с родителями после революции, она прожила 22 года, окончив там русскую гимназию и философский факультет Белградского университета. За свою долгую жизнь (умерла поэтесса в восьмидесятилетнем возрасте) она выпустила пять небольших по объему книжечек стихов. Первый сборник "Лесное солнце" вышел в 1954 году в издательстве "Посев", последний "Стихи. Избранное" - в 1980.

Я не знала никого из русских писателей в Америке, кто жил бы до такой степени вне быта, как Лидия Алексеева. Она его просто игнорировала,

и он платил ей тем же. Жила поэтесса в негритянско-пуэрториканском районе города, где ютилась нью-йоркская беднота. Невероятно запущенная ее квартирка помещалась на первом этаже некогда презентабельного дома и была легкой добычей для грабителей-мальчишек, не упускавших случая в отсутствие хозяйки пробираться в квартиру. Тянули они всё, что можно было продать хотя бы за бесценок. В полной сохранности оставались только книги и бумаги – вещь совершенно бесполезная для их воровского рынка – будь даже эти книги и бумаги на понятном языке. Дважды стащили они и русскую пишущую машинку – третью Лидия Алексеевна не приобрела, махнула рукой – все равно унесут. (Стихи присылала аккуратно написанные от руки.) Уходя из дома, она оставляла несколько долларов с запиской, что наличных денег в квартире больше нет – пусть довольствуются тем, что есть. Говаривали, что она не умеет сварить даже яйцо, и это не было полностью гиперболой.

Такой образ жизни отнюдь не являлся результатом бедности. Правда, по приезде в Нью-Йорк Лидия Алексеевна работала на перчаточной фабрике, но затем ее друзья Алексис и Татьяна Раннит (А. Раннит – известный эстонский поэт) устроили Алексею на работу в славянский отдел Нью-Йоркской публичной библиотеки, где она благополучно прослужила до выхода на пенсию.

Лидия Алексеевна дружила с поэтессой Ольгой Анстей, ценившей поэзию Алексеевой. Ольга Николаевна (первая жена поэта Ивана Елагина) не только сама писала хорошие стихи, но умела вдохновлять других поэтов – например, таких различных по манере выражения поэтов, как Елагин и Алексеева. Обе поэтессы часто встречались, читали друг другу стихи, обсуждали творческие замыслы.

Помню нью-йоркский авторский вечер Алексеевой, устроенный Ольгой Николаевной. Зная, как трудно Алексеевой выступать перед публикой, Анстей сама читала многие стихи своей подруги, декламировала их с характерными для нее интонационными манеризмами, уверенно и четко, всячески стараясь способствовать успеху вечера.

Почти 20 лет Ольга Анстей боролась с тяжелой болезнью – раком. В последние годы ее жизни Лидия Алексеевна регулярно навещала больную. В одно из таких посещений она, переступив порог дома, где жила Анстей, упала и сломала бедро. В общем, для Алексеевой это было началом конца. Несмотря на операцию и все усилия врачей, Лидия Алексеевна по-настоящему не поправилась. Стихи перестала писать вскоре после смерти Анстей в 1985 году. Воля не только к творчеству, но и к жизни у нее постепенно угасала, и наконец 27 октября 1989 года Лидия Алексеева тихо скончалась в нью-йоркской больнице, категорически отказавшись от дальнейших медицинских усилий продлить ей жизнь.

Когда после похорон друзья поехали к ней на квартиру – торопливый управдом уже очистил ее для новых жильцов. Весь архив и все книги он выбросил в мусор.

Сейчас стихи Лидии Алексеевой достать очень трудно. Те, у кого есть ее скромно изданные книжечки, расставаться с ними не хотят. Я бережно храню пять ее сборников – три из них с дарственными надписями, выведенными аккуратно, легко читаемым, несколько детским почерком.

\* \* \*

О творчестве Лидии Алексеевой и о ней самой я давно хотела написать. После выхода из печати последнего алексеевского сборника я специально

поехала в Нью-Йорк, чтобы встретиться с ней, поговорить о ее поэзии. Помню, мы долго сидели в кафе и она неторопливо рассказывала о себе, о своих взглядах на поэзию, называя их несовременными, ныне непопулярными. Меня она причисляла к "модернистам", хотя благосклонно относилась к моим стихам, быть может, отчасти и потому, что симпатизировала лично мне, сочувствовала моей работе над ежегодником "Встречи". Но некоторых поэтов, печатающихся во "Встречах", не признавала. Однако стихи для публикации присылала. Для этого ей приходилось рыться в своих архивных "дебрях", раскапывая что-нибудь "печатное", т. к. последние годы жизни почти ничего не писала.

В ту нашу нью-йоркскую встречу я впервые узнала, что Алексева дальняя родственница Ахматовой (мать урожд. Горенко). На мой удивленный вопрос — почему она никогда об этом не упоминала — ответила довольно гордо: "Зачем же мне быть в тени громкого имени". Говорила также, что никогда не могла "делать" стихи, заставлять себя писать, когда не было настроения, и не умела "вызывать вдохновение", чему, по ее словам, научились "воскресные поэты", пишущие по выходным дням. "Заставить себя рифмовать можно, но ведь это не будут подлинные стихи", — говорила она. Вскоре после нашей встречи в "Новом русском слове" появился прекрасный очерк Бориса Филиппова о Лидии Алексеевой, и я, к сожалению, не сдержала свое обещание, не написала о ней, решив, что мало могу добавить к очерку Филиппова. Сейчас об этом жалею.

\* \* \*

Литературная судьба Лидии Алексеевой сложилась счастливо. Я нередко говорила ей об этом, и

она охотно соглашалась со мной. Стихи ее любили все – от взыскательных критиков до простых (конечно, не в буквальном смысле) читателей. Явление это редкое, ибо "собратья по перу" не только хвалили друг друга, но часто публично и "подкалывали". Например, критиковали легко ранимого Елагина, упрекали Чиннова, придирались к Берберовой, воевали друг с другом Г. Иванов и Ходасевич, и т. д. Иногда критики – что греха таить – были далеко не беспристрастны. Недаром Елагин писал:

...Критик в тебя влюблен,  
Критик кричит "ура!",  
Если с тобою он  
Из одного двора.  
Если же ты чужой –  
Влепит тебе вожжой!

Эти "писательские страсти" не коснулись Алексеевой. Поэзию ее хвалили в печати, читатели писали ей восторженные письма, поэты различных поколений относились к ней с большим уважением. Она участвовала в трех самых главных зарубежных поэтических антологиях: "На Западе", 1953; "Муза диаспоры", 1960; "Содружество", 1966 и печаталась во всех серьезных зарубежных журналах.

Чем же объяснить такое всеобщее прижизненное признание именно этого поэта? Разве в то же самое время не писали здесь другие поэты – драматичнее, своеобразнее, ярче, современнее (рискованное слово – что означает оно в поэзии?), разве не писали с большим техническим блеском, с более широким диапазоном тем и поэтических приемов? Да, писали. Но, пожалуй, никто из них не обладал той предельной творческой подлинностью, той неподдельной честностью творческого

выражения, какой обладала Лидия Алексеева. Она была неизменно честна в выражениях своих чувств на бумаге. И не было у нее поэтической позы ни в жизни, ни в поэзии.

Говоря о творчестве Алексеевой, нельзя, однако, не заметить, что глубокая трагедия ее и в искусстве и в быту заключалась в том, что по складу своего характера ей было невероятно тяжело сделаться жителем большого города. Она, тихий лирический певец природы, любившая каждую букашку в траве, и лесные поляны, и рощи, и полевые цветы, писавшая немногословные, короткие стихи (длинных не писала), волею судьбы должна была жить в одном из самых больших и шумных городов мира, пульсирующем дню и ночи, своими камнями уничтожавшего любимую ею природу. Конечно, можно было куда-нибудь уехать из города. Но получить работу женщине не первой молодости, без ходкой профессии и без очень хорошего знания английского языка – довольно трудно даже для "пробивного" человека, коим Алексеева никогда не была. Затем русский литературный Нью-Йорк, неотъемлемой частью которого была и она сама, не принявшая приютившего ее города-гиганта.

Негативные эмоции не питали этого поэта, как иногда подвигают они к творчеству поэтов с иным эмоциональным настроем, например, поэтов, бичующих зло и гневно взывающих к справедливости. Алексеева вообще избегала всякого нажима на педали. И о Нью-Йорке не написала ничего. Есть у нее стихотворение с перечнем мест, по которым проходил ее земной путь: Крым, где провела она раннее детство, Стамбул – недолгая остановка перед Белградом, Тироль и, наконец, Нью-Йорк. О каждой из этих "пристаней" сказано несколько теплых строк, но после упоминания Нью-Йорка стоит многоточие. Сказать о городе, где прожила она 40 лет! – ей, с ее особенной настро-

енностью души, было нечего. Правда, поэтесса написала прекрасное стихотворение о нью-йоркском памятнике Данте – приведу его полностью:

Черный Данте в облетевшем скверике  
Замышляет бронзовый сонет.  
Поздний вечер наступил в Америке,  
А в его Италии рассвет.

Ветер над равниною этрусской  
Розовые гонит облака,  
И проходит улочкою узкою  
Тень твоя, блаженна и легка,

Беатриче, нет тебя желаннее...  
Семь веков – как семь весенних дней!  
И опять – любовь, стихи, изгнание,  
Мокрый сквер и быстрый бег огней.

Но это стихотворение, конечно же, не о Нью-Йорке. Из всего небоскрежного города поэтесса выбрала "прямоугольную бездну" дома, в котором жила сама, – не всё ли равно как?

...Над двором, прямоугольной бездной,  
Тусклый дом безрадостно возник,  
Перечеркнут лестницей железной,  
Словно неудачный черновик...

Из такого, перечеркнутого железной лестницей, дома поэтесса уезжала летом в отпуск – обязательно куда-нибудь на лоно природы и оттуда привозила стихи о деревьях, о лесной живности, о грибах, о солнце, о "моем Тироле", когда ездила туда к своей знакомой, жившей там с больной дочерью. Или накапливала впечатления, впитывала хвойный запах леса, лучи солнца, аромат зеленой или золотой травы. Все это претво-



рялось в щемяще-радостное воспоминание, рождавшее медитативно-созерцательную лирику с тихо звучащей элегической нотой. Тогда можно было писать какое-то время и в Нью-Йорке. Но только не о нем. Севастополь – дело другое.

Мне только память о тебе – наследство,  
Мой дальний город, белый в синеве,  
Где и сейчас трещит кузнечик детства  
В твоей до камня выжженной траве...

В Севастополе была не убитая городскими камнями природа, с которой этот поэт чувствует кровное родство. Только она, природа, нередко тоже одинокая и тоже страдающая, может утолить боль обиды и боль одиночества.

От горя удаляясь, отдыхая –  
Вдруг изумиться: всё еще жива?  
Под инеем легла полусухая,  
Но крепкая октябрьская трава.

А утром солнце иней растопило,  
Его роса по-летнему светла –  
Трава живет. Ей тоже больно было,  
Но боль прошла. Почти совсем прошла.

Природа прекрасна расцветающая и прекрасна она увядающая, озаренная прощальным осенним солнцем:

В садах, где прохладные астры цветут,  
Где яркий отдельный листок подбираем,  
Опавшие листья сгребают и жгут,  
И пахнет дымок их разлукой и раем.

Последние солнцем прогретые дни,  
Последняя в книге зеленой страница...

Но чем-то прощальная горечь пьянит  
И радостью тайной по жилам струится.

Но мир природы хрупок и незащищен от человека, не щадящего дары ее, бездумно и бесцельно уничтожающего: если растет цветок – сорви его...

...Я тройчатку желудей нашла,  
Гладких, плотных, буровато-ржавых,  
Тесно севших в чашечках шершавых –  
И домой в кармане привезла.

Пальцы их бездумно извлекали,  
Бросили – случайная причуда –  
Трех дубов несбывшееся чудо,  
Отнятое мною у земли.

В мировосприятии Алексеевой было много от концепций Альберта Швейцера, от его "благоговения" перед любой формой жизни. С редкой для нее страстностью она пишет:

В наш стройный мир, в его чудесный лад,  
Мы принесли разбой, пожар и яд.

И ширится земных пожарищ дым,  
Обуглен сук, где всё еще сидим.

Пока дышу, пока еще жива –  
Прости мне, лес, прости меня, трава!

Хочу упасть на эту землю ниц,  
Просить прощенья у зверей и птиц...

Последней жизни обрывая нить,  
Прости нам, Боже, – хоть нельзя простить.

“Просить прощенья у зверей и птиц” – для этого художника не пустая фраза и даже не искреннее, но случайное поэтическое настроение, быстро проходящее со сменой впечатлений и мыслей. Алексеева по-настоящему любила зверей – домашних и диких. О них умела писать светло и просто, ощущая себя частью земной флоры и фауны:

...Под высоким солнцем медленно иду,  
Ощущая радость остро, как беду –  
И родство с косулей, крокусом и тлей –  
Кровное со зверем, травное с землей.

Очень характерно для Алексеевой стихотворение из первого ее сборника “Лесное солнце” – им начинается сборник и с него же начала поэтесса последнюю свою книжку стихов.

Я привыкла трястись в дороге,  
И не будят тоски во мне  
Спящий кот на чужом пороге  
И герань на чужом окне, –

Но молюсь, как о малом чуде,  
Богу милости и тепла,  
Чтоб кота не испугнули люди  
И чтоб жарче герань цвела.

Из домашних животных Алексеева особенно любила котов, постоянно кормила этих бездомных четвероногих нью-йоркцев, находивших к ней дорогу. В одном, будто бы простом, но на самом деле сложном и глубоком по смыслу стихотворении поэтесса сумела скрыто сопоставить зверя и человека, думается не в пользу последнего. Она показала верность зверя своему – пусть разрушенному, пусть даже непригодному для жилья, но все же родному дому.

Старый кот с отрубленным хвостом,  
С рваным ухом, сажей перемазан,  
Возвратился в свой разбитый дом,  
Посветил во мрак зеленым глазом.

И, спустясь в продавленный подвал,  
Из которого ушли и мыши,  
Он сидел и недоумевал,  
И на зов прохожего не вышел.

Захрустело битое стекло,  
Человек ушел и тихо стало.  
Кот следил внимательно и зло,  
А потом зажмурился устало.

И спиной к сырому сквозняку  
Он свернулся, вольный и надменный,  
Доживать звериную тоску,  
Ждать конца – и не принять измены.

В этих строчках – конечно же, незримо присутствует человек, бегущий от родного пепелища, находящий приют в новых местах, в новых домах.

\* \* \*

Россию Лидия Алексеева помнить хорошо не могла, попав за рубеж в девятилетнем возрасте. Но тема родной земли у нее все же есть и она так же подлинна, как и всё ее творчество. Конечно, Алексеева не предавалась шаблонным вздохам по белым березкам. Ее строки и здесь предельно искренни и написаны с чувством огромной невосполнимой потери. Приведу одно из таких стихотворений, с очень характерной прописной буквой в обращении к России:

От родников Твоих ни капли нет во мне,  
Питают кровь мою давно другие страны, -  
И Ты - лишь быстрый вздох в передрагассветном  
сне,  
Лишь тонкий белый шрам переболевшей раны.

Но, может быть, не так? И это Ты зовешь  
И под ноги бежишь, как вечная дорога,  
И мне перешагнуть ревниво не даешь  
Чужого равнодушного порога?..

Пожалуй, нет ни одного серьезного поэта, не писавшего о нашем неизбежном конце - о смерти. Алексеева не кокетничала с этой темой, не драматизировала ее, как встречается это иногда у молодых поэтов, вздыхающих о близком конце и затем здравствующих еще добрых лет 50. Нет, и здесь Алексеева верна себе, своему удивительно гармоничному, какому-то, я бы сказала, целомудренному чувству меры. Она спокойно приняла общий наш человеческий жребий, стараясь по своему осмыслить его. Сборник "Время разлук" (1971) она закончила четверостишием, много лет назад поразившим меня глубоким философским смыслом. Оно явилось результатом ее размышлений о возможной жизни вне физического "я", жизни, обещанной нам религией.

Не спрашивай, что будет там, потом,  
Когда настанет миг прощанья и свободы, -  
Ведь если что-то есть - какое чудо в том!  
А если ничего... Какой великий отдых!

Но покуда длилась земная жизнь поэтессы - она любила ее просто и верно, в лучших своих стихах выпевая благодарность за всё живое вокруг и ощущая ответственность за всё живущее. В последнем стихотворении в последней книжке сти-

хов (она знала, что больше уже ничего не из-  
даст) Лидия Алексеева поблагодарила жизнь, щедро  
одарившую ее тихим, но предельно чистым поэти-  
ческим голосом:

Спасибо, жизнь, за то, что ты была,  
За все сиянья, сумраки и зори,  
За мшистый бок тяжелого ствола,  
И легкий парус в лиловатом море,

За всё богатство дружбы и любви  
И тонкий холод одиноких бдений,  
И за брожение светлое в крови  
Готовых зазвучать стихотворений, -

Со всем прощаясь - и не помня зла, -  
Спасибо, жизнь, за то, что ты была!



Михаил ГОРБАНЕВСКИЙ

## **Трагедия гения при тоталитаризме**

Незадолго до 30 октября, дня политзаключенного в СССР, я вернулся из командировки в Ташкент, где проходила все-союзная научно-практическая конференция, посвященная 100-летию со дня рождения профессора Евгения Поливанова, гениального русского лингвиста. И в тот памятный вечер, когда на полутемной, inferнальной площади Дзержинского отец Глеб Якунин служил панихиду по миллионам жертв тоталитарного режима, когда был открыт в сквере на Лубянке памятный знак - камень с территории Соловецкого лагеря особого назначения, а в стены мрачных (но явно напуганных!) зданий КГБ билось гневным эхом слово Сергея Ковалева и Льва Разгона, Алеся Адамовича, Юрия Карякина и Сергея Станкевича, я зажег близ соловецкого камня свою поминальную свечу. У Евгения Дмитриевича Поливанова нет "официальной" могилы, она неизвестна, ибо он также был казнен палачами с "чистыми руками, холодной головой и горячим сердцем" - в 1938 году. Но теперь, как и миллионы наших убиенных циничным режимом сограждан, Евгений Дмитриевич обрел хотя бы такой, "условный", памятник. И ему тоже была провозглашена Вечная память...

Холодный ветер трепал хрупкое пламя наших свечей, как будто смертное дыхание лубянских зданий-айсбергов хотело их уничтожить, заморозить. Но пламя памяти о жертвах режима теперь, хочу надеяться, нами надежно защищено. Ибо в этой защите - гарантия нашей собственной свободы. И даже жизни...

Жизнь же профессора Поливанова была фантастична. Его вклад в российское и мировое языкознание - просто огромен. Очень весомы его заслуги и в деле языкового строительства, в создании новых алфавитов для ряда народов нашей страны. Однако, если славянский просветитель Мефодий (он вместе с братом Кириллом создал славянскую письменность), уже будучи в сане архиепископа, преследовался немецким духовенством и был ввергнут на некоторое время в тюремное узилище, то просветитель нового, "революционного" времени Евгений Поливанов подвергся политическому шельмованию научными оппонентами, изгнанию из ведущих научных центров, а в итоге был просто уничтожен своими же соотечественниками в годы сталинских репрессий. История во многом любит повторения, только зачастую вовсе не в виде фарса, как это принято считать, а в более жестоком варианте.

У одного из известных поэтов я встретил мысль о том, что главная общность поэтов - в их отличии друг от друга: поэзия - моноискусство, где судьба, индивидуальность доведены порой до крайности. Такой индивидуальностью, доведенной до крайности, был и профессор Поливанов. Мудрый и цепкий словом Виктор Шкловский, знавший Поливанова в молодости по работе в известном ОПОЯЗЕ (Общество изучения поэтического языка) вместе с В. А. Кавериным, О. М. Бриком, В. Б. Томашевским, Б. М. Эйхенбаумом, В. М. Жирмунским, уже в наше время отозвался о Поливанове переполненной внешним парадоксом, но абсолютно точной фразой: "Поливанов был обычным гениальным человеком. Самым обычным гениальным человеком".

Поливанов, как принято в таких случаях писать, был сыном своей эпохи, человеком, преисполненным революционного романтизма и честно служившим режиму, установившемуся после октябрьского переворота 1917 года. Его вера и верность достойны уважения. "Я встретил революцию как революция труда. Я приветствовал именно свободный любимый труд, который для меня стал рисоваться полезным



именно в революционной обстановке”, - под этими словами Е. Д. Поливанова могли бы поставить свою подпись десятки отечественных ученых, поверивших большевикам и принявших революцию не только сердцем, но и умом.

Действительно ли Поливанов был уникальным человеком? Один из основных отечественных биографов ученого, увы, уже покойный профессор В. Г. Ларцев из Самарканда (автор вышедшей крохотным тиражом в 1988 году книги о Евгении Дмитриевиче), совершенно справедливо отмечал, что Е. Д. Поливанов, будучи прежде всего языковедом, занимался кроме того педагогикой, этнографией, фольклористикой, текстологией, литературоведением, логикой, психологией, социологией, историей, статистикой и другими науками (причем познания в этих областях знания, как и владение десятками языков и диалектов, конечно же, непосредственно отразились на многочисленных открытиях Е. Д. Поливанова в лингвистике, часть из которых имеет мировое значение...).

Уникальность ученого помимо всего заключалась и в степени его вовлеченности в общественную жизнь страны, что шло параллельно с его научными изысканиями: выполнение ответственного задания Ленина, работа под руководством первого наркоминдела Троцкого, тесное сотрудничество с Коминтерном и многое другое, о чем многие одаренные ученые-лингвисты той поры не могли даже и помыслить.

А чего стоит поединок Поливанова с марризмом? Самоотверженность, граничащая с безрассудностью, исключительная научная объективность и природный дар пытливого исследователя заставили его открыто и почти в одиночестве выступить против "пролеткультовского" учения академика Н. Я. Марра о языке и одновременно против складывавшегося культа личности Марра в науке! И когда в 1950 году под видом "свободной дискуссии о языке" в газете "Правда" кремлевский горец, желавший стать Корифеем Всех Наук, раздраконил "аракчеевский режим в языкознании" (им же самим, между прочим, во многом и порожденный) и само "новое учение о языке" Н. Я. Марра и его верных последова-

телей, то в своей критике этой псевдонаучной теории Сталин ... повторил многое из того, что Поливанов доказывал марристам еще в конце 20-х годов!

Удивительная своеобычность Евгения Дмитриевича Поливанова заключалась и во многом другом. Например, в его собственной литературной деятельности поэта и переводчика (писал интересные стихи, о чем свидетельствует сборник "Метагlossы", поэма "Ленин", был одним из первых и наиболее эрудированных переводчиков киргизского народного эпоса "Манас" на русский язык). Или в особенностях его быта, крайне аскетического, а порой и с элементами, как бы заимствованными из авантюрных романов. Или, например, в степени овладения другими языками: когда ученый приехал в Нукус, то ему понадобился лишь месяц для того, чтобы изучить каракалпакский язык и совершенно безупречно прочесть на нем доклад перед каракалпакской аудиторией!

Однако - как ни страшно об этом говорить - судьба такого одаренного человека не была уникальной для тоталитарного режима, для эпохи сталинщины, ибо он разделил горькую участь многих других выдающихся деятелей отечественной науки: историков и литературоведов, математиков и физиков, биологов и экономистов, тысяч и тысяч незаурядных исследователей.

\* \* \*

Поливанов родился 28 февраля (12 марта) 1891 года. 25 января 1938 года он был расстрелян. Посмертная реабилитация пришла к ученому лишь в 1963 году.

Вениамин Александрович Каверин написал о Поливанове такие строки: "И сам Е. Д. Поливанов, и то, что он сделал, и его судьба - необыкновенны и должны войти в историю русской науки". Слова эти звучат как эпитафия. Но нет могилы, на которой мог бы быть установлен памятник Е. Д. Поливанову, а на нем - начертаны эти строки Каверина...

Забегая вперед, хочу сказать, что несмотря ни на какие

преграды и противодействия неосталинистов, неомарристов (противодействие это - не миф, знаю о нем на своем личном опыте, чуть не ставшем горьким...), истина все же торжествует. И легендарный профессор Поливанов занимает ныне одно из наиболее почетных мест в истории нашей филологии (хотя огромный его вклад в науку до конца еще не оценен и даже не полностью известен, а многие рукописи безвестно канули в бездонные подвалы НКВД или уничтожены их хозяевами). И я просто по долгу совести обязан самым добрым словом вспомнить и назвать тех советских ученых, которые способствовали торжеству справедливости в отношении Евгения Дмитриевича: это - В. М. Алпатов, Ф. Д. Ашнин, В. П. Григорьев, В. К. Журавлев, С. И. Зинин, Вяч. Вс. Иванов, Л. Р. Концевич, В. Г. Ларцев, А. А. Леонтьев, А. А. Реформатский, Л. И. Ройзензон, А. Д. Хаютин и другие. Конечно, совсем особая роль в исследовании научного наследия Поливанова принадлежит нашему уважаемому современнику Вячеславу Всеволодовичу Иванову, другу Пастернака, лауреату Ленинской премии, народному депутату СССР, а с недавних времен - директору Всесоюзной государственной библиотеки иностранной литературы. Он был не только "подписантом" 60-70-х годов, не только был изгнан из МГУ в 1959 году "в рамках антипастернаковской кампании"; это именно Вячеслав Всеволодович, движимый вечной идеей справедливости, заставил неуклюже оправдываться бывшего генерального прокурора СССР А. Я. Сухарева прямо во Дворце съездов Кремля при ответе на вопрос об участии Сухарева в гонениях на советских диссидентов... Хочу подчеркнуть, что еще до официальной реабилитации Евгения Дмитриевича Вяч. Вс. Иванов опубликовал в журнале "Вопросы языкознания" (№ 3 за 1957 год) статью "Лингвистические взгляды Е. Д. Поливанова" (замечу также - с первой библиографией трудов Е. Д. Поливанова).

Большим событием стал выход в свет книги Е. Д. Поливанова "Статьи по общему языкознанию" (М.: Главная редакция восточной литературы издательства "Наука", 1968), составителем которой выступил профессор А. А. Леонтьев.

А в начале лета 1968 года читатели получили прекрасную книгу профессора В. Г. Ларцева "Евгений Дмитриевич Поливанов: Страницы жизни и деятельности" (М.: "Наука"), в которой можно найти и своеобразный творческий портрет ученого, и подробный рассказ о многих этапах его жизни, и интереснейшие воспоминания людей, знавших Евгения Дмитриевича, и своеобразную краткую антологию его литературных работ.

Вовсе не случайно, что в других воспоминаниях - "Мой путь в науке", - принадлежащих перу бывшего директора Института русского языка АН СССР Ф. П. Филина (а эти воспоминания, опубликованные в журнале "Русская речь", в № 2 за 1988 год, нам пытаются навязать чуть ли не как "наиболее объективный взгляд" на историю советской лингвистики), имя Е. Д. Поливанова среди трех десятков названных Филиным фамилий крупных советских филологов вообще даже не упоминается. Эта фигура умолчания имеет свои причины. Филин был одним из наиболее энергичных адептов "нового учения" о языке Н. Я. Марра и одним из последовательных продолжателей линии своего учителя как жесткого идеологического "организатора" филологической науки (уже в конце 60-х - начале 70-х годов Филин печально прославился своими гонениями на инакомыслящих филологов, которые он весьма успешно организовывал в духе марристских расправ с оппонентами, и творил это по указу отдела науки ЦК КПСС и "компетентных органов").

Поэтому теперь, когда по многим первоисточникам и архивным материалам, по исследованиям названных мною ученых и воспоминаниям современников Е. Д. Поливанова нам довелось наконец-то близко встретиться с жизнью и творчеством Евгения Дмитриевича, мне иногда кажется, что некоторые строки Пастернака были посвящены именно этому ученому:

Кому быть живым и хвалимым,  
Кто должен быть мертв и хулим,  
Известно у нас подхалимам  
Влиятельным только одним.

Жизнь и творчество Е. Д. Поливанова были настолько необычны и насыщены, что даже автор единственной книги о нем В. Г. Ларцев, как мне показалось, был в некоторой растерянности от этой биографической стихии и явно не смог в заданный объем своего издания поместить все, что хотел бы. Мне это в кратком очерке тем более не удастся. Но все же попробую хотя бы кратко вам показать, что судьбе вовсе не случайно было угодно избрать именно Евгения Дмитриевича Поливанова главным научным оппонентом Николая Яковлевича Марра (ибо Марр тоже во многом был - и это объективный факт! - личностью незаурядной!), а затем отдать на заклание Ее Величеству Системе.

Е. Д. Поливанов окончил Петербургский университет, где он был учеником академика И. А. Бодуэна де Куртенэ и Л. В. Щербы, в 1912 году. Одаренного молодого ученого оставили работать на кафедре сравнительного языкознания (а обучался он в университете на славянско-русском отделении историко-филологического факультета и факультета восточных языков, где, кстати, Поливанов слушал у Марра курс грузинского языка). И до событий октября 1917 года, и после них Е. Д. Поливанов занимался педагогической и научно-исследовательской работой самым активным образом.

Трудно перечислить все его места работы и должности. Назовем лишь некоторые: приват-доцент факультета восточных языков Петроградского университета (по японскому языку), профессор факультета общественных наук Петроградского университета (это уже с 1919 года), профессор японского языка Института живых восточных языков в Петрограде, заместитель председателя Научного совета Наркомпроса Туркестанской АССР, профессор Туркестанского восточного института в Ташкенте и Среднеазиатского государственного университета, член Научного совета Всесоюзного центрального комитета нового тюркского алфавита, председатель лингвистической секции Института

языка и литературы Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук (РАНИОН), профессор кафедры языка и литературы Узбекской государственной педагогической академии, Узбекского государственного научно-исследовательского института культурного строительства в Ташкенте, профессор Киргизского института культурного строительства и педагогического института в г. Фрунзе и так далее. Да разве дело в этих серьезных должностях?!

Е. Д. Поливанов был основоположником многих направлений, по которым развивается ныне отечественная и мировая лингвистика. Вот как однажды отозвался об ученом Вяч. Вс. Иванов: "Создание Е. Д. Поливановым ... оригинальной лингвистической концепции и ее обоснование фактами очень большого числа самостоятельно изученных им языков различных семей было возможно благодаря объединению в его лице исключительно одаренного полиглота, талантливого япониста, китаеоведа, тюрколога и лингвиста-теоретика, хорошо знакомого не только с русской и западноевропейской, но также дальневосточной и арабской лингвистикой".

Кстати, о знании языков: думаю, что и сам Е. Д. Поливанов точно не знал числа языков, которыми владел, хотя считал, что знает французский, немецкий, английский, латинский, греческий, испанский, сербский, польский, китайский, японский, татарский, узбекский, туркменский, казахский, киргизский, таджикский, - то есть шестнадцать языков (учтите, что он владел тонкостями многих диалектов восточных языков; в 1964 году знавший Поливанова старый дехканин Махмуд Хаджимурадов на вопрос о том, как говорил на его диалекте узбекского языка Евгений Дмитриевич, ответил коротко и исчерпывающе: "Лучше меня..."). Биографы Поливанова считают, что помимо названных он владел еще и (по крайней мере, лингвистически) абхазским, азербайджанским, албанским, ассирийским, арабским, грузинским, дунганским, калмыцким, каракалпакским, корейским, мордовским (эрзя), тагальским, тибетским, турецким, уйгурским, чечен-

ским, чувашским, эстонским и некоторыми другими языками...

Весьма значителен вклад Евгения Дмитриевича Поливанова в изучение конкретных языковых систем: для многих из них он создал научные грамматики, описания диалектов, провел анализ звукового строя, создал словари, учебные пособия. Не случайно Поливанова и ряд его современников-языковедов, участвовавших в сложнейшем деле языкового строительства в СССР, называют новыми Кириллами и Мефодиями. Между прочим, у Евгения Дмитриевича есть интереснейшие работы, посвященные преподаванию русского языка как неродного и ряда языков народов СССР русскому населению, в том числе - взрослым (что оказалось чрезвычайно актуальным делом в наши, сложные и противоречивые 80-90-е годы XX столетия!). Можете представить себе мое волнение, когда уже в течение двух лет занимаясь судьбами репрессированных филологов и, в первую очередь, Поливанова, совершенно неожиданно в одном из забытых книжных шкафов библиотеки деда я нашел небольшую книжечку в матерчатом, выцветшем зеленом переплете, на титульном листе которой было напечатано: "Профессор Востфака САГУ, Д. член Росс. Асс. Научно-Исслед. Ин-тов (по восточной секции) Е. Д. Поливанов. Краткий русско-узбекский словарь. Акц. О-во "Туркпечать", 1926"... С волнением читал я предисловие, написанное Евгением Дмитриевичем к этому очень интересному учебному словарю! Вышел он тогда, во второй половине 20-х годов, тиражом в 10 тысяч экземпляров...

Особенно много сделал Поливанов для развития теории языка, для теоретической лингвистики. Приведу опять-таки лишь некоторые примеры.

...Первым в науке он распространил принцип системности на историю языка. ...Поливанов разработал теорию фонологических изменений во всем многообразии их взаимосвязей и взаимообусловленности (именно эту теорию разовьет позже Роман Якобсон, и она получит мировое признание). ...Многое сделал Евгений Дмитриевич для вскрытия причин языковых изменений (его концепцию, правда, не

вполне в духе Е. Д. Поливанова, позже использует французский лингвист А. Мартине, например, в книге "Принцип экономии в лингвистике"). ...Е. Д. Поливанов, по сути дела, явился основоположником советской социолингвистики. ...Немало нового внесено ученым в теоретическое осмысление языковых контактов, в частности, их механизмов. Да разве перечислишь все области науки, в которых ощутимы результаты его исследований: ведь это еще и изучение типологии ударения, фонологической роли слога, описание "звуковых" жестов и многое другое.

Разумеется, волновали его и пути создания марксистской лингвистики\*. Поливанов не только в ряде статей, а затем и в публичной дискуссии (получившей название "поливановской") 1929 года выступил против идей Марра, но сумел даже в 1931 году, находясь уже практически в научном изгнании, выпустить в издательстве "Федерация" сборник научно-популярных статей под наименованием "За марксистское языкознание": эта книга на общем фоне триумфа "пролеткультовской" теории Марра, столь нужной в ту пору утверждающемуся сталинизму, была сильным ударом по позициям марристов и, пожалуй, последним контрастованием традиционного языковедения...

Научное наследие Поливанова огромно. По данным Л. Р. Концевича, одна только библиография его работ, изданных при жизни Евгения Дмитриевича и после его смерти, охватывает свыше 200 названий. Около 60 рукописей хранится в разных архивах - они известны. Но при этом удалось со-

---

\* Не в этой ли фразе и заключено всё то, что составило трагедию ученых при тоталитаризме? Не есть ли определение "марксистский" тот коварный соблазн, расщепивший научное мышление и поведший его в сумерки современного сознания? Что такое "марксистская математика", "марксистская биология", "марксистская педагогика" (это как-то особенно противоестественно слышать), "марксистская лингвистика"...? А ведь всё это было еще и "марксистско-ленинским" и "марксистско-ленинско-сталинским" (!) Да, ленинская "детская болезнь левизны" обошла отечественной науке, не говоря уже обо всей стране, слишком, слишком дорого... - *Ред.*



брать около 220 (!) названий тех неопубликованных работ, которые еще не обнаружены. И, возможно, большая часть из них уже безвозвратно утрачена - таков удел конфискованных архивов практически всех репрессированных ученых. Хотя в последнее время вдруг из потайных сундуков госбезопасности то и дело "всплывают" рукописи некоторых поэтов, писателей, естествоиспытателей. Еще и еще раз приходится спрашивать нынешних руководителей КГБ: когда мы перестанем быть иванами-не-помнящими-родства и с этих тайных хранилищ падут наконец все замки? Сохранилось ли в них что-либо из наследия Е. Д. Поливанова?!

Революционное движение он принял всем сердцем. Биографы пишут, что первым политическим выступлением был его протест против империалистической войны: Поливанов написал на испанском (!) языке антивоенную пьесу, за что был арестован и отсидел неделю в тюрьме. Сам Евгений Дмитриевич писал о себе, что от пацифизма пришел к интернационализму. До октября 1917 года Е. Д. Поливанов несколько месяцев работал в отделе печати МИД Временного правительства (он был тогда левым меньшевиком, мартовцем).

В 1919 году петроградский профессор вступил в РКП(б).

Но еще до этого он стал широко известен как друзьям революции, так и ее противникам и оппонентам. Советской же власти особенно пригодились его знание языков: талант полиглота и дарование исследователя получили необычное применение - Поливанову было поручено заниматься в Народном комиссариате иностранных дел всеми связями со странами Востока (по должности это был уровень одного из руководителей наркомата), а параллельно с этим - поиском и публикацией тайных договоров царского правительства. Такова была идея Ленина, выраженная в Декрете о мире: "...Тайную дипломатию правительство отменяет (правда, отменено это было, как мы теперь знаем, ненадолго... - М. Г.), со своей стороны выражая твердое намерение вести все переговоры совершенно открыто перед всем народом, приступая немедленно к полному опубликованию тайных договоров, подтвержденных или заключенных правительст-

вом помещиков и капиталистов с февраля по 7 ноября (25 октября) 1917 г.". Следует заметить, нисколько не умаляя "заслуг" известного революционера, балтийского матроса Николая Маркина, чье имя традиционно связывается с публикацией договоров, что очень большая роль в этом деле принадлежит именно Е. Д. Поливанову. Не случайно в ноябре 1917 года "буржуазная" газета "Наша речь" озабоченно писала: "В министерстве (иностраннных дел. - М. Г.) все время хозяйничает г. Поливанов, приглашенный на амплуа специалиста по расшифровке тайных договоров, и секретарь народного комиссара г. Залкинд".

В 1918 году Е. Д. Поливанову было поручено еще одно необычное, но важное дело. Он ведет политическую работу среди петроградских китайцев (их с начала XX века в городе на Неве было очень много). Молодой востоковед стал одним из организаторов "Союза китайских рабочих", редактировал первую китайскую коммунистическую газету, был связан с китайским Советом рабочих депутатов и с теми китайскими добровольцами, которые сражались на фронтах гражданской войны...

С 1921 года Поливанов работал в Коминтерне: переехав в Москву, он становится помощником заведующего Дальневосточной секцией Коминтерна (именно Коминтерн в том же году командует его в Ташкент)... А сколько сделал "красный профессор" и интернационалист Поливанов для решения национально-языковых проблем в молодом Советском государстве! И все это - лишь отдельные этапы той другой стороны жизни, которую в наше время привыкли определять казенным советским словосочетанием "общественная работа"... К тому же Поливанов был инвалидом: еще в юношеском возрасте он при достаточно таинственных обстоятельствах потерял кисть левой руки!

Стоит согласиться - то был человек необыкновенной судьбы, энергии, дарования и работоспособности. Вениамин Каверин сделал Евгения Дмитриевича одним из своих литературных героев - вспомним роман "Скандалист, или вечера на Васильевском острове", образ профессора Драгоманова, а также рассказ "Большая игра". И тот же Вениамин Алек-

сандрович так писал в своих мемуарах: "Это нужно было быть человеком огромной воли и огромной чести и огромной веры в советскую науку для того, чтобы действовать так, как действовал Поливанов".

Одаренный, образованнейший исследователь Евгений Дмитриевич Поливанов понял, какую опасность для языкознания, для философии и политики, для обстановки свободного творчества в науке представляет вульгарно-материалистическая и псевдомарксистская теория академика Н. Я. Марра, а также вносившаяся окружением академика обстановка идеологической нетерпимости к научным оппонентам. Открыто выступив против марризма в 1928-1929 годах, он продолжал неравную схватку с ним буквально до самого ареста.

В подборке читательских откликов на роман В. Дудинцева "Белые одежды" встретил я следующую мысль: "Так трудно и так опасно ходить в чистых, белых одеждах - все норовят кинуть в тебя ком грязи. А в сером балахоне притворства - ужели ты так же чист?! Нет! Вот и получается, что истинным, хотя и безрассудным мужеством обладают лишь те, кто идет по жизни в белых одеждах правды, презирая серые балахоны полуправды и лжи..."

В белых одеждах правды шел к быстро приближавшемуся концу жизни и профессор Поливанов\*.

В "поливановской" дискуссии Евгений Дмитриевич дал объективный научный анализ теории Марра, причем указал и на ряд ее интересных сторон. Однако марристы, рвавшиеся к Олимпу власти в науке (как и их последователи уже в 60-70-е годы...), напрочь отвергли идею демократического обмена мнениями, чисто научного спора и в духе эпохи

---

\* Как ни больно говорить здесь о таком аспекте, но говорить нельзя: но как в "сумерках марксизма" отличить белое-серое-черное? Размыты границы спектра. Нет, не найти ни Шатрову, ни Рыбакову, ни Дудинцеву выхода из этой двусмысленности, если стоять на том, что существует не Наука, а некая марксистская наука, и вот она-то и есть "истинная". - *Ред.*

обрушили на Поливанова ушат политических обвинений: он был назван "идеологическим агентом международной буржуазии", "разоблаченным монархистом-черносотенцем", "кулацким волком в шкуре советского профессора" и т. п. Примечательно, что материалы этой дискуссии были опубликованы 1 марта 1929 года в газете "Вечерняя Москва" в рубрике с откровенным названием - "Классовая борьба в науке"...

Когда сталинщина еще только разворачивала репрессивную машину, когда обстановка террора и избияния лучших кадров (от дипломатии до армии, от науки до молодежных организаций) еще не стала обыденной и злой, навет еще не сразу мог привести человека в застенок, научные противники не могли быстро устранить Поливанова, а заодно сломать или уничтожить других ученых. Но пули постепенно отливались. Правда, поначалу они были не из свинца. Но кто сказал, что в те времена СЛОВО всегда было намного слабее ПУЛИ? Или все-таки еще было слабее?

Уже к концу 1929 года Е. Д. Поливанов был снят со всех должностей, отстранен от научной и педагогической деятельности в Москве (даже изымались из рабочих планов издательств его книги, а уже имевшиеся наборы в типографиях рассыпались...) и вынужден был уехать в Среднюю Азию, сначала - в Самарканд. От жизни ведущих научных центров страны он был отлучен, имя его там старались не упоминать (или только с руганью)...

Еще один пример. В октябре 1931 года был сдан в печать седьмой том "Яфетического сборника", готовившегося Н. Я. Марром и его последователями. В нем была опубликована рецензия на книгу Е. Д. Поливанова "За марксистское языкознание", во многом примечательная. И даже не тем, что автор скрыл свое имя за инициалами. Сейчас известно: она вышла из-под пера одного из ближайших подручных (тут уж, простите, другое слово трудно подобрать) академика Н. Я. Марра - некоего С. Н. Быковского. Заметка эта составлена в классических выражениях политического доноса (чем марристы и немарристы любили пользоваться во все времена, вплоть до 80-х годов): "Основная цель сборника

(книга Поливанова была сборником статей. - М. Г.), так сказать, его социальный заказ - это реабилитация современной буржуазной лингвистики. Но так как чрезмерно открытое выступление в Советском Союзе в защиту буржуазной науки, хотя бы в такой до сих пор мало разработанной области, как языкознание, - дело рискованное, - то отсюда и название сборника "За марксистское языкознание", в то время как все содержание сборника направлено *против* (выделено Быковским. - М. Г.) марксизма". Завершалась эта рецензия тоже "достойно": "Только полной неосведомленностью руководителей наших издательств в элементарных вопросах марксистского языкознания можно объяснить появление антимарксистской книги в 1931 г. на советском рынке". Конечно же, это был не единственный "отклик" на книгу Е. Д. Поливанова. В том же духе была выдержана и рецензия Сухотина, опубликованная журналом "Культура и письменность Востока". Вот как она заканчивалась (хотя А. М. Сухотин был в целом - антимарристом):

"Рабочий класс будет продолжать строить не только новое общество, но и *свою* науку, невзирая ни на смех своих врагов, ни на жалкие потуги своих мнимых попутчиков, силящихся под вывеской "марксизма" протащить старый хлам близкой к окончательному банкротству *буржуазной методологии*" (выделено Сухотиным. - М. Г.).

Между прочим, рецензия Быковского показательна еще и тем, что автор уже "освятил" ее, избрав в качестве эпиграфа цитату из Иосифа Виссарионовича Сталина: "Клевету и мошеннические маневры нужно заклеить, а не превращать в предмет дискуссии".

Ох, как уже чесались у марристов руки! Как быстро они поняли, какие неограниченные возможности дает им сталинщина в борьбе с научными оппонентами!

Всякий раз, когда на моем рабочем столе появляются новые свидетельства геноцида тоталитарного режима в нашей стране, новые доказательства, как целенаправленно велась властью война с собственным народом, я невольно вспоминаю яркий отрывок из первого послания Ивана Грозного князю Курбскому, написанного в 1564 году:

”...Русская земля держится божьим милосердием, и милостью Пречистой Богородицы, и молитвами всех святых, и благословением наших родителей, и, наконец, нами, своими государями... Не предавали мы своих воевод различным смертям, а с божьей помощью мы имеем у себя много воевод и помимо вас, изменников. А жаловать своих холопов мы всегда были вольны, вольны были и казнить... Кровью же никакой мы церковных порогов не обагрjali; мучеников за веру у нас нет; когда же мы находим доброжелателей, полагающих за нас душу искренно, а не лживо... то мы награждаем их великим жалованьем; тот же, который, как я сказал, противится, заслуживает казни за свою вину. А как в других странах, сам увидишь, как там карают злодеев - не по-здешнему!.. А в других странах изменников не любят и казнят их и тем укрепляют власть свою. А мук, гонений и различных казней мы ни для кого не придумывали; если же ты говоришь об изменниках и чародеях, так ведь таких собак везде казнят...”.

В годы массовых репрессий ”враги народа” подразделялись в специальных списках, как мы теперь знаем, на три категории. В первую засчислялись самые ”опасные”: их уделом преимущественно становилась смертная казнь.

В списки ”врагов” по первой категории был зачислен и Евгений Дмитриевич Поливанов, арестованный, по-видимому, в августе 1937 года. 25 января 1938 года *тройка* приговорила его к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение незамедлительно - в тот же день.

Долгое время повод для ареста оставался для всех загадкой. Но версий и слухов было предостаточно. По одной, Поливанов был арестован как ”троцкист”, ибо некоторое время работал под началом Троцкого, даже писал стихи, посвященные Льву Давидовичу. По другой, причиной ареста стали знакомство и связь с Бухариным по линии Коминтерна. Третий ”слух” проводил связь ареста Евгения Дмитриевича с делом известного среднеазиатского партийного работника А. И. Икрамова (хотя Икрамов был арестован позже, в сентябре 1937 года).

Размышляя о трагической жизни Евгения Дмитриевича, я думаю, что прав тот современный журналист, который в очерке о жертвах сталинских репрессий и их пострадавших детях (у Поливанова, слава Богу, их не было, а жена Бригитта бесследно сгинула в жутких глубинах архипелага ГУЛАГ) написал очень точно и остро, "поймав" ощущение многих людей, державших в своих руках реабилитационные справки репрессированных:

"Две справки о посмертной реабилитации. Короткий стандартный текст. Стилль, чем-то напоминающий "похоронки" фронтовых лет. Нет, эти справки, пожалуй, пострашнее "похоронок". В тех было написано: "Погиб в боях за родину". Здесь же: "Посмертно реабилитирован за отсутствием состава преступления". Там вражья пуля а тут?.."

Вот именно такую, страшную и скорбную похоронку запомнило мне официальное письмо из Военной коллегии Верховного суда на имя Федора Дмитриевича Ашнина. Ф. Д. Ашнин - филолог, тюрколог, пожилой человек, давно и последовательно (один из немногих!) занимающийся восстановлением "белых пятен" в истории советского языкознания и судьбами репрессированных филологов. Иначе говоря, Федор Дмитриевич - как раз тот человек, который без всяких указаний "сверху", без широковещательных общественных "инициатив", а просто по велению души уже на деле приступил к составлению "Мартиролога советских языковедов".

Много занимается Ф. Д. Ашнин и судьбой, творческим наследием, обстоятельствами жизни и гибели профессора Е. Д. Поливанова. Вот что ответила ему Военная коллегия на один из запросов:

Военная Коллегия  
Верховного Суда  
Союза СССР  
31 декабря 1987 г.  
№ 4н-316/63

тов. Ашнину Ф. Д.  
г. Москва

На Ваше заявление, поступившее из КГБ СССР, сообщаю,

что Поливанов Евгений Дмитриевич 25 января 1938 года был необоснованно осужден и приговорен к расстрелу.

Приговор в отношении Поливанова Е. Д. был приведен в исполнение в тот же день, т. е. 25 января 1938 года.

Начальник секретариата Военной коллегии  
Верховного Суда СССР  
А. Никонов

Только сейчас, в 1990 году, Ф. Д. Ашнину удалось получить для работы некоторые материалы дела Е. Д. Поливанова. Они позволят прояснить некоторые факты, впрочем, оставляя многое еще "за кадром"...

Теперь абсолютно ясно, что жизнь Поливанова прекратилась насильственным образом - он был казнен. Но произошло это не во Фрунзе, не в Ташкенте, не в северных лагерях. Это случилось в Москве, куда Поливанов был доставлен чекистами после ареста из Средней Азии; здесь, на Лубянке, велось следствие, и в каком-то потаенном уголке Москвы земля приняла прах расстрелянного Евгения Дмитриевича Поливанова.

Ф. Д. Ашнину удалось познакомиться с двумя протоколами допросов Поливанова лубянским следователем из плеяды сталинских инквизиторов. В них нет упоминания ни о Троцком, ни о Бухарине, ни об Икрамове. Обвинения - по различным разделам страшной 58-ой статьи с главным упором на... шпионаж! Поливанову было вменено в главную вину перед народом то, что он был якобы завербован японской (!) разведкой и стал ее агентом. Вербовка же, по мнению чекистов, произошла в 1916 году во время поездки Поливанова в Японию...

Пока в документах не обнаружено следов доноса, о котором было известно нескольким современникам Поливанова. По некоторым сведениям, автором навета был ученый-филолог (что совсем не удивительно!). Однако пока это не установлено документально, будем называть его условной фамилией, например, Ратманов.



Лишь в апреле 1963 года Е. Д. Поливанов был посмертно реабилитирован Верховным Судом СССР на основании ходатайства Института языкознания АН СССР (у самого Евгения Дмитриевича не осталось родственников, которые могли бы обратиться с подобным прошением). Верховный Суд отменил все выдвигавшиеся против Поливанова обвинения в "измене Родине". Но память! Научные работы Поливанова собирались по советским и зарубежным городам и весям: сталинизм и послушные ему научные круги умели уничтожить и саму память об ученых, подвергшихся репрессиям. А когда в сентябре 1964 года в Самарканде была созвана предварительная лингвистическая конференция "Актуальные вопросы советского языкознания и лингвистическое наследие Е. Д. Поливанова", то организаторы ее не могли найти тогда даже фотографию Евгения Дмитриевича...

Вот так: исчезали труды, письма, фотографии Поливанова, а труды Марра стояли на самых видных полках, его портреты становились чуть ли не иконой для многих лингвистических учреждений. Имя Поливанова надолго было вообще вычеркнуто из науки, а имя Марра было при жизни его присвоено Институту языка и мышления АН СССР (я уже не говорю об учениках Марра, которые резво расхватывали академические и профессорские звания, престижные и "сытые" должности, места в издательских планах, продолжая благоденствовать даже до нашего времени)... Прискорбно, но факт: Венский университет установил на своем здании памятную доску в честь русского ученого-эмигранта, выдающегося лингвиста Н. С. Трубецкого. Мы же пока не смогли отнестись с таким же уважением к памяти *своего* выдающегося ученого Е. Д. Поливанова, вклад которого в мировое языкознание равнозначен вкладу Трубецкого, а в чем-то и превосходит его.

Не выполнены решения самаркандской конференции об издании избранных трудов Евгения Дмитриевича (хотя что может быть важнее для науки?!), о дальнейшем целенаправленном поиске его рукописей, о присвоении имени профессора Поливанова улицам в тех городах Средней Азии, где работал Евгений Дмитриевич, сделавший так много для

развития и культуры, и образования, и даже национального самосознания народов этой части мира и нашей страны, в первую очередь - узбекского и киргизского народов.

Хотя... Вот, как видите, в октябре 1990 года в Ташкенте прошла большая научно-практическая конференция, посвященная столетию профессора Поливанова, на которую приехали ученые из десятков городов разных республик СССР. Узбекскому педагогическому институту русского языка и литературы, главному организатору конференции, вероятно, будет присвоено имя Е. Д. Поливанова (таково пожелание ее участников); это, кстати, очень важно для Узбекистана сейчас, в наше непростое время, ибо Поливанов был настоящим интернационалистом\* - на деле, а не на словах. Изданы три тома трудов этой конференции, и на обложке - помещен один из известных ныне портретов ученого. В будущем, надеюсь, поливановские чтения станут регулярными и, как это предложили лингвисты из разных городов страны, будут поочередно проходить в Москве, Ленинграде, Фрунзе, Ташкенте, Самарканде. Хорошо это? Без сомнения!

\* \* \*

И все же думая о трагической судьбе этого гения, я еще и еще раз мысленно возвращаюсь на Лубянскую площадь, в вечер 30 октября...

Отец Глеб Якунин продолжал служить панихиду по жертвам тоталитаризма, оплывали слезами свечи и все больше мрачнели стены здания бывшего НКВД. Я глядел на камень, привезенный с Соловков, а в памяти вставал другой мемориал - в польском местечке Майданек под городом Люблин. Там, на краю бывшего концлагеря, установлена огромная чаша с куполом. В чаше - пепел десятков тысяч умерщвленных людей из разных стран, который вандалы

---

\* Всё же Поливанов был настоящим ученым, а применим ли в таком случае "интернационализм", вряд ли стоит вообще обсуждать. - *Ред.*

XX века не успели вывезти на поля в качестве удобрений. Знаете, какая надпись окаймляет эту поистине горькую чашу и вырублена в камне?

**”НАША СУДЬБА - ВАМ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!”**

Октябрь 1990 г.

*Ташкент-Москва*



Б. С. ПУШКАРЕВ

## Рынок и план в городской застройке

Опыт усвоения уроков Америки

Цель настоящей статьи - разобраться в том, как взаимодействие рыночного и планового начала формируют городскую застройку, расселение и облик города; разобраться на примере США в современных условиях. Поскольку городская застройка осуществляется на муниципальном уровне, подходить к заданной теме придется издали, начиная с роли муниципального управления в конституционном строе США. Затем мы остановимся на функциях местного самоуправления и регулировании застройки как одной из них и посмотрим, какие выводы все это подсказывает для российских условий.

### *1. Штатная и федеральная власть: распределение ролей*

Первоначальным носителем государственного суверенитета в США был штат. Тринадцать колоний, объявивших свою независимость от британской короны в 1776 году провозгласили себя суверенными штатами. Как таковые, они согласились уступить часть своего суверенитета наверх, общему союзному правительству, и передать иные функции вниз, местному управлению.

Понадобилось 13 лет, чтобы создать действующее союзное (федеральное) правительство. В начале оно состояло

лишь из палаты депутатов от каждого штата да государственных секретарей по делам обороны, иностранных дел и финансов. Но скоро выяснилось, что на отчисления от штатов даже такое минимальное правительство положиться не может, что ему необходимы собственные источники налогообложения. Затем выяснилось, что центральное правительство должно иметь право устанавливать правила торговли между штатами - штаты начали воздвигать между собой таможенные барьеры и в экономике грозил наступить хаос. И, наконец, - что вообще нужна твердая центральная власть, способная проводить в жизнь принятые депутатами решения. Такие соображения и привели к учредительному собранию 1787 года в Филадельфии, создавшему ныне действующую конституцию США.

Эта конституция перечисляет полномочия, которые штаты полностью или частично уступают федеральному правительству и утверждает, что остальные полномочия «остаются за штатами или за народом». Переданные федеральному правительству полномочия касаются иностранной политики, обороны, отношений между штатами, денежного обращения, поощрения торговли и промышленности. Казалось бы, что за штатами остаются гражданское и уголовное право, народное образование, здравоохранение, городская застройка и прочие вопросы местного управления, так называемая «полицейская власть».

Но на деле все не так просто. Конституция утверждает первенство федеральных законов над штатными и в конце восьмого раздела первой статьи говорит, что помимо «вышеперечисленных» имеются «также все прочие полномочия», которыми она наделяет федеральную власть. На этом основании Верховный Суд в 1819 году принял толкование, что помимо явных, федеральная власть обладает еще и неявными, или «подразумеваемыми», полномочиями.

«Подразумеваемые» полномочия стали особенно популярны в эпоху Ф. Рузвельта (1932-45) и во время реформ Кеннеди-Джонсона (1960-68), когда принято было считать, что все нерешенные вопросы страны может решить вмешательство центральной власти. Тогда и возникли федераль-

ные министерства здравоохранения, народного образования, энергетики, градостроительства, транспорта, то есть сфер деятельности, которые конституция как будто бы предоставляла штатам. Фактически в целом ряде отраслей федеральное и штатные правительства осуществляют, по выражению Коркунова\*, «совместное властвование». Разница лишь в том, какими путями оно осуществляется. Поскольку город юридически является детищем штата, то штатная законодательная палата может его обязать исполнять ею принятую политику расходовать его же собственные средства. Федеральное правительство приказать чего-то городу, являющемуся составной частью штата, никак не может. Но оно может предложить городу целевую субсидию - при условии, что город будет придерживаться определенных федеральных правил и норм. Таким именно образом осуществляет общегосударственную политику целый ряд федеральных ведомств.

Наглядным примером служит - строительство междуштатных автострад, начатое в 1956 году и сейчас почти завершенное. Дорожное строительство в принципе дело штатов и их подразделений. Но федеральное правительство еще во время войны разработало план постройки 67 тысяч километров автострад с отдельным полотном и ограниченным доступом, чтобы соединить все города страны с населением более 50 тысяч жителей. Оно не могло приказывать штатам выполнять такой план - и не желало само становиться строителем, отчуждать землю и прочее. Когда созрела политическая обстановка, чтобы приступить к строительству, оно поступило иначе: штатам, готовым строить согласно федеральному плану и единым для всей страны нормам, оно обязалось возместить 90% расходов. Осуществление плана заняло не 20 лет, как предполагалось, а 36, но он был выполнен. (Впрочем, если бы федеральное правительство было менее щедрым и дало штатам

---

\* Н. М. Коркунов. Русское государственное право. СПб, 1906. В 2-х томах.

не 90%, а, допустим, 40% или 50%, как теперь положено при постройке сооружений общественного транспорта, то много ненужных дорог не было бы построено... Но об этом ниже.)

Федеральные средства служат рычагом для проведения федеральной политики в самых разных областях, начиная от борьбы с преступностью (хотя вообще-то полиция - дело сугубо местное, а не федеральное) и кончая борьбой с дискриминацией: так, каждая фирма или институт, получающие хоть небольшие федеральные средства, обязуются в контракте не только избегать дискриминации, но и практиковать т. н. «утвердительные действия» для привлечения этнических меньшинств.

Федеральное участие в разных начинаниях штатных и местных властей - различно. Федеральное правительство на середину 1980-х годов оплачивало примерно 13% всех расходов по народному образованию; около 20% всех расходов по содержанию улиц и шоссеиных дорог; около 30% всех государственных расходов по здравоохранению; и около 50% расходов по социальному обеспечению. Теоретически доля федерального правительства должна быть наибольшей в программах, связанных с перераспределением доходов. Существует точка зрения, что в программах, не связанных с перераспределением, федеральному правительству вообще делать нечего, их надо финансировать на местах. Но на практике местные политики, возражая против федерального вмешательства, редко отказывались от федеральных средств.

Финансовая роль федерального правительства в штатных и местных делах достигла своего апогея к 1978 году. Тогда почти 27% штатных и местных расходов оплачивалось из федеральных средств. Сегодня эта доля упала до 17% и тенденция сокращения продолжается.

Правда, при этом не обязательно сокращается регулирующая роль федерального правительства. За последнее время она возросла в таких отраслях, как охрана окружающей среды, техника безопасности на местах работы и безопасность потребительских товаров. Но, особенно в

сфере охраны среды обитания, федеральное правительство дает направление, а конкретные мероприятия предоставляет штатам.

Следует отметить, что на политику расселения - как внутри городских агломераций\*, так и между ними, федеральное правительство влиять не старается. Оно требует, чтобы в пределах крупных агломераций осуществлялся процесс районной планировки - «комплексный, координированный и постоянный» и ставит это условием получения дорожных, жилищных и прочих субсидий. Однако результаты этого процесса считаются делом сугубо местным, и правительство не ведет даже статистики ввода в строй полезной площади различных типов зданий и занятых под них земельных участков. В результате в министерстве сельского хозяйства США имеется, например, подробнейшая статистика земель, засеянных напр. различными видами бобов, а в министерстве градостроительства нет даже статистики общего объема зданий или видов городского землепользования. Поощряемая федеральным правительством районная планировка на практике обычно сводится к бюрократической формальности, не влияющей на реальные решения муниципалитетов и частных застройщиков.

Из этих отношений можно сделать следующие выводы: 1. Четкого разграничения функций между федеральной и штатной властью нет, а есть, по Коркунову, «совместное властвование»; 2. Законы и правила, регулирующие это совместное властвование, создаются применительно к возникающей задаче и текущей политической обстановке.

Но одно дело - соотношение политических сил в американских условиях, где центральное правительство противостоит 50 штатам, лишь в одном из которых (Калифорния)

---

\* *Городская агломерация* - компактная пространственная группировка поселений (главным образом городских), объединенных в одно целое интенсивными производственными, трудовыми, культурно-бытовыми и рекреационными связями (города-спутники, пригороды и т. п.). - Б. Э. С., 4-е изд. М., 1986 г.



живет больше 10% населения страны. Другое - в условиях, когда союзное правительство противостоит 15 республикам, одна из которых больше всех остальных, вместе взятых. Очевидно, что будущие условия федерации в российской обстановке окажутся иными, чем в американской.

## *2. Штатная и местная власть: распределение ролей*

За каждым из штатов в США остается, прежде всего, господствующая роль в таких сферах, как гражданское право (в т. ч. регистрация имущественных и юридических отношений и выдача прав профессиональной практики); затем - уголовное право (за исключением преступлений, которые подсудны федеральным властям); полиция и правительственные учреждения; надзор над розничной торговлей и продажей спиртных напитков; народное образование, куда входит как управление государственными школами - от детских садов до штатных университетов, - так и лицензирование частных школ.

Сферы деятельности, в которых штаты частично уступили влияние федеральным властям, - это управление парками, охрана окружающей среды, дорожное хозяйство и общественный транспорт, реконструкция городов, агрономическая помощь и защита почвы, здравоохранение и социальная помощь, в которую входит страховка по безработице, представляющая собой одну из многих совместных штатно-федеральных программ.

Встает вопрос: если всё это - полномочия штатного правительства - то где же начинаются полномочия городского и местного самоуправления? Вопрос этот спорный. Местное самоуправление существовало в американских колониях задолго до того, как они провозгласили себя суверенными штатами. Отсюда - мысль, что местное самоуправление тоже обладает, если не суверенитетом, то некоторыми неотъемлемыми правами, как-то правом самому принимать свой устав или «хартию».

Такое право многие штатные конституции признают. Но

когда между этим уставом и штатным законодательством возникали противоречия и дело доходило до суда, то никто исконных «прав местного самоуправления» (home rule) определить не смог. На деле, городское и сельское самоуправление в США обладает на подчиненной ему территории лишь теми полномочиями, которые ему дал штат. Устав каждого органа местного самоуправления должен быть утвержден штатной законодательной палатой. Если, допустим, город желает ввести какой-либо новый налог, то для этого требуется разрешительное законодательство штата; когда оно получено, то размер налога устанавливает уже городской совет.

Есть точка зрения, что практика разрешительного законодательства чрезмерно стесняет возможности местного самоуправления; что вместо принципа «местному самоуправлению можно делать всё то, что ему разрешает штат» следовало бы ввести обратный принцип: «местному самоуправлению можно делать всё то, что ему не запрещает штат». Но пока к такой точке зрения склоняются лишь конституции Аляски и Техаса.

Какие же функции находятся полностью в ведении местного самоуправления? Прежде всего, пожарная охрана: Америка (в отличие Германии или Италии) - страна деревянная, где всё время что-то горит, и у каждой деревушки есть своя пожарная команда, хотя бы добровольная. Затем - содержание и очистка улиц и сбор мусора; последний не обязательно проводится городскими служащими, а порой дается на откуп частным подрядчикам. Такая «приватизация», обыкновенно, оправдана тем, что частные подрядчики не платят своим служащим профсоюзные ставки городских служащих, а нанимают рабочую силу подешевле. Наконец, в ведении местного самоуправления находятся культурные начинания, публичные библиотеки, площадки для спорта и игр, местные парки.

Полицейские функции по охране порядка и собственности - в США тоже в основном принадлежат местному самоуправлению. Но городской суд рассматривает лишь мелкие дела, например, нарушения правил уличного движения.

Существенные уголовные дела рассматривает штатный суд, и осужденные преступники содержатся в штатных тюрьмах. Федеральным властям подсудны лишь определенные государственные преступления или преступления, совершенные на территории разных штатов.

В розничной торговле и общественном питании роль города ограничивается санитарным надзором и отделом по делам потребителей, куда можно жаловаться на частных торговцев. Снабжением города, естественно, занят рынок, а не город.

Народное образование - на уровне от детского сада до средней школы включительно - очень важная функция местного управления. От качества школ в значительной мере зависит, насколько желателен тот или иной муниципалитет как место жительства для семей с детьми, а, следовательно, зависит и уровень цен на недвижимость в данном месте. В свою очередь, более зажиточные места могут себе позволить расходовать больше на народное образование. Но это нарушает принцип равенства возможностей, записанный в конституции многих штатов. И здесь штаты берут на себя перераспределительные функции, то есть финансовую поддержку школьных округов со сравнительно бедным населением. Кроме того, штаты осуществляют общий надзор над учебными программами и успеваемостью и в сотрудничестве с местными округами планируют развитие школьной системы. Высшее образование - в той мере, в которой оно находится в руках государства, а не частных университетов - полностью прерогатива штатов. Такие штаты, как Калифорния и Нью-Йорк, обладают мощными университетскими системами, в каждой из них более 100.000 студентов. Филиалы их находятся во многих городах. Размещение этих филиалов - один из инструментов градостроительной политики штатов.

Здравоохранение и больницы организованы по-иному, здесь в «совместном властвовании» участвуют не два партнера - штат и местное самоуправление, - а четыре: в том числе федеральное правительство и общественный сектор. Дело в том, что, хотя существуют частные (ком-

мерческие), городские и штатные больницы, значительная часть больниц принадлежит бесприбыльным общественным корпорациям. Они, помимо платы за лечение, состоящей, в свою очередь, из личных, фирменных и государственных страховых взносов, существуют на частные пожертвования и государственные дотации. Объединения управлений больниц создают свои «больничные советы», у которых есть свои плановые органы, которые планируют развитие больничного обслуживания.

Городская инфраструктура организована еще по-иному. Там, где есть канализация, она находится в ведении муниципального управления, которое тесно взаимодействует с федеральным правительством, поскольку оно устанавливает стандарты выброса сточных вод и помогает финансировать очистительные сооружения. Водопровод федеральных дотаций не получает; он обычно принадлежит муниципальному управлению, но кое-где находится во владении частных, коммерческих предприятий. Газ почти полностью поставляется коммерческими компаниями, часто теми же, которыми поставляется и электричество.

Электроснабжение на 76% находится в руках коммерческих компаний. Розничное распределение тока изредка находится в руках муниципалитетов и потребительских кооперативов. В качестве оптовых поставщиков заметную роль играют федеральные электростанции на юге и западе США. В штате Нью-Йорк штату принадлежат гидроэлектростанции на Ниагаре, несколько атомных станций и высоковольтная передача, идущая с севера Канады. Хотя формальным владельцем всех этих установок является штат, организованы они как самостоятельное предприятие, которое находит капитал на частном рынке, выпуская облигации. Тем не менее все эти государственные предприятия вызывают нарекания из-за того, что они не платят налогов, получают кредит на льготных условиях, и таким образом незаслуженно субсидируют потребителей тока на обслуживаемой ими территории. Энергоснабжение планируют региональные объединения электрических компаний при участии штатных и федеральных властей.

Частные предприятия, обеспечивающие воду, электричество, газ, телефонную связь и кабельное телевидение на определенной территории являются, по своей природе, монополиями. Если на рынке и цены, и качество товаров регулирует, в основном, свободная конкуренция, то над стоящими вне конкуренции монополиями необходим государственный контроль. Право функционировать на своей территории таким предприятиям коммунального обслуживания выдает штат (в крупных городах - муниципалитет) и он же их может привлекать к ответственности за несоблюдение условий договора. Чтобы следить за их деятельностью на муниципальном уровне, в крупных городах имеется соответствующее управление. Цены же на воду, электричество, газ и телефон регулирует особая комиссия на уровне штата. Устанавливая цены, комиссия эта стремится сбалансировать две цели: с одной стороны, прибыль предприятия должна быть достаточной, чтобы оно было привлекательным объектом для инвестиций на рынке капитала; с другой стороны, цены на какой-то жизненно необходимый минимум услуг - телефонных разговоров или киловаттчасов электричества - не должны быть в тягость малоимущим.

Как правило, планирование капитального строительства ведется на уровне его владельца: штатные автострады и пригородные ж.-д. линии планирует штат; он же планирует размещение своих университетов, тюрем, парков. Соответственно, город планирует размещение своих школ, пожарных команд, полицейских участков и детских площадок. Весьма важен тот факт, что низший уровень самоуправления - уровень города или сельсовета - ответствен за всё регулирование частной застройки на своей территории. С точки зрения городского района в целом, такое решение зачастую отнюдь не оптимально, но местные муниципалитеты за свое право регулирования частной застройки держатся крепко и не желают вмешательства штата в свои дела. У штата нет юридических оснований не вернуть себе часть переданных муниципалитетам полномочий; но политически это предельно трудно. Лишь немногие

штаты - среди них Нью-Джерси - стараются согласовывать муниципальную планировку землепользования на штатном уровне.

Из сказанного можно сделать два вывода. С одной стороны, несмотря на громкую риторику и сильные эмоции, «права местного самоуправления» в США юридически не гарантированы - их дает и отбирает штатная законодательная палата. Возможно, что эти права можно расширить, законодательно перечисляя лишь то, что муниципалитетам делать возбраняется, а не то, что им разрешается. С другой стороны, неограниченная юрисдикция местных властей в вопросах землепользования и городской застройки ведет к нежелательным результатам в региональном масштабе, и здесь вмешательство высшей инстанции было бы, наоборот, желательным.

В остальном применение опыта штатно-муниципальных отношений в США к российским условиям затруднено тем, что из-за дробности штатов в США отсутствует такая важная единица как область (губерния или провинция). Она заслуживает существенной меры самоуправления, но вопрос - в чем именно должно заключаться в будущем областное самоуправление - остается открытым.

Другой, связанный с этим вопрос - отсутствие в США, как и вообще в современных демократиях, ступенчатых, а не прямых выборов. В дореволюционном российском земстве уездные земские гласные избирали как свою уездную земскую управу, так и гласных в губернское земское собрание, осуществляя таким образом иерархическую связь между уездом и губернией (областью), за которую сегодня ратует и Солженицын. Такой подход мог бы смягчить контрасты между чрезмерным дроблением и чрезмерной концентрацией местной власти в городских регионах, а заодно и подсказать уместное разделение функций между областями и районами.

Но одна из трудностей ступенчатых выборов (помимо того, что в современном мире они не в моде) состоит в том, что при них трудно обеспечить равный вес голоса каждому избирателю. Если, допустим, в губернское со-

брание избирается по два депутата от уезда, то неизбежно некоторые из них будут представлять большее число жителей, а иные меньшее. Границы избирательных округов легко передвигать после каждой переписи, но не границы районов или городов.

### *3. Устройство местной власти*

В пределах каждого из 50-ти штатов США, местное самоуправление имеет, как правило, два уровня. Первый - это county, буквально - графство, которое, по старой русской терминологии, соответствует уезду, по советской - району. В США графств примерно три тысячи (не многим меньше, чем районов в СССР), причем на один штат приходится от 3 до 250. Средняя территория графства - несколько больше тысячи квадратных километров (это производная расстояния, которое за день можно было проехать на лошади). Население колеблется очень сильно, от нескольких сот человек в пустынных местностях до 8 миллионов в графстве Лос-Анджелес. Половина населения страны сегодня проживает в 150 из 3.000 графств, почему и формы их управления - весьма различны.

Управление графства, или уезда, было первоначально рассчитано на сельские условия и сводилось к элементарным функциям: полиция, суд, общественные работы (т. е. содержание дорог), запись актов гражданского состояния и актов владения недвижимостью. Потом к этому добавились переданные графствам штатные функции, такие, как здравоохранение, социальное обеспечение и агрономическая помощь. Управление графством обычно осуществляла выборная управа из трех-пяти человек, совмещавшая в себе и законодательную и исполнительную власть.

В сельских графствах такая система сохранилась и по сей день, в районах же крупных городов видны два явления: или управление графства атрофируется, передавая почти все свои функции находящемуся на его территории городу, или, наоборот, оно само обретает черты городского управления, а именно: выборный законодательный

совет и отдельную от него исполнительную власть с единоличным возглавлением и системой отраслевых управлений вплоть до комиссии по планировке, пытающейся согласовывать деятельность муниципалитетов на своей территории.

Так, в регионе большого Нью-Йорка уже к концу прошлого века город охватил пять графств, которые сегодня сохранились в его границах, в основном, как географические названия а не как самоуправляющиеся единицы. Но за пределами города такие графства, как Вестчестер, Нассау и Суффолк сами приобрели черты миллионных городов и соответственно изменили структуру своего управления.

После графства (уезда) второй уровень местного управления - это город, а в сельских и пригородных местностях, волость (town, township), по нынешней терминологии сельсовет. Города и волости обычно являются подразделениями графств, но они не находятся от них в иерархической зависимости, а делят различные функции между собой.

Происходит это следующим образом. Допустим, на территории графства находится город. Пусть он и небольшой, но у него есть свой городской совет, свой городской голова, своя полиция, пожарная команда и прочие ведомства. Некоторые функции, например, регистрация купли-продажи недвижимости, остаются в любом случае за графством. Другие функции в любом случае остаются на уровне городов или волостей: характерные примеры - пожарная охрана или сбор мусора. Наконец, какие-то функции делятся территориально: допустим, в пределах города действует его собственная городская полиция; в загородных волостях действует уездная полиция; на шоссежных дорогах, находящихся в ведении штата, действует штатная полиция. Отметим, что такое трехэтажное строение полиции (а если считать Федеральное Бюро Расследований, то и четырехэтажное) является американской особенностью: в Федеративной республике Германии, например, полиция принадлежит «землям» (эквивалент штата), а города, волости и села о собственной полиции отнюдь не помышляют.



Многоярусное строение относится не только к полиции. Так, в США есть парки, заповедники и леса национальные, принадлежащие непосредственно федеральному правительству; есть парки и леса штатные, принадлежащие штатам; есть парки уездные, особенно в окрестностях больших городов; и имеются парки местные, принадлежащие городам или волостям. Подобным же образом делятся и дороги: на дороги штатного, уездного и местного подчинения. Федеральное правительство оплачивает часть штатных дорожных расходов; штаты, в свою очередь, оплачивают часть дорожных расходов уездов, городов и волостей.

Волостное управление, характерное для сельских и пригородных районов, отличается от городского своей простотой; ряд функций, которые обычно исполняет город, там или отсутствуют, или исполняются на уровне уезда. В некоторых волостях, особенно в Новой Англии, сохранилась еще первичная форма демократии: сельский сход или общее собрание всех жителей, которое собирается раз в год и решает все существенные вопросы; повседневные дела ведет выборное правление.

Чаще встречаются различные формы представительной демократии, когда жители избирают депутатов в волостной совет. Надо подчеркнуть, что советы эти, как правило, небольшие - от пяти до семи человек. Даже в крупных городах в городском совете редко заседает более 30-ти человек. Это создает рабочие условия, которые трудно достигнуть, когда в горсовете заседает более сотни депутатов. Даже в Нью-Йорке новый, расширенный городской совет состоит всего из 51 депутата, то есть одного на 145 тысяч жителей. В противоположность депутатам федерального парламента, которые не имеют права вести никаких дел, помимо своей депутатской деятельности, депутаты штатных, уездных, городских и волостных советов заняты в первую очередь своими делами, часто адвокатской практикой, и лишь небольшую долю времени уделяют депутатской деятельности. Если попытаться извлечь некоторые уроки из опыта структуры городского самоуправления в США, то можно выделить четыре.

Первый - работоспособный городской совет должен быть небольшим, специалисты рекомендуют от 5 до 9 человек, за исключением самых крупных городов, где их число доходит до двух-трех десятков.

Второй касается способа выборов в городской совет. Первую половину XX века в США господствовала точка зрения, что за тот или иной список кандидатов в городской совет должны голосовать жители города в целом. Тогда каждый депутат чувствует себя представителем всего города и берется отстаивать определенную общегородскую политику, а не узкие интересы своего микрорайона. Но, начиная с 60-х годов, суды на такой способ выборов начали смотреть косо, поскольку он препятствует избранию представителей национальных и расовых меньшинств, сосредоточенных в определенных районах. Поэтому теперь более демократичными считаются выборы депутатов по районам, а не от города в целом. Возможен и смешанный вариант - часть депутатов выбирается по районам, а часть - населением города в целом.

Третий вопрос касается возглавления городской администрации. За годы начавшихся в самом начале XX века реформ отошли в прошлое системы типа «слабый мэр», при которых городское управление возглавляла выборная коллегия или комиссия, совмещавшая как законодательную, так и исполнительную власть. Сегодня господствующими являются две системы: «городской совет-сильный мэр» и «городской совет-управляющий». Обе системы стремятся провести простые и четкие линии ответственности. При первой - городской совет является органом законодательным, а мэр выбирается всем населением отдельно как глава исполнительной власти. При второй - мэр лишь председательствует в городском совете; исполнительную власть совет поручает платному специалисту - управляющему. В США вторая система распространена в среднего размера городах, где выборному мэру может не хватать административного опыта. Первая система принята в крупнейших городах, где мэр - видный политический деятель и всегда может себе найти профессионально компетентных

помощников. В Германии система профессионального управляющего принята в землях, бывших под британской оккупацией. В других землях принята или система "сильный мэр", который, однако, в отличие от США, наряду с возглавлением исполнительной власти председательствует и в городском совете, или прусская система избираемого городским советом магистрата как коллегиального органа управления.

Четвертый вопрос касается референдумов как самой прямой формы народного волеизъявления. На уровне штатов, референдумы в США используются широко; для одобрения выпуска штатных займов они даже обязательны. Но референдумы по инициативе самих граждан остаются вопросом спорным, их любят в Калифорнии, но недолюбливают во многих других штатах. Основной аргумент против них тот, что это законодательство, лишенное законодательной компетентности, что оно ставит палки в колеса деятельности законодательной палаты. Потому современные городские хартии референдум на уровне муниципалитета допускают, но обуславливают его трудноисполнимыми требованиями, такими, как петиция за подписью 10 или 15% избирателей.

Помимо волостей и городов в США существует еще третья форма подразделения графств (уездов), а именно - особый округ, в ведении которого находится лишь одна функция - например, народное образование на территории одной или нескольких волостей. Школьные особые округа возникли в XIX веке как попытка оградить образование от партийной политики: выборное правление нанимает директора и непосредственно имеет дело с педагогами. Там, где есть школьные округа, город или волость вопросами народного образования не занимаются.

Другие примеры особого округа - канализация на территории водного бассейна, границы которого не совпадают с городскими границами, управление парками в определенном экологическом районе, управление общественным транспортом, охватывающее территорию нескольких муниципалитетов.

Если исключить 43 тысячи особых округов, которые перекрывают волости и муниципалитеты, то на каждую из 35 тысяч самоуправляющихся единиц в США приходится, в среднем, около 7 тысяч жителей. Это примерно то же, что в ФРГ, где на 61 миллион населения имеется 8,5 тысяч Gemeinden или общин, то есть около 7 тысяч на общину. В Советском Союзе городов, поселков городского типа и сельсоветов 48 тысяч, что дает немногим менее 6 тысяч на общину. Разница в том, что сельсоветы - более дробные, чем на Западе, города - более крупные, но зато в крупных городах есть деление на районные советы, которого в США и в ФРГ нет.

Средние цифры, однако, часто обманчивы. В США наряду с чрезмерной раздробленностью местного самоуправления существует и чрезмерная концентрация. Нью-Йоркский регион служит ярким примером. Сам город Нью-Йорк представляет собой одну единицу местного самоуправления, - а в нем живет 7 с лишним миллионов жителей. За чертой города, в радиусе примерно 160 километров, живет еще 13 миллионов жителей - а на них приходится 780 муниципалитетов и 1.380 особых округов. Вероятно, ни та, ни другая крайность не способствует эффективности местного самоуправления. Но измерить производительность государственных учреждений очень трудно, даже в рыночных условиях. В целом, в США в штатном и местном управлении состоит 13 миллионов служащих, то есть примерно 57 на тысячу жителей. Эта же пропорция соблюдена и в пригородах Нью-Йорка; в самом городе она выше - 67 служащих на тысячу жителей. Что не доказывает низкой производительности, поскольку город несет больше административных функций, чем пригородные самоуправления.

Тем не менее, сам город как административная единица, вероятно, слишком велик - ведь никаких подразделений, никаких районных советов в нем нет - а 780 муниципалитетов вокруг него - слишком малы. Но политическая инерция сильна, и никаких перспектив изменить политическую карту района в обозримом будущем нет. Единственное, на что можно рассчитывать - это усиление

роли самих штатов и пригородных уездов за счет находящихся в них мелких муниципалитетов. Но последние за свое самоуправление держатся и никому его уступать не желают. Особенно высоко они ценят свою власть «зонирования», то есть контроля над застройкой. Устанавливая низкие нормы плотности застройки при довольно высоких ценах на землю, они стараются привлечь к себе зажиточные семьи и престижные фирмы, не пуская в то же время «нежелательный элемент». Но с точки зрения региональной - как рыночной эффективности, так и социальной политики - их местничество часто бывает контрпродуктивно.

Проблема пригородной раздробленности несколько сглажена в штатах юго-запада, где растущие крупные города имеют право аннексировать прилегающую к ним территорию. В Канаде эту проблему по-своему решило Торонто, создав в 1953 году региональное правительство, так называемый Муниципалитет Торонтской метрополии, в состав которого входят и центральный город, и пригороды. Но на американский вкус это решение слишком радикально. Впрочем, даже в таком образцовом государстве, как ФРГ, попыток регионализации местного самоуправления не наблюдается, если не считать чисто административные так называемые транспортные объединения (Verkehrsverbund, или VV) вокруг крупных городов. Они дают пассажирам всех видов общественного транспорта - государственных железных дорог, городских метро, трамвая и автобуса - возможность пользоваться сквозными билетами по единому тарифу. В Америке похожие региональные транспортные ведомства существуют как ведомства штатов или как особые округа, о которых речь шла выше.

Наконец, рассмотрев два уровня местного управления, уездный и муниципально-волостной, необходимо упомянуть о самом низком, об уровне микрорайона, соседства, квартала или даже крупного здания. На этом уровне в Америке действуют так называемые «соседские объединения» и «объединения совладельцев». Объединения эти не государственные. Они добровольны в том смысле, что человек не обязан покупать себе недвижимость, находящуюся

в ведении того или иного объединения. Большинство недвижимости такими объединениями не охвачено. Но, если уж человек ее купил, он обязуется подчиняться правилам объединения относительно разных бытовых деталей (держания собак, громкой музыки, стоянки автомобилей) и платить взносы за услуги, которые объединение оказывает своим членам: очистка снега и уборка мусора, содержание и покраска лестниц и коридоров, содержание детской площадки, бассейна, порой дополнительная охрана, помимо городской полиции. Объединения такого рода организуются по одобренному штатом типовому уставу, который обычно предусматривает годовое собрание всех владельцев и выборы правления из трех-пяти человек, служащих безвозмездно и нанимающих управдома и других платных работников. Услуги, оказываемые объединениями, частично заменяют услуги, которые иначе должно бы было обеспечивать муниципальное управление. Этим они облегчают его бюджет. Поэтому такие объединения можно рассматривать как часть системы городского самоуправления. В этой связи интересно, что согласно новому «Закону об общих началах местного самоуправления в СССР» (апрель 1990) в систему местного самоуправления входят «советы и комитеты микрорайонов, жилищных комплексов, домовые, уличные, квартальные, поселковые, сельские комитеты и другие органы».

Для российских условий такие объединения интересны как способ содержания общих элементов здания, квартала или микрорайона, когда квартиры в нем проданы в собственность жильцов. Если в многоквартирном здании все квартиры распроданы жильцам, всегда встает вопрос: кто будет следить за лифтом, за лестницами, за крышей, за отоплением, за газоном. В Германии это часто делает бывший владелец всего здания, распродавший квартиры в нем. Если бывшим владельцем был город или какое-либо государственное ведомство, общие элементы могут на время оставаться за ним. Но, чтобы максимально приблизить ответственность за состояние их ближайшего окружения к самим жильцам, следует обратить внимание на

опыт «объединений совладельцев». Поскольку в интересах каждого владельца, чтобы продажная цена на его квартиру оставалась высокой, он будет заинтересован и в том, чтобы ближайшее окружение его квартиры выглядело благоустроенно.

#### *4. Источники налогообложения*

Теория налогообложения - вопрос очень сложный, на эту тему читаются университетские курсы и пишутся докторские диссертации, здесь его можно наметить лишь самыми общими штрихами. В США существует три главных источника государственных доходов. Первый - это подоходный налог, который платят как лица, так и предприятия. Это - основной источник финансов федерального правительства. Второй источник - налог с розничной торговли. Его используют в первую очередь штаты. Правда, всё большее число штатов вводит кроме того свой, штатный, подоходный налог. Третий источник - это налог с недвижимости. Им пользуются города и другие единицы местного управления.

Налог на недвижимость - весьма распространенный способ финансового обеспечения местного самоуправления. В дореволюционной России его использовало земство, в нынешней Германии он дает около 10% дохода местному самоуправлению. Но в США он всё еще составляет более 25% дохода местного самоуправления, что дает последнему отрицательные стимулы. Например, пригородному муниципалитету не выгодно иметь на своей территории парк: парк налогов с недвижимости не платит. Не выгодно иметь среди жителей большие семьи с детьми, особенно бедные: налогов будут платить мало, а обучение детей обойдется дорого. Зато выгодно иметь конторские здания: они детей в школу не посылают. Тот факт, что разброс конторских зданий по пригородам с точки зрения транспорта вовсе неэффективен, муниципалитеты не волнует: дорогами и общественным транспортом ведают не они.

Есть точка зрения, что налог на недвижимость в прин-

ципе должен быть ограничен налогом на землю, а не на здания. Облагая здание налогом, муниципалитет повышает стоимость его эксплуатации, делает его ремонт менее выгодным и дает стимул располагать его где-то за городом, где ниже налоги. Между тем, участок земли вынести за город невозможно: чем выше налог на него, тем больше владелец будет стремиться сделать плотность застройки, чтобы окупить стоимость земли.

Таким образом, налог на землю создает центростремительные стимулы в городском развитии, а налог на здания создает стимулы центробежные. Эту закономерность увидел еще 110 лет назад американский экономист Генри Джордж. Сегодня, когда центробежные силы в американских городах приняли разрушительный характер, его идеи живо обсуждаются; в Австралии и в некоторых американских городах (Питтсбург) их стараются провести в жизнь. Социальное обоснование их такое: здание создано трудами его владельца, и облагать владельца налогом за то, что он построил здание - несправедливо. Между тем, стоимость участка земли в городе владельцем ее не создана; она создана обществом, сделавшим этот участок доступным, построившим вокруг него город. Потому и рента с участка, по справедливости, принадлежит обществу, и может быть отчуждена в форме налога.

Думая о новых формах налогообложения, без которых России не обойтись, не надо упускать из виду это обстоятельство. Для чего, конечно, надо сначала восстановить реальную, рыночную цену на землю.

### *5. Регулирование городской застройки*

Из сказанного выше очевидно, что сама система налогообложения может быть - часто неумышленно - фактором регулирования городской застройки. Сознательно она в этом качестве используется в виде налоговых льгот - чтобы поощрять застройку в определенных местах. И наоборот - такие кажущиеся социальными мероприятия, как контроль над уровнем квартирной платы, тормозят приток



капитала и ведут к преждевременному обветшанию жилого фонда. Но это - факторы косвенные. Прямые средства формирования застройки - административный план-приказ в государственном секторе и регулировка частного сектора.

#### *а) Государственный сектор*

Штаты и органы местного самоуправления в США имеют право проектировать и строить общественно-необходимые сооружения путем административного плана-приказа и конфисковать необходимую для этого частную собственность. Но процесс этот огражден рядом мер защиты собственности. Так, конфискация допускается лишь при условии, что ее необходимость для общества можно (если надо) доказать на суде и что владельцу будут возмещены убытки по рыночным ценам. Перед началом строительства в затронутых проектом местах проводятся слушания, на которых может выступать каждый желающий. Согласно законодательству 1969 года, если в проекте замешаны федеральные деньги, то на слушаниях должен быть представлен объемистый документ, так называемое «заявление о воздействии на окружающую среду» (environmental impact statement). В нем излагаются и обосновываются как положительные, так и отрицательные последствия предполагаемого строительства. Ни протесты публики на слушаниях, ни даже возвращение «заявления о воздействии» на доработку в судебном порядке юридически не достаточны, чтобы остановить проект. Но они создают политическую возможность привлечь общественное внимание и возбудить ажиотаж, в результате которого проект может претерпеть изменения или вообще быть положен под сукно.

Принимаются и другие меры «гражданского соучастия» в бюрократических решениях - в основном приглашение представителей общественности в различные комиссии и созыв предварительных слушаний. Основная мысль здесь следующая: законодательная палата штата или города ассигнует бюджет по общим категориям - она не должна вдаваться в детали каждого проекта. Это дело специали-

стов исполнительных ведомств. Но специалистам полностью доверять нельзя - они должны быть способны оправдать свой проект перед населением, которому с этим проектом придется жить.

Государственное строительство в США ограничено сравнительно немногими типами сооружений: это в основном автодороги и общественный транспорт, канализация и водопровод, общественные здания типа школ, больниц, административных и спортивных помещений, плюс социальное жилищное строительство. Последнее не играет такой существенной роли, как в Европе, составляя около 3,5% всего жилья.

Все эти виды государственного строительства оживились в 50-е годы когда в порядке борьбы с «трущобами» были проведены так называемые «законы городского обновления». Суть их в том, что государство (в данном случае город с помощью федеральных средств) имеет право принудительно выкупать землю у прежних владельцев и сносить дряхлые здания. Таким образом предполагалось преодолеть чрезмерное дробление участков и завышенные цены на землю, мешавшие ее по-новому использовать в старых городских районах. Когда таким образом расчищен большой участок земли, город на нем может по-новому начертить улицы и создать точный план желаемой застройки. Заметим: здесь город сам планирует застройку собственной земли, а не пишет правила для строительства на частной земле. Потому конституционные ограничения здесь ни при чем, у города руки развязаны, он планирует, как хочет, в административном порядке. Создав план реконструкции, он ищет застройщика или застройщиков, готовых его осуществить. Обычно это делается конкурсным путем, при помощи торгов. Есть и такой вариант: составить план застройки очищенного участка предоставляется в конкурсном порядке частным застройщикам. Тому из них, кто представит лучший план и наиболее выгодные городу условия, тому и поручается осуществление проекта. В любом случае, осуществленный проект остается уже в частных руках. Что касается земли под ним, приобре-

тенной первоначально с помощью государственной субсидии, то есть два варианта: или она тоже переходит новому владельцу, или город оставляет ее за собой и сдает застройщику в аренду, допустим, на 90 лет.

Такая аренда может быть городу очень выгодной. Например, в 80-е годы на государственной земле по созданному государственными ведомствами плану был построен комплекс Battery Park City у стрелки Манхэттена. Строила его частная канадская фирма Olympia York, и находятся там престижные конторские здания и дорогие квартиры. Аренда земли под ним приносит городу многомиллионные доходы, которые он использует на социальное жилищное строительство в районах, куда частный капитал отважиться не рискует.

Однако в Америке такая практика - исключение. Не в пример шведским городам, американские не стремятся стать землевладельцами и даже в районах городского обновления, где земля ими была выкуплена, возвращают ее со временем в частные руки, ограничиваясь причитающимся им налогом с недвижимости.

Казалось бы, что муниципальное владение землей в черте города имеет два преимущества: дает городу большую свободу планировки; дает городу всю земельную ренту, а не только определенную налогом на недвижимость ее часть. Но на деле эти преимущества отнюдь не бесспорны.

Свобода планировки, которой город обладает на принадлежащей ему земле, далеко не всегда используется во благо. Опыт реконструкции городов в США при помощи правительственных программ с 50-х по начало 70-х годов дал мало запоминающихся архитектурных ансамблей и зачастую не укрепил, а разрушил социальную ткань городских центров. Известны случаи, когда высотные жилые дома для малоимущих, даже архитектурно элегантные, пришлось потом взрывать, так как они стали рассадником социальной патологии (Пруитт-Игло в Сент-Луисе, комплексы в Ньюарке). Реальное обновление городских центров наступило, когда туда потек частный капитал.

Владея всей землей на своей территории, город мог бы с нее получать всю ренту лишь в том случае, если бы арендная плата за каждый участок пересматривалась непрерывно - в условиях состязательных торгов. При множестве арендаторов и едином владельце это просто административно нереально. При рассредоточенном же частном владении, когда каждый у каждого в любой момент может купить любой участок, складывается реальный рынок, устанавливающий реальную цену на землю. Облагая ее соответствующим налогом, город может чисто финансово выиграть больше, чем стремясь к монопольному землевладению.

Общий объем государственного строительства в США, как и в других странах с рыночной экономикой, - сравнительно невелик. Основной объем строительства - от 70% до 80% капитальных вложений - находится в частных руках. И местное самоуправление это частное строительство регулирует.

#### *б) Частный сектор*

Регулирование частного строительства государством подразумевает некоторое ограничение частновладельческих прав - без денежного возмещения. Допустимость такого ограничения с точки зрения конституционной была признана в США с самого начала, когда дело касалось здоровья и безопасности граждан. Было признано, что так называемая полицейская власть местного управления может вмешиваться в дела частного владельца если, допустим, на его участке обнаружена зараза или карниз его дома грозит обвалиться на головы прохожих. По мере роста городов в XIX веке начали создаваться обязательные строительные нормы, отражающие соображения гигиены и пожарной безопасности. Сегодня многие из этих норм и стандартов устанавливаются на штатном уровне, но следит за их исполнением строительное управление на уровне муниципалитета. Прежде чем что-либо строить, вы должны представить ему необходимые чертежи и получить от него

разрешение. Прежде чем в дом смогут въехать жильцы, то же управление должно вам выдать удостоверение («выписать ордер») на занятие помещения.

Но регулировка застройки сегодня не ограничивается пожарными, гигиеническими и другими строительными нормами, а в значительной мере определяет назначение, размеры и форму самого здания на каждом отдельном участке. Осуществляется это путем так называемого «закона о зонировании», которым теперь обладает большинство муниципалитетов, где есть строительная деятельность.

Первый в США закон о зонировании был введен в Нью-Йорке в 1917 году. С того времени его формообразующее влияние на знаменитый силуэт города было очень сильным. Этот закон запретил постройку зданий, стены которых поднимались прямо от тротуара на десятки этажей, и ввел обязательные уступы, характерные для нью-йоркских небоскребов в течение 43 лет. Новый закон 1960-го года сократил допустимую плотность застройки и дал архитекторам большую свободу размещения объема здания на участке. Последующие дополнения к закону способствовали созданию интересных пешеходных пространств - как крытых, так и открытых.

Каждый закон о зонировании, во-первых, разделяет территорию каждого муниципалитета на «зоны», согласно преимущественному землепользованию: жилые зоны разной плотности застройки, зоны рознично-торговой и конторской застройки, зоны промышленные. Закон перечисляет виды деятельности, которые в каждой из этих зон разрешены. Первоначальным импульсом было - предотвратить размещение шумных или вредных предприятий в жилых районах.

Во-вторых, закон устанавливает допустимую плотность застройки в каждой «зоне», обыкновенно как кратное размера участка: общая площадь всех этажей здания не может превосходить площадь участка в установленное число раз. Для жилых зданий в черте города Нью-Йорка этот фактор колеблется от 0,5 на окраинах до 7,5 в центре; для конторских зданий он достигает 15.

В-третьих, закон о зонировании регулирует размещение здания на участке - отступ от красной линии\*, от соседних зданий, минимальные размеры двора.

В-четвертых, он регулирует высоту фасада, высоту всего здания и отступы, определяющие тень, которую бросает здание. Ставшая фольклором законодательная риторика гласит, что соседи имеют право на «свет и воздух».

Кроме того, регулировке часто подлежат стоянки для автомашин при здании, подъезды для грузовиков, размеры и форма афиш и другие элементы. Глядя на Америку, видишь, что далеко не все муниципалитеты регламентируют размеры и форму афиш и реклам, и если да, то далеко не повсеместно, а лишь в жилых зонах. Но во всяком случае для тех, кто их регламентировать желает, нужный юридический инструмент есть. (Поблизости автострад действуют особые правила, частично ограничивающие рекламу и афиши.)

Конкретным приложением закона о зонировании обычно занята особая комиссия, имеющаяся при каждом муниципалитете. Часто существует еще и отдельная комиссия по апелляциям, рассматривающая частные случаи, когда требования закона о зонировании застройщику в тягость.

Очевидно, что довольно детальное определение формы и расположения здания, которого обычно требует закон о зонировании, имеет лишь весьма косвенное отношение к заботе о «здоровье и безопасности» граждан, с чего, собственно, регулировка частной застройки началась. Но в конституции, помимо здоровья и безопасности, говорится еще и об «общем благосостоянии» граждан, и, начиная с 20-х годов, американские суды признали, что правила зонирования являются конституционно оправданным вмешательством в частные права, в интересах «общего благосостояния». Начиная с 60-х годов, конституционными

---

\* *Красная линия* - в градостроительстве: условная граница, отделяющая проезжую часть улицы, проезда, магистрали, площади от территории застройки. - Б. Э. С., 4-е изд., М., 1986 г.

признаны даже чисто эстетические правила, как, например, правила, применяемые для новостроек в зонах исторической охраны, где требуется оиределенный подбор материалов, соответствие высоты карнизов, и тому подобное.

И всё же американское законодательство отличается от европейского тем, что проводит более осторожную грань между регулировкой и конфискацией. Так, по американским понятиям, закон о зонировании не может вообще запрещать любое строительство на участке. Закон может требовать очень низкую плотность застройки - допустим, максимум один многоквартирный дом на гектар или даже на десять гектаров - в горной местности. Но он не может вообще запрещать застройку участка - это американские суды рассматривают, как конфискацию имущества. Они говорят государству: хотите запрещать застройку - пожалуйста, но тогда потрудитесь сами участок купить или, по крайней мере, выкупить права на застройку. Выкуп прав на застройку применяется там, где желательно, чтобы земля оставалась в частном пользовании - в виде сада, поля или пастбища, - но чтобы на ней не было зданий. Подобное относится и к охране исторических памятников. Если владелец может на суде доказать, что он экономически не в состоянии содержать принадлежащее ему здание, которое государство поставило под охрану как памятник, то суд дает государству на выбор: или выкупить здание - или дать разрешение его снести. Есть, впрочем, и третий вариант: его может купить владелец соседнего участка, которому в награду за то, что он будет заботиться о памятнике, дается «льгота по зонированию» (zoning bonus): он сможет на своем участке воздвигнуть здание более высокой плотности (и таким образом более доходное), чем мог бы при обычных условиях. Этот прием широко используется в Нью-Йорке, где под исторической охраной находятся как отдельные здания, так и целые характерные своим обликом кварталы.

Помимо щепетильного отношения к конфискации, американские суды также требуют, чтобы законы о зонирова-

нии были обоснованы, т. е. лишены «произвола и каприза». Таким обоснованием признается генеральный план города или местности.

Теоретически закон о зонировании является лишь инструментом осуществления генерального плана. Но на практике от каждого из тысяч мелких муниципалитетов обоснованного генплана требовать трудно. Генпланы их обычно состоят в том, что существующие районы закрашиваются под цвет существующей там застройки и расширяются немного по краям: своего рода «планирование от достигнутого». Что касается новой застройки, то решающую роль играют два фактора: а) стремление сохранить существующий характер существующих районов, не допускать, например, многоэтажные дома среди односемейных, и б) фискальные соображения - т. е. какого рода застройка потребует минимума городских услуг и принесет максимальный доход в виде налогов.

На деле это часто ведет к тому, что зонирование деформирует рынок недвижимости. В частности, искусственно занижает плотность застройки и поднимает цены на дешевое жилье, разрешение на постройку которого порой не желает давать ни один муниципалитет. Здесь в ответ на жалобы пострадавших опять же вмешиваются суды. В штате Нью-Джерси, например, суды устанавливают муниципалитетам квоты: сколько они обязаны разрешить строить дешевых квартир (заметим: обязаны не сами строить, а только разрешить коммерческим застройщикам строить). Если в 20-е годы зонирование рассматривалось как явление прогрессивное и надежда будущего, то сегодня на него многие смотрят как на явление, тормозящее прогресс и социальную справедливость, с вожделением взирая на свободный рынок на землю, который еще сохранился, скажем, в городе Хьюстоне, в Техасе, где никакого зонирования нет.

Если не брать Хьюстон за идеал, то желательной была бы, вероятно, двухступенчатая система регулирования застройки. Действительно, местные дела (как и на каком углу разрешить построить бензоколонку, можно ли в жилом доме открыть магазин и какую на него можно



вешать афишу) принадлежали бы низшему уровню самоуправления. Стратегические же решения - о крупных концентрациях рабочих мест, об общей плотности жилой застройки и распределении дешевых квартир - оставались бы за областными, региональными органами.

Сегодня в США наблюдается такое положение, что сумма решений мелких пригородных муниципалитетов произвольно диктует стратегию пригородного развития, лишённую целостного замысла, в то время как плановые комиссии крупных городов перегружены мелкими решениями о бензоколонках и прочем, и у них руки не доходят до стратегических решений.

Кроме зонирования, в формировании облика американских пригородов важную роль играют еще так называемые «положения о разделе участков» (subdivision regulations). Если застройщик осваивает большой участок земли, на котором будет построено несколько домов, то план их расположения должен сперва быть утвержден согласно «положению о разделе участков».

Здесь речь идет об инженерных сторонах дела, которых не касается закон о зонировании, таких, как дренаж, максимальные уклоны насыпей, ориентация зданий и, что очень важно, продольный и поперечный разрез и расположение улиц, если проект требует новых улиц. Как правило, американские муниципалитеты, особенно в пригородах, сами новых улиц не строят. Расходы по прокладке новых улиц и связанных с ними коммуникаций несет застройщик.

Когда объект готов, застройщик безвозмездно передает улицы во владение муниципалитета. Поскольку муниципалитету их потом придется содержать, он кровно заинтересован в том, чтобы построенные они были прочно и правильно и много лет не требовали ремонта. Заинтересован муниципалитет и в том, чтобы со временем улицы на данном участке стыковались с улицами на соседнем, чтобы они создали какую-то осмысленную сеть. Детального плана будущих улиц у муниципалитета обыкновенно нет, детали решает застройщик, но общее представление о рас-

положении, по крайней мере, главных улиц есть, и соответственно ему и утверждаются или возвращаются на доработку проекты застройщиков.

Помимо улиц, «положения о разделе участков» теперь зачастую регулируют открытые пространства и охрану существующей на участке растительности. В ранний период их применения, с 30-х по 60-е годы, эти «положения» создали весьма монотонную пригородную фактуру, миллионы односемейных домов на бесконечных криволинейных улицах, каждый домик в центре своего участка, с обязательным газоном, но без связи с первоначальной топографией местности и ее флорой. Это было терпимо, пока зонирование требовало сравнительно малых участков - типично, около одной десятой гектара (четверть акра) на дом, - но когда пригородные нормы были подняты до полгектара и выше, такая застройка стала вовсе нерациональной. Сегодня широко принят принцип консолидации открытых пространств. Это значит: если, допустим, закон зонирования требует, в среднем, минимум полгектара земли на дом, и застройщик строит на участке в пять гектаров 10 домов, то он имеет право сосредоточить эти дома в одном углу участка, дав каждому по четверти гектара. Оставшиеся два с половиной гектара сохраняются в естественном виде, как незастроенное «открытое пространство». Оно может содержаться или совместно владельцами 10-ти домов, или быть передано во владение муниципалитета, чему муниципалитет обычно сопротивляется (лишняя забота). Таким образом, получить одобрение плана застройки участка группой домов - вещь не простая. В наши дни она еще осложняется штатным законодательством - например, об охране болот и других водных пространств. Если часть вашего участка признана болотистой, то засыпать ее, или осушать, или как-либо еще использовать вы не имеете права, и тут никакие конституционные гарантии неприкосновенности собственности не помогут.

## *6. Взаимодействие частного и государственного начала*

Из сказанного выше достаточно ясно, что инициатива в развитии города принадлежит частному застройщику. Он следит за рынком, изучает рынок, смотрит, на что есть спрос: на конторские помещения? на помещения для розничной торговли? на квартиры? для больших семей или маленьких? для какого уровня доходов?

Затем он смотрит на то, какие участки земли у него есть и какие он может купить. Какие из них сочтут привлекательными его будущие клиенты как место для работы или жительства? И на какие из них цена достаточно низкая, чтобы, построив здание, можно было получить прибыль, продав или сдавая в аренду помещение по сходной цене? Какие из них зонированы подходящим образом, а где зонирование надо будет попробовать изменить?

Создав себе картину будущего здания и финансовый план, застройщик отправляется в банк, чтобы выяснить возможность получения ссуды. Заручившись заинтересованностью банка, он нанимает архитектора. На основе архитектурного проекта он обращается к подрядчикам за сметой, а к муниципальным властям за разрешением на постройку. Последние, убедившись в том, что проект соответствует местному закону о зонировании, положению о разделе участков, штатным строительным нормам и нормам пожарной охраны, штатным постановлениям об охране окружающей среды и прочим имеющим отношение к делу узаконениям, такое разрешение выдают.

Получив разрешение от города и выбрав себе подрядчика, предложившего наиболее выгодную смету, застройщик возвращается в банк и получает обещанный заем. По займу нужно платить каждый месяц, а начатое только что здание не приносит дохода. Поэтому подрядчик находится под сильным давлением - закончить постройку как можно скорее. В США четко виден разрыв между сроками постройки частных сооружений, строящихся на занятые в банке деньги, и сроками постройки сооружений, кото-

рые своими «бесплатными» деньгами оплачивает государство.

Конечно банк застройщику в ссуде может и отказать - у банка свои специалисты по недвижимости, и они могли решить, что его финансовый план не реален - что по предлагаемой им цене в таком месте, где он собрался строить, никто у него квартир снимать или покупать не будет. Строительные ссуды банк обыкновенно выдает в виде закладных, так что в случае, если застройщик обанкротится, банк останется владельцем его здания. Таким образом, банк - одно из важных действующих лиц в городской застройке, он участвует в решении - где и что строить. В семидесятые годы банки часто обвинялись в том, что они слишком рискованными считали вклады в негритянские районы и таким образом способствовали их упадку. В восьмидесятые годы, наоборот, массовые банкротства сберегательных касс объяснялись, в первую очередь, неосторожными капиталовложениями в недвижимость, особенно на юго-западе страны.

Очевидно, что в оценке рынка и риска может ошибиться и застройщик, и банк. Строительство больше, чем другие отрасли экономики, подвержено конъюнктурным циклам, в частности, потому, что оно зависит от текущих процентных ставок, от стоимости займов. Застройщик обыкновенно страхуется тем, что для каждого крупного проекта создает отдельную подсобную фирму; в случае банкротства он потеряет лишь эту фирму, а не всё свое имущество. Банки же страхует особое федеральное ведомство - точнее, оно страхует вклады до 100 тысяч долларов. При банкротстве банка страдают лишь крупные вкладчики.

Ошибки в оценке рынка - это чаще всего ошибки во времени, люди начинают строить накануне конъюнктурного спада. Это не значит, что здание вообще не понадобится, а только лишь, что оно пару лет пропустует, прежде чем будет полностью занято. Главным же регулятором размещения зданий в пространстве является, бесспорно, цена на землю. Она в первую очередь определяет плотность застройки.

Здесь встает вопрос: а как же насчет закона о зонировании, который эту плотность регулирует? Ответ примерно такой: цена на землю - это как бы несущая волна, а закон о зонировании - ее модуляция. Закон применяется к реальности рынка, лишь частично ее видоизменяя.

Если, допустим, закон допускает высокую плотность застройки там, где на нее нет спроса, то плотность реально построенных зданий будет ниже дозволенной. Там же, где дозволенная плотность ниже той, на которую есть спрос, естественно возникает давление - поднять дозволенный потолок. Этому давлению можно сопротивляться, а можно его использовать и, так сказать, «продавать» высоту дозволенного потолка в пользу города и общества в целом.

На этом и основаны «льготы по зонированию», о которых упоминалось выше. Поясним на примере из нью-йоркской практики. Допустим, закон допускает в Манхеттене 15-кратное превышение площади конторского здания над площадью участка. То есть, если половина участка занята под здание, то разрешено 30-этажное здание без уступов. Но если застройщик за свои средства придаст своему зданию определенные общественно-полезные черты, как то: расширит вход в метро, создаст крытое пешеходное пространство, малый парк или возьмет под свое попечение исторический памятник, то ему за это будет разрешено превышение площади здания над площадью участка вплоть до 20-кратного, т. е. до 10 лишних этажей. Для получения такой льготы требуется особое разрешение. По существу, город с застройщиком торгуется: мы вам разрешим строить выше, а что вы нам за это готовы дать? Те застройщики, которые не желают участвовать в волоките переговоров с городом - строят дозволенный законом минимум.

Таким образом административное начало не командует рынком, а лишь частично видоизменяет его, причем оно может делать это рыночным же способом - обусловленной продажей прав на застройку. Последняя теперь применяется все шире и в пригородах - на том основании, что оп-

ределенный уровень частной застройки требует от государства определенных расходов. Чтобы не исказить рынок субсидиями, расходы эти должен нести застройщик.

Если цена на землю - главный регулятор плотности застройки и формы городского расселения, то, естественно, интересно знать, что же цену на землю определяет? Определяют ее, в принципе, два фактора: качества самого участка и его доступность, то есть местоположение по отношению ко всем другим участкам.

Качество или привлекательность самого участка - понятие достаточно простое: для сельскохозяйственного участка - это плодородие почвы, для городского - это характер грунта, вид с участка и «престижность» района и так далее.

Решающим в цене участка является его доступность. Как далеко от него до рабочих мест, до каких скоплений рабочих мест, какого характера рабочих мест; как далеко от него до магазинов, до школ, до парков и прочих заведений, которыми пользуются жители? Причем «как далеко» означает не столько расстояние, сколько расход времени на «средневзвешенном» виде транспорта, равно как и предрасположение жителей пользоваться этим транспортом.

Очевидно, что местоположение по отношению к ключевым районам города и транспортная связь с ними решающе влияют на цену на землю. Транспортная же связь создается государственными капиталовложениями. Так, государство влияет на цену не только непосредственно, регулируя дозволенную плотность застройки, но и косвенно, создавая пути сообщения, которые, делая участки доступными, в свою очередь определяют их привлекательность для покупателя. Эта обратная связь - весьма существенна. Она говорит о том, что рынок на землю существует не на пустом месте, а в рамках условий, созданных деятельностью всего общества, в том числе государственных инстанций.

## *7. Технология транспорта и форма расселения*

Если цена участка зависит в первую очередь от его транспортной доступности, то, следовательно, она зависит и от господствующей технологии транспорта. Введение нового вида транспорта меняет топографию цен на землю, а через них и плотность расселения. Чтобы понять, как это происходит, следует принять на веру простую гипотезу: город - это аппарат для связи между людьми. Люди селятся в городе, а не в деревне, чтобы иметь потенциальную возможность контакта с большим количеством других людей. Не обязательно непосредственно, но опосредствованно, через предприятия и учреждения, которым в свою очередь требуется доступ к широкому кругу потенциальных сотрудников и специалистов. Потребность в потенциальных контактах тем больше, чем сложнее структура общества, чем более оно специализировано.

Возьмем город середины XIX века, в котором люди передвигались преимущественно пешком, допустим со скоростью 6 км/час, то есть за полчаса проходили 3 километра. Таким образом, квадрат расстояния, достижимого за полчаса - 9 квадратных километров. Допустим далее, что плотность населения в этом городе была 66 тысяч жителей на квадратный километр. При такой плотности в пределах получаса ходьбы, человеку были доступны примерно 600 тысяч других жителей.

Теперь посмотрим на город, в котором появился общественный транспорт. Не забудем, что хотя поезда и трамваи могут ходить с большой скоростью, до них еще надо дойти, их надо ждать, они делают остановки, занимают время и пересадки. Можно предположить, что скорость внутригородского передвижения увеличилась вдвое, до 12 км/час. Таким образом, квадрат расстояния, преодолимого за полчаса, увеличился до 36 квадратных километров. Если нам по-прежнему требуется доступность 600 тысяч жителей в пределах получаса, то необходимая плотность населения уже не 66 тысяч на квадратный километр, а только 17 тысяч.

Наконец, совершим третий технологический скачок - к автомобилю. Допустим, он движется со скоростью 40 км/час, проходит в среднем 20 километров за полчаса. Квадрат этого расстояния - 400 квадратных километров. При плотности населения всего в 1,5 тысячи на квадратный километр, за полчаса достижимы всё те же 600 тысяч жителей!

Все принятые здесь цифры сугубо условны, но верен их относительный масштаб. Плотность в 1,5 тысячи жителей на квадратный километр (в пределах более ли менее компактного расселения) характерна для современной распыленной, обслуживаемой исключительно автомобилем, пригородной застройки в США. Плотность же порядка около 17 тысяч жителей на квадратный километр характерна для крупных городов Германии 1930-х годов или Москвы 1956 года. Очевидно, что в смысле возможностей потенциального контакта с другими жителями, население распыленных американских пригородов живет не хуже, чем жило население традиционных крупных городов первой половины нашего века. А последнее жило не хуже, чем население самых плотных городских центров пешеходной эпохи XIX века - Парижа или Нью-Йорка. Понятие «плотности населения на квадратные полчаса» может с первого взгляда показаться надуманным, но именно оно, а не физическая плотность населения, дает представление о том, насколько эффективно функционирует город в качестве «аппарата для связи между людьми».

Надо оговориться, что введение нового, более быстрого вида транспорта не обязательно ведет к понижению физической плотности застройки. Оно может при сохранении существующей плотности повысить число возможностей, достижимых в пределах получаса, поднять их выше нашей условной нормы в 600 тысяч. Но, поскольку скученность людям в общем неприятна, и они предпочитают известный простор, тенденция последнего столетия в общем сводилась к тому, что транспортные усовершенствования вели к рассредоточению жилой застройки города: параллельно росту городов плотность населения в их старых



районах снижалась. Возрастала плотность их деловых центров, но и то не слишком: новые средства транспорта вели к образованию подцентров. Изменилась топография цен на землю: некогда крутая их пирамида стала более плоской, пригородные поля и огороды стало выгодным распродать как участки под дома.

В США, благодаря ранней всеобщей автомобилизации, дешевым ценам на землю, конституционно обусловленной слабости регулирующих застройку законов и анти-городскому культурному этосу («в городах - грех, в сельской жизни - здоровье») все эти тенденции распыления проявились более радикально, чем в других странах: сегодня, 73% жилого фонда страны состоит из односемейных домов! А дома с более чем пятью квартирами составляют лишь 15% жилого фонда. Это при том, что 74% населения числится городским, и лишь 3% реально занято в сельском хозяйстве. Фактически, в условиях традиционно городской, многоэтажной застройки живет не многим более 10% населения США. Немногим более 60% живет, пусть порой и в городской черте, но в условиях одно- и двухэтажной пригородной застройки; наконец, более 20% хотя и живет в сельской местности, но по роду занятий - в промышленности, торговле, сфере услуг - является квази-городским.

В той мере, в какой прав Маркс, что «страна, промышленно более развитая, показывает менее развитой лишь картину ее собственного будущего», не следует пренебрегать уроками, которые подсказывает Америка в плане городского развития. Это поможет предвосхитить будущее страны в рыночных и демократических условиях. Схематически эти уроки можно свести к следующим пунктам.

а) Городам нашей страны предстоит колоссальный физический рост - даже отвлекаясь от роста населения - просто в силу неудовлетворенного спроса на жилье. Вероятно не обязательно, чтобы на каждого жителя приходилось 49 квадратных метров «отапливаемой площади» жилья, как в США. Но думать о том, чтобы по крайней мере удвоить нынешние 15 квадратных метров на жителя до 30 - вполне реально. Значит, надо думать и о том, как эта

удвоенная или утроенная площадь жилья будет размещена в городском пространстве.

б) На это размещение неизбежно будет влиять рост автомобилизации - согласно приведенной выше схеме «плотности населения на квадратные полчасы». Опять же не обязательно, а, по всей вероятности, даже вредно, чтобы на 100 жителей приходилось 74 автомобиля (включая грузовики), как сегодня в США. Но все же не 8, как в Бразилии и в СССР. Где-то посередине, на немецко-французском уровне - 45 машин на 100 жителей, можно себе представить желательный горизонт. Число автомобилей на сотню населения растет в прямой зависимости от дохода на душу населения, но его можно регулировать как налоговой, так и градостроительной политикой. Ограниченное владение автомобилем в Западной Европе не случайно - ему способствуют высокие налоги на горючее - порядка от 130% (в ФРГ) до 350% (в Дании) от рыночной цены, а не 45%, как в США. Градостроительная же политика подразумевает создание таких плотностей застройки, которые позволят значительному числу городских жителей жить в индивидуальных домах, а не в многоэтажных коробках, но при этом не обязательно пользоваться исключительно автомобилем, как в американских пригородах.

в) Созданные за последние 40 лет в крупных городах СССР высокие плотности застройки для массового владения автомобилем непригодны. По мере роста автомобилизации они вызовут запашку озелененных пространств под стоянки для автомобилей и нетерпимые заторы в уличной сети. Приспособление существующей городской застройки под автомобиль было бы крайне накладным и поощрять его не следует - кроме как в той мере, в какой сами владельцы автомобилей готовы за него платить.

г) Непригодность существующей городской застройки для массового владения автомобилем (наряду с износом жилого фонда и прочими факторами) вызовет бегство значительной части населения в пригороды, где новые районы будут строиться в расчете на автомобиль. И здесь важно избежать американского синдрома - разбросанной за-

стройки сверхнизкой плотности, которая удваивает потребление энергии (на транспорт и на отопление) по сравнению с городской застройкой, не позволяет передвигаться иначе, как на автомобиле (пешком никуда не дойти, и общественный транспорт невозможен), разрушает огромные пространства естественного растительного покрова (в частности, непомерно увеличивая объем сточных вод с улиц), вызывает социальное расслоение и сегрегацию по имущественному, возрастному и другим признакам.

д) Поощрять владение автомобилем следует в первую очередь в сельских районах, где он даст населению реальную экономическую выгоду - улучшит его подвижность и даст выход на рынок. С этой точки зрения, развитие сельских дорог с твердым покрытием заслуживает приоритета.

е) Стремясь представить себе желательный облик будущей застройки, доступной и автомобилю, и индивидуальному жилищному строительству, следует учитывать следующие факты:

- Плотности застройки ниже примерно 15 жилых единиц (квартир или индивидуальных домов) на нетто гектар селитебной территории\* (за вычетом улиц) в условиях массового автомобилевладения не допускают пользования местным общественным транспортом. Это - область исключительно автомобильного движения. Только вблизи крупнейших городов можно при такой плотности отвлечь около 5% всех поездок на пригородные железные дороги, да и то, чтобы добраться до станции, нужен автомобиль.

- Плотности застройки от 15 до 100 жилых единиц на гектар допускают как сравнительно свободное пользование автомобилем, так и приемлемое (не обязательно удобное) обслуживание местным общественным транспортом. По мере возрастания плотности от 15 до 100 жилых единиц на

---

\* *Селитебная территория* - земельные участки в городах, занятые жилой и общественной застройкой, улицами, площадями и зелеными насаждениями общего пользования. - Б. Э. С., 4-е изд., М., 1986.

гектар общая потребность в механическом транспорте (сумма поездок на индивидуальном и общественном транспорте) сокращается примерно на одну треть. Происходит это за счет сокращения владения автомобилем и увеличения пешеходной доступности. Такая плотность позволяет строить значительную долю жилого фонда в виде индивидуальных домов. Чисто индивидуальная застройка возможна в пределах от 15 до 40 жилых единиц на гектар. Нижняя часть этого диапазона допускает отдельные односемейные дома на небольших участках; верхняя - односемейные, двух-трехэтажные, пристроенные один к другому дома с общими стенами, но индивидуальными садиками. Этот же диапазон допускает использование солнечной энергии для удовлетворения существенной доли домохозяйственных нужд даже в такой северной стране, как Швеция. В России односемейные, пристроенные один к другому двух-трехэтажные дома на малых участках мало известны, но в Западной Европе и в США можно найти много удачных прототипов - как начала века, так и современных. Популяризация этого типа застройки путем создания типовых проектов и показательных микрорайонов необходима.

Диапазон от 40 до 100 жилых единиц на гектар не допускает сплошной односемейной застройки, но это вовсе не значит, что в нем не может существовать односемейных домов. Наоборот, смешение типов застройки (высотные дома среди односемейных), не принятое в США, на самом деле дает выгоды и тем, и другим. Односемейные дома дают высотным зрительное пространство, в то время как последние дают первым выгоды повышенной плотности - сокращают расстояние до школ, магазинов, остановок общественного транспорта. При этом высотные здания и коммерческие помещения, встроенные в малоэтажную застройку, должны быть не разбросаны произвольно, а размещены у остановок общественного транспорта, создавая узлы пешеходной доступности. Не надо забывать, что автомобиль отучает людей ходить, и типичное пешеходное расстояние (медиана) колеблется в пределах 200 - 600 метров.

С точки зрения социальной, смешение типов застройки создает более естественный демографический состав населения: в односемейных домах живут преимущественно семьи с детьми, в многоэтажных - бездетные и старики.

- Плотность свыше 100 жилых единиц на гектар существенно ограничивает владение автомобилем. В американских условиях даже зажиточные семьи (верхняя пятая распределения) имеют, в среднем, менее одного автомобиля на семью при такой плотности. По мере дальнейшего повышения плотности владение автомобилем сокращается дальше, до 0,5 - 0,3 на семью и ниже при характерной для Манхэттена средней плотности в 500 квартир на гектар. Одновременно, при повышении плотности со 100 до 500 квартир на гектар существенно возрастает пользование общественным транспортом - с примерно 50% до 85% всех поездок на работу. При этом следует отметить, что манхэттенские плотности - местами достигающие 1200 квартир на гектар - являются исключением; в других крупных городах - Филадельфия, Бостон, Сан-Франциско, Сиэтл - плотность жилой застройки редко превосходит 150 квартир на гектар. Сокращение владения и пользования автомобилем при высоких плотностях застройки обусловлено как дороговизной и неудобством его эксплуатации (высокая стоимость подземных гаражей, медленная скорость передвижения), так и уменьшением потребности в нем - повышение плотности делает общественный транспорт более удобным, сокращая расстояние до остановок и увеличивая частоту движения.

- Баланс между автомобилем и общественным транспортом обусловлен отнюдь не только плотностью жилой застройки. Не менее важна плотность застройки в местах приложения труда. Крупные деловые центры автомобилю трудно доступны, поскольку подъезды к ним перегружены, и стоянка в них стоит дорого. В ценах 1989 года, стоянка в небольшом городском центре (2 млн. квадратных метров общей нежилой площади) стоила 4 доллара в день, в центре величиной в 10 млн. кв. метров (Бостон, Вашингтон) - около 8 долларов, в средней части Манхэттена (30 млн.

кв. метров) - около 16 долларов. Таким образом, сам рынок на землю подсказывает, что в крупных городских центрах - автомобилю не место. Соответственно, в малые центры (2 млн. кв. метров общей нежилой площади) около 15-20% всех поездок совершается на общественном транспорте; в крупные центры типа Бостона и Вашингтона - до 50%; в центральный деловой район Манхеттена - 67% круглосуточно и 84% в часы пик (последние две цифры занижены, т. к. включают небольшую долю сквозного движения). Таким образом, выбор, ехать на работу на автомобиле или на общественном транспорте, коренным образом зависит от того, где человек работает: чем крупнее (а, следовательно, и плотнее) городской центр - тем вероятней, что поедет он на общественном транспорте. В распыленные же места приложения труда на периферии, куда на общественном транспорте ехать неудобно, где автомобильные дороги не перегружены и где автомобильная стоянка обыкновенно бесплатна, логично ехать на автомобиле. Но логика эта ведет к негативным последствиям - она требует все большего распыления застройки, все большего числа автомобилей, все большего строительства автомобильных дорог, все большего потребления энергии и прочих ресурсов. Экологически желательный город требует, помимо умеренных плотностей жилой застройки, также и известной концентрации пригородных мест приложения труда в компактных подцентрах, позволяющих добраться до них общественным транспортом и передвигаться в их пределах пешком. Необходимая для этого плотность нежилой застройки - что-то около 1 - 2 млн. квадратных метров на брутто квадратный километр (т. е., включая улицы, озеленение и пр.).

### *8. Рельсовый и автомобильный транспорт*

Помимо плотности жилых районов и размеров мест приложения труда, привлекательность общественного транспорта (а, следовательно, и сокращение потребности в автомобиле) зависит, естественно, от качества этого

транспорта, в первую очередь его скорости по отношению к скорости автомобиля. Ввиду того, что поезд или автобус вынужден делать остановки и что до этих остановок еще надо дойти или доехать, скорость общественного транспорта «от двери до двери» в нормальных условиях неизбежно ниже, чем скорость автомобиля, порой вдвое или втрое ниже. Лишь в часы пик, когда дороги перегружены, автомобиль теряет свое преимущество: в очереди на въезд в Манхеттен в часы пик можно потерять 20-30 минут.

Отсюда следует несколько парадоксальная отрицательная стратегия: чтобы сохранить привлекательность общественного транспорта, не следует улучшать конкурирующие с ним (параллельные) автомобильные трассы. Они ценой больших строительных издержек лишь отвлекут часть пассажиров общественного транспорта в автомобили и привлекут новых автомобилистов, которые со временем создадут заторы под стать прежним. Так, в 70-е годы от амбициозных планов строительства внутригородских автострад отказались в пользу общественного транспорта Бостон, Вашингтон, Нью-Йорк и Сан-Франциско. Последние два города используют плату за проезд по мостам на автострадах для сокращения спроса на автотранспорт и для субсидирования общественного транспорта.

Однако решающим для увеличения спроса на общественный транспорт за счет автомобиля является, конечно, увеличение его скорости. В среднего размера городах этой цели служат особые полосы движения на автострадах, предназначенные исключительно для автобусов и легковых автомобилей «высокой загрузки» (обычно, более трех пассажиров). Это - дешевый способ обеспечить конкурентоспособную скорость в объезд автомобильных заторов на подступах к городским центрам.

Более дорогой, но и более надежный способ - строительство метро и скоростного трамвая (на исключительном полотне, без конфликтов с уличным движением). За последние 20 лет новые системы метро открыты в Сан-Франциско, Вашингтоне, Атланте, Балтиморе и Майами, полно-

стью реконструирована система в Бостоне и строится линия в Лос-Анджелесе. Скоростные трамвайные линии построены в Буффало, Портленде, Питтсбурге, Сан-Диего, Сан-Хосе, Сакраменто, строятся в Далласе, Лос-Анджелесе и Сент-Луисе. Скорость поездов на новых метро - от 38 до 45 км/час (включая остановки), на скоростных трамваях - около 30 км/час, что значительно лучше городского автобуса, движущегося в американских условиях в среднем со скоростью 20 км/час (скорость движения автобуса зависит от плотности застройки). Такое улучшение скорости и других условий езды неизменно привлекает на новые линии новых пассажиров, в том числе бывших автомобилистов, создавая предпосылки для более компактной, менее зависящей от автомобиля, экологически и социально более желательной городской застройки.

Тем не менее, строительство новых линий городского рельсового транспорта в США встречает оппозицию и не лишено проблем. Первая из них - стоимость новых линий метро, которая часто превышает 150 млн. долларов за километр пути. Такие затраты нелегко оправдать при низкой плотности существующей застройки и потому легкой пассажирской загрузке (пассажирские потоки на американских метро вне Нью-Йорка не превосходят 12000 человек в одном направлении в час пик). Отсюда - увлечение скоростным трамваем, который можно строить за 15 - 20 млн. долларов за километр - впрочем, лишь там, где есть подходящее полотно (например, заброшенная железная дорога). Под маркой «System 21» ведутся разработки облегченной надземной однобалочной конструкции, которая бы позволила за ту же цену вести скоростные линии в любых условиях - над улицами или автострадами, не мешая окружающей застройке.

Но все эти решения - весьма локализованы. Протяженность всех линий метро в США сегодня 1082 км, всех линий трамвая - 468 км. Между тем протяженность страдающих от перегрузки городских автострад в 1987 году составляла 7200 км и ожидается, что в течение 15-25 лет она утроится. Таким образом, никакое реально представи-



мое расширение сети городского рельсового транспорта не может решить проблему заторов на автостадах.

Не может ее решить и расширение автострад, или строительство новых. Первоначальное их строительство экономически оправдывалось удвоением средней скорости движения автомобиля - с примерно 35 до 70 км/час в городских условиях. Сегодня выгода, которую можно получить от расширения сети, несравненно меньше, и непрерывный рост движения будет ее с годами аннулировать. Между тем стоимость строительства непомерно возросла, поскольку проведенные некогда на пустом месте автострады обросли городской застройкой. Это ставит не только экономические, но и политические преграды новому строительству. Экономисты уже давно выдвигают альтернативу - контроль над спросом на автомобильное движение путем политики цен - повсеместно, а не только на отдельных мостах. Теоретически современная электроника позволяет взимать высокую плату за проезд по перегруженным участкам дорог в часы перегрузки и предъявлять счета автомобилистам в конце месяца по примеру счетов за телефон или электричество. Но для того, чтобы серьезно понизить спрос, плата за проезд должна быть очень высокой, и потому эта идея политически непопулярна. Распыленная городская застройка, полагающаяся исключительно на автомобиль, создает проблемы, которым нет решения.

Всё вышесказанное наводит на мысль о том, какая автоторожная политика в будущем сможет избежать подобных последствий в российских условиях. В Германии и США 30-х годов в первую очередь ставилась задача - преодолеть скоростными автостадами длинные расстояния между городами. Вокруг Берлина, как и по окраинам города Нью-Йорка, пролегло Большое кольцо, но городской застройки автострады не затронули.

Американская градостроительная политика 50-60 годов от такого подхода отказалась. Она исходила из того, что каждый автомобилеклометр, пройденный машиной по автостраде выгоднее, чем километр, пройденный ею по ули-

це или по шоссе: быстрее, безопаснее, экономичнее; пропускная способность автострады втрое выше, чем обычной улицы одинаковой ширины. Отсюда задача - перевести как можно больше (30 - 40%) автомобилекилометров на автострады, для чего их надо строить там, где плотность автомобильного движения выше всего, т. е. прежде всего в городах и около них. История показала, что вторая политика оказалась слишком успешной - она способствовала распылению города, что в свою очередь вызвало рост движения, перегрузивший автострады. Можно предположить, что в условиях российских расстояний именно первая, а не вторая политика будет более уместной.

Относительно общей протяженности сети можно предположить, что построенные в США на 1987 год 86,4 тысяч километров полных автострад (т. е. с отдельным полотном, без пересечений в одном уровне и без выездов на частные участки) являются своего рода излишеством. Посмотрим сколько автомобилей и грузовиков приходится на километр полной автострады:

США	2100
Канада	2800
Западная Германия	3200
Район Нью-Йорка	3800

Сопоставление это интересно тем, что в нем скрыты разительные контрасты расселения. В нью-йоркском районе 20 миллионов жителей, в Канаде 26, но расселены последние на территории в 320 раз большей. И тем не менее, соотношение между парком автомобилей и длиной автострад - довольно похожее (особенно, если сделать поправку на число полос: 700 машин на километр полосы в Канаде и 730 в районе Нью-Йорка). Таким образом, потребность в автострадах зависит от наличия автомобилей, а не от территории страны. Учитывая предположительный рост населения и приведенные выше цифры, в 40-летней перспективе можно себе представить на территории нынешнего СССР сеть автострад не многим более 30 тысяч километ-

ров - примерно столько, сколько сейчас в Западной Европе.

Сколько их будет на самом деле, будет зависеть от доходов населения в предстоящие годы, от того, какую их долю оно пожелает уделять покупке автомобилей (в США каждая лишняя тысяча долларов годовичного дохода на душу населения дает три лишних автомобиля на сотню населения), какие их владельцы согласны будут платить налоги и какую долю этих налогов государство пожелает вкладывать в строительство и содержание автострад.

Для более близкой перспективы важно иное - не только техническое, но и зрительное качество будущих автострад. Здесь важно иметь в виду, что построить изящную автостраду в общем стоит не дороже, чем безобразную. Дело в приложении знаний и вкуса. К тому же, изящество автострады дело жизни и смерти, а не только эстетики. На монотонной автострате люди засыпают и разбиваются, особенно в условиях равнины. Наконец, наше нравственное обязательство по отношению к ландшафту - украшать, а не обезобразивать его.

В эстетике автострад главную роль играют два принципа - плавность трассировки и независимая трассировка двух полотен. Они обеспечивают максимальное приближение к ландшафту. Плавность требует избегать резких переходов от прямых к кривым как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Лучшим примером здесь служит автострада Ашаффенбург-Нюрнберг, построенная в конце 1950-х годов по проекту известного дорожного теоретика Ганса Лоренца. Основным элементом ее трассировки является не прямая, как на железных дорогах; прямых здесь вообще нет. Трассировка построена на дугах с огромным радиусом (до 9000 м) соединенных плавными спиральными переходами (кривыми с переменным радиусом). Во время езды такая дорога создает динамичную перспективу, заставляет водителя видеть перед собой непрерывно меняющийся ландшафт, а не уходящий в одну точку асфальт. Независимая трассировка обоих полотен автострады требует много земли (переменная ширина разделительной

полосы между полотнами колеблется от 30 до 100 м), но имеет серьезные преимущества: не дает вышедшим из-под контроля автомобилям перескочить через разделительную полосу, убирает из поля зрения свет встречных фар ночью, увеличивает долю ландшафта (а не асфальта) в поле зрения водителя и сокращает объем земляных работ в холмистой местности. Из-за дороговизны земли в Германии таких примеров мало. В этой области преуспели американцы, освоив этот прием на парковых дорогах под Вашингтоном и в Нью-Джерси в 50-е годы и широко используя его потом на междуштатных автострадах, особенно удачно на дороге 87 через Адирондакские горы на севере штата Нью-Йорк (1967). В российских условиях непрерывно криволинейная и независимая трассировка двух полотен позволит акцентировать даже небольшие изменения рельефа местности и уменьшит монотонность быстрой езды на длинные расстояния.

Перспектива непрерывного роста числа автомобилей (автомобильный парк в мире удваивается каждые 15 лет) естественно вызывает вопрос: а на чем все эти автомобили будут ездить, когда кончится нефть? И не слишком ли расточительным для России и противопоказанным природе средством передвижения является автомобиль?

Необузданный рост автомобилизации действительно нежелателен, желательна «автомобилизация в рамках приличия». Эти рамки может создать как налоговая и градостроительная политика, так и законодательно поощряемый технический прогресс.

Благодаря последнему, пробег автомобиля в США в среднем увеличился с 5,6 до 8,2 километров на литр горючего между 1973 и 1987 годом, новые автомобили дают 12 км на литр, и пробег порядка 17-20 км на литр считается технически достижимым вскоре. В этом случае энергетическая эффективность автомобиля уравнивается с таковой электрического рельсового транспорта.

Сегодня автомобиль не только потребляет меньше горючего, но и выбрасывает меньше вредных веществ в атмосферу, чем раньше. Начиная с 1963 года стали в обязательном

порядке вводятся разные ограничивающие выброс усовершенствования, в том числе в 1975 году - катализаторы в выхлопных трубах. Так, на новых автомобилях выброс несгоревших углеводородов по сравнению с 1962 годом сокращен с 6,58 граммов на километр до 0,25, угарного газа с 52,2 граммов до 2,1, окисей азота с 2,5 граммов до 0,6; выброс свинца должен прекратиться вовсе, как только окончательно прекратится продажа бензина со свинцом, неприемлемого для машин с катализаторами.

Что касается заменителей нефти, то США пробовали в конце 1970-х годов наладить производство синтетического горючего из угля и сланцев, но программа эта провалилась из-за падения цен на нефть на мировом рынке. С целью очищения выхлопных газов сейчас ведутся опыты замены дизельного топлива сжатым природным газом. В Бразилии широко используется смесь бензина со спиртом. Продолжаются опыты с электрическими автомобилями, но энергоемкость их батарей по-прежнему неудовлетворительна. Ведутся разработки по приводу тока индуктивным путем, через мостовую, а также по использованию чистого водорода как топлива. Предсказывать технологию - занятие в высшей степени рискованное. Но мир так далеко зашел по пути механизированного индивидуального транспорта, что вероятны разные его метаморфозы и разные формы его обуздания, а не полный от него отказ.

### *9. Постскриптум о моделировании городской застройки*

Математическое моделирование городской застройки началось еще в 1956 году в Чикаго (в рамках Chicago Area Transportation Study), как только появился доступ к электронно-вычислительной технике. Главной задачей того времени виделось вычисление автомобильных транспортных потоков и расчет «оптимальной» густоты сети городских автострад. Расчет размещения городской застройки был задачей подсобной и основывался на различных индексах доступности. Популярны были «модели тяготения», объясняющие доступность как показательную функцию расстоя-

ния. С проявлением интереса к общественному транспорту в 60-е годы развились модели выбора средства транспорта (modal choice), основанные в то время на статистических методах множественной регрессии. В 70-е годы, когда на первый план городской политики вышли социальные проблемы, интерес к «большим» моделям угас, и исследователи занялись частными вопросами городской социологии и экономики.

Угасание интереса к городским моделям ранних лет не было случайным: почти все они страдали механистичностью, строились по физическим аналогиям и очень редко учитывали обратную связь, как, например, эффект перегрузки транспортных артерий. К тому же все они были сугубо частичными, отражающими отдельные явления, и увязать их в единую систему не было возможности. Они то и дело давали очевидно неверные результаты, особенно в сочетании с завышенными демографическими прогнозами 60-х годов. Экономисты давно настаивали на том, что моделировать город надо как систему экономического поведения людей, а не как физическую систему, и давали теоретические концепции, но просчитать их при тогдашнем уровне вычислительной техники не было возможности.

Лишь в 80-е годы в том же в Чикаго проф. Северо-западного университета Алекс Анас, опираясь на экономическую теорию поведения и мощную вычислительную технику, позволяющую одновременно решать множество уравнений, построил комплексную модель городского развития. Ее задача - показать в масштабах городского региона, как изменения на разных видах транспорта влияют на выбор средств транспорта, на выбор мест жительства, на спрос на жилую площадь в различных районах, на рыночную цену на землю и на государственный доход от налогов на недвижимость. Первый вариант этой модели подтвердил, скептикам вопреки, целесообразность ныне строящейся юго-западной линии метро в Чикаго. Второй вариант используется учениками ее автора в Сеуле и Тайпее (Тайвань). Третий вариант, основанный на значительно более детальных эмпирических данных о ценах на землю и ха-

рактиках общественного транспорта, разрабатывается в данное время при участии Ассоциации Регионального Плана в Нью-Йорке для нужд этого города. Задача - показать, в какой мере цены на недвижимость зависят от качества общественного транспорта и какие капиталовложения в транспорт наиболее выгодны. Выгодны и потребителям (т. н. «потребительский излишек»), и государству.

Если вернуться к заглавию этой статьи, можно сказать так: да, план необходим, но как целеполагание, а не как приказ. Такой план невозможен без сигналов рынка. Я знаю, что я хочу, но мне надо знать, что хотят другие. Не или-или, а и-и.

## ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

### *Справочники:*

Motor Vehicle Facts & Figures. Motor Vehicle Manufacturers Association, Detroit 1987. 96 с. (Статистика автомобилей).

Statistical Abstract of the United States. U. S. Department of Commerce, Washington, D. C. 1987. 992 с. (Статистический ежегодник США).

### *Самоуправление:*

William G. Coleman: State and Local Government and Public-Private Partnerships. Greenwood Press, New York, 1989. 437 с. (Штатное и местное управление, вопросы политики).

James W. Fesler, ed.: The 50 States and Their Local Governments. Alfred A. Knopf, New York, 1967. 603 с. (50 штатов и их местное управление; сборник статей 8 авторов).

Model City Charter. National Civic League, Denver, CO, 1989. 88 с. (Типовой городской устав или хартия, с комментариями).

Frank S. So & Judith Getzels, eds.: *The Practice of Local Government Planning*. 2nd ed., APA Press, Chicago, IL, 1988. 554 с. (Основной справочник по административным приемам планировки на местном уровне).

Wie funktioniert das? Der moderne Staat. Meyers Lexikonverlag, Mannheim, 1988. 512 с. (Справочник по устройству Федеративной Республики Германии).

### *Городская застройка и транспорт:*

Boris Pushkarev & Jeffrey Zupan: *Public Transportation and Land Use Policy*. Indiana University Press, Bloomington, IN, 1977. 242 с. (Общественный транспорт и политика землепользования).

Boris Pushkarev: *Urban Rail in America*. Indiana University Press, Bloomington, IN, 1982. 289 с. (Городской рельсовый транспорт в Америке).

Boris Pushkarev & Jeffrey Zupan: *Urban Space for Pedestrians*. MIT Press, Cambridge, MA, 1975. 162 с. (Городское пространство для пешеходов).

### *Эстетика автомобильных дорог:*

Christopher Tunnard & Boris Pushkarev: *Man-Made America: Chaos or Control?* Yale University Press, New Haven, CT, 1963. 479 с. (Рукотворная Америка: хаос или управление? Часть третья, «Лента мостовой»: стр. 157-176).

### *Модели городского развития:*

Alex Anas: *The Effects of Transportation on the Tax Base and Development of Cities*. U.S. Department of Transportation, Washington, D.C., 1983. 72 с. (Влияние транспорта на налоговую базу и развитие городов, ксерокопированный документ DOT/OST/P-30-85-005).





Виталий ПОПОВ

## Аты-баты, куда идут стройбаты?

*(Заметки бывшего служащего ВСО)*

В настоящее время во многих средствах массовой информации и даже на официальных уровнях стали активно обсуждаться вопросы о возможности создания в стране профессиональной армии и связанных с этим реформах и проблемах. Начинают дебатироваться возможные варианты альтернативной службы, которая уже давно существует во многих цивилизованных государствах. Заговорили и о том, нужны или не нужны нам военно-строительные войска, об их сокращении. Неужели военно-строительные отряды, являющиеся, на мой взгляд, не чем иным, как злой пародией на армию, уйдут в прошлое? Или от этого огромного резерва дешевой и малоквалифицированной рабочей силы, используемой Министерством обороны и различными ведомствами где угодно и как угодно, мы еще не в силах отказать? Ведь сейчас уже ни для кого не секрет, что на так называемых ударных комсомольских стройках использовался, в основном, рабский труд эков и военных строителей.

В стройбатах практикуется не только принудительный и низкооплачиваемый труд (на каждый рубль зарплаты набрасывается коэффициент 0,87, как в колониях и лагерях для лишенных свободы). Военкоматы часто направляют для прохождения службы в военно-строительных частях лиц, которые по состоянию здоровья не подлежат призыву в строе-

вые войска. В них проходят службу лица, которые ранее были судимы и склонны к совершению различных социально опасных деяний. В них царят полное пренебрежение к личности, издевательства "старослужащих" над молодыми призывниками - так называемая и тщательно замалчивавшаяся ранее "дедовщина", и прочий букет уродливых и позорных явлений, свойственных, к сожалению, и другим родам войск. Своим обмундированием, зачастую расхристанным видом стройбатовцы нередко вызывают страх и даже отвращение у гражданского населения в местах, где дислоцируются военно-строительные части. Да и качество возводимых ими объектов, в основном, низкое, так как строительные специальности большинство из призывников осваивает уже в ходе так называемого прохождения службы.

Чтобы мои высказывания не показались голословными, мне как бывшему стройбатовцу, очевидно, не обойтись без некоторых личных воспоминаний. Чтобы их как-то систематизировать, я сосредоточусь, пожалуй, на наиболее абсурдных проявлениях, свойственных армейской службе. Хотя мои заметки, естественно, носят субъективный характер и основываются, повторяю, на личных впечатлениях, я не могу отказать себе в праве сделать и некоторые выводы обобщающего плана. Сейчас многие справедливо указывают на то, что если больно все наше общество, то, естественно, больна и армия, что многие болезни перекочевывают в армию из гражданской жизни. Так-то оно так, но смею утверждать, что в армии болезненные явления проявляются как бы в квадрате, в гипертрофированном виде, в более уродливых формах.

## Выборы "по-армейски"

Призван я был в армию в июне 1971 года, в 18-летнем возрасте, при достижении которого, как известно, советские граждане получают, согласно Конституции СССР, право избирать и быть избранным в высшие и местные органы власти. То, что эти так называемые выборы были

вплоть до 1989 года полной профанацией, трагикомическим фарсом, теперь ни у кого не вызывает сомнения. Но в армии этот фарс достигает своего "апогея".

Служить я поначалу попал под закрытый в те времена г. Горький, которому недавно вернули его историческое название - Нижний Новгород. Там, в поселке Сормово, дислоцировалась часть, в которой находилась школа сержантов. Она готовила в течение 6-ти месяцев младший командный состав для прохождения дальнейшей службы в военно-строительных батальонах страны в качестве командиров взводов. И новобранцы здесь становились курсантами.

Накануне выборов нас предупредили, что проголосовать надо всем до завтрака: подъем, физзарядка, умывание, утренняя переключка, и вот строем мы идем к Дому культуры - быстрее-быстрее, чтобы опередить другие роты, чтобы быть в числе первых, своеобразное соцсоревнование. О том, за кого голосуем, мы толком и не знали: то ли за командира части, то ли за замполита, ведь прослужили мы к тому времени не больше недели. Да и в избирательных бюллетенях была фамилия всего одного кандидата, альтернативами тогда еще не баловались. Получил бюллетень, опустил его в урну и снова в строй. Идеальная система!

Так я впервые в своей жизни, как и многие другие, реализовал свое гражданское избирательное право. Остается добавить, что и при демократических выборах 1990 года многие партийные и советские функционеры предпочитали баллотироваться в местные органы власти, порой даже в гордом одиночестве, в воинских частях, где армейская дисциплина позволяла им без особого труда получить депутатский мандат.

**Если грешники попадают в ад, то  
больные и убогие - в стройбат**

Из школы сержантов меня отчислили после первой же медицинской комиссии: по состоянию здоровья. Еще во

время учебы в средней школе у меня обнаружили сердечное заболевание - ревмокардит. В московской областной поликлинике МОНИКИ, после электрокардиограммы, поставили более точный диагноз: миокардинический кардиосклероз, неактивная фаза. Пришлось мне в Ногинской больнице, которую почему-то все до сих пор называют "первосоветской", пройти специальный двухразовый курс лечения.

Медицинская комиссия при Ногинском горвоенкомате признала меня здоровым: годен к строевой службе. И, надо признаться, если бы меня не призвали в армию, я бы, наверное, чувствовал себя неполноценным человеком. В том возрасте я хотел послужить в армии. Во мне тогда сохранялся некий налет романтики: я мечтал о ночных подъемах по тревоге, марш-бросках, войсковых учениях и т. д. В военкомате меня обещали призвать в наземные войска ВВС. Да и тянуло меня в новые места, хотелось узнать страну родную. И чувствовал я себя, кстати, тогда вполне здоровым.

То, что я попал в строительные войска, меня удивило: ведь строительной специальности у меня не было, и я тогда наивно полагал, что в этот вид войск берут тех, кто на "гражданке" имел хоть какое-то отношение к строительству. И только потом я убедился, что в ВСО призывают не только людей, далеких от строительства, но и больных, убогих не только физически, но и, как мне кажется, даже умственно.

Там мне довелось встретить призывников с мениском и грыжей, с большой потерей зрения, с врожденными дефектами ног, даже хромым. Последних, правда, от строевой подготовки обычно освобождали, чтобы они не портили общую картину. Людей с сомнительными умственными способностями отправляли, в основном, в хозвзводы, некоторых назначали ухаживать за свиньями в подсобных хозяйствах, которые существовали при частях. Да и бояться их особенно было нечего: оружия ведь стройбатовец, кроме взвода охраны при гауптвахтах, никому не выдавалось. Многие из нас только при принятии присяги могли увидеть и подержать в руках карабин или автомат. Ни о какой

огневой подготовке или учебных стрельбах за два года службы не было и речи.

Чуть позднее я стал задумываться: для чего же этих людей, я имею в виду больных, призвали на службу? Ведь не слепцы же на медкомиссиях сидят, а специалисты. И пришел к такому выводу: военкоматы, по-видимому, озабочены прежде всего тем, чтобы у них не падал или хорошо выглядел тот или иной процент призыва граждан на срочную службу. Опять соревнование - теперь между военкоматами? Опять эта проклятая процентомания - тяжелое наследие планового социализма...

### Широка страна моя родная...

Из Горького по железной дороге через Киров, Пермь, Свердловск, Курган, Омск мы прибыли в Новосибирск. Там предстояла пересадка. Многие новобранцы, у которых были деньги, сумели в Новосибирске отовариться спиртными напитками и изрядно напились. Запомнился один из них, который, дурачась, встал перед тепловозом на колени, положил голову под колесо, и когда его стали оттаскивать сослуживцы и сопровождающие в вагон, говорил:

- Мама, роди меня обратно! Не хочу служить в армии красной...

Затем наш путь лежал на юг. Проплыли за окнами поезда российские города и нищенские полустанки, и мы оказались в Казахстане. Поражали пространства неиспользуемой, гуляющей, пустующей земли. Через Барнаул, Павлодар, Целиноград прибыли мы в Семипалатинск. Познакомиться с этим печально знаменитым своими ядерными полигонами городом мы толком не смогли, хотя здесь нас ждала еще одна пересадка. Учитывая новосибирский "пьяный загул", нас уже не отпускали, а для того, чтобы как-то скоротать время до прибытия поезда, сводили в кинотеатр на старый фильм "Сокровища турецкого аги".

Семипалатинские полигоны находились, конечно, далеко за чертой города. На одну из таких "точек", в закрытый

гарнизон под почтовым названием Семипалатинск-22 нас и привезли ночью. Поезд в этот пункт, если мне не изменяет память, прибывал только раз в сутки. Кстати, никто из нас не знал окончательного пункта нашего следования: сопровождающие это хранили в секрете.

Переспали мы, помнится, на полу в солдатском деревянном клубе, где по выходным "крутили" кино. Летом, когда при солнечной погоде шел киносеанс, мы буквально изнывали от нестерпимой духоты и жары. Стягивали с себя гимнастерки, майки, но все равно обливались потом. Вентиляции в этом маленьком клубе, кажется, не было, и многие предпочитали вырваться из него на свежий воздух, хотя кино для нас было чуть ли не единственным "культурным развлечением".

Наутро задул крепкий, жесткий ветер. Он поднимал в воздух мелкие камешки и песок, которые больно хлестали в лицо, в спину. На душе было муторно и грустно - куда закинула нас судьба? К тому же подходившие к нам старожилы здешних мест из военнослужащих подливали "масла в огонь" - пугали нас, салажат, рассказами о скорпионах и фалангах, которые, якобы, здесь неподалеку, в песках, кишмя кишат. Кто-то пускал "пулю" о том, что недавно, мол, тут целую роту комиссовали - облучились ребята на объекте при очередном подземном ядерном взрыве, кто-то пугал тяготами будущей "дедовщины". Нам советовали "похорошему" отдать наручные часы, у кого они имелись, помирному обмениваться сапогами, ремнями, обмундированием, а строптивым, тому, кто будет упрячиться, "дедушек" не слушать, предрекали, что служба покажется адом. Система, мол, во всей армии такая: год ты повинешься во всем, сносишь издевательства, а через год сам можешь уже издеваться над молодым пополнением - вот такая эстафета.

Но нам, на первой поре, явно повезло. После прохождения так называемого карантина и принятия воинской присяги основная группа "горьковчан" была направлена в учебную часть гарнизона. Там, ускоренным двухмесячным курсом, нас стали обучать специальности слесарей-сантехников, заказ на которых неожиданно пришел из какого-то

другого гарнизона. И мы были рады тому, что через два месяца уедем отсюда в любое другое место Союза.

Не таким уж, наверное, оно было и страшным - это место. Всюду живут люди, даже там, где и жить, кажется, нельзя. Недалеко от мастерских, где мы обучались практическим навыкам сантехнического ремесла, протекал Иртыш, в котором, несмотря на лето, мы так и не искупались - не удалось. В маленьком военном городке жили и гражданские лица. Однако городок тогда, действительно, был строго засекречен. В увольнение не пускали даже старослужащих. Находился там какой-то важный институт, занимающийся, по-видимому, ядерной тематикой. По ночам за глухим забором института был слышен многоголосый собачий лай, словно в это время собак выпускали погулять. Создавалось впечатление, что собаки эти подопытные. "Быть может, здесь исследуют влияние радиации на животных?" - подумалось мне. Так или иначе, но от такого соседства нам было как-то не по себе и мы предпочитали побыстрее убраться оттуда.

Говорили, что через двадцать лет городок этот рассекретят и он получит имя Курчатова. Но насколько мне известно, недавно такое название получил один из закрытых городов Челябинской области. Сколько их, подобных безымянных городков, разбросано по необъятной нашей насквозь милитаризированной державе?

### **Зеленая-зеленая трава**

Что же мне особенно запомнилось из этого семипалатинского периода службы? Пожалуй, два эпизода. Первый, скорее, из разряда абсурдно-комических. Он, кстати, весьма характерен не только для армейской жизни. В условиях командно-административной системы у нас пышным цветом расцвела болезненная любовь к чиновничеству. Чего только ни выделяли партийные функционеры и ретивые чиновники, когда им становилось известно о визите в их вотчину какого-либо высокопоставленного лица. Сколько

тут появляется у них энергии при подготовке к его встрече, сколько резвости и суеты! Срочно ремонтируются дороги по пути его следования, в магазины накануне завозятся продукты, везде наводится временная чистота. Милиция на стреме, цветы, хлеб-соль, ковровые дорожки, угодливые улыбки, подготовленные ораторы, подставные трудящиеся и т. п. Все это у нас было и кое-где еще остается.

А в наш гарнизон тогда должен был, якобы, прибыть сам первый секретарь ЦК КПСС Казахстана Д. Кунаев. Нам, конечно, его визит был "до фени". Мы знать его не знали и знать бы не желали. Но для командования гарнизона, безусловно, это было событие. И, видимо, поступила команда для руководства всех частей: чтоб все было "чики-пики" - лоск, блеск и полный ажур.

В казармах драили полы и стены, на территориях частей наводилась идеальная чистота. Красились скамейки и беседки, белились деревья и бордюры, подрезался кустарник. И нас, кстати, заставляли выдергивать траву, налезавшую на бордюры, стричь ее ножницами и, хотите верьте, хотите нет, - даже красить траву в зеленый цвет там, где она пожелтела. Хотя только август стоял на дворе. И красили!..

А Кунаев тогда, кажется, и не приехал. Быть может, у него появились какие-то неотложные партийные дела, а может быть, он просто не заглянул в наш гарнизон. По крайней мере, нам его лицезреть так и не удалось. Думаю, что это не такая уж большая была для нас потеря...

## Как умирают в стройбате

Второй эпизод трагический - смерть сослуживца, человека мне, правда, незнакомого, из соседней учебной роты. А случилось это в солдатской столовой.

Кормили, кстати, нас плохо, и в начале службы большинство новобранцев не покидало чувство голода. Хотя на втором году службы это чувство совершенно пропадало. Организм, видимо, адаптировался и привыкал к малокалорийной солдатской пище.



С нас вычитали за питание 38-40 рублей в месяц. Соответственно и калькуляция на потребляемые продукты питания составлялась из этой расчетной суммы. И разве ее могло хватить на полноценное питание молодых, 18-27-летних солдат?

В столовой накрывали столы на 10 человек за каждым. И первое, и второе ели из алюминиевых мисок ложками. Ни вилок, ни, тем более, ножей не полагалось. Меню было очень однообразным. Щи, суп, борщ на первое, различные каши, горох, картофель на второе. На завтрак давали маленький кусочек сливочного масла. На третье утром и вечером жидкий чай, а в обед кисель. Компот или какао, в основном, бывали только в праздничные дни. Правда, в летнюю пору на столы попадала и продукция из подсобного хозяйства части: огурцы, арбузы. Запомнилось, что салат из огурцов, поданный к праздничному столу в честь Дня строителя в 1972 году, привел к вспышке дизентерии. В это время я уже служил в строительной части Эмбинского гарнизона Среднеазиатского военного округа. Заболело более 1/3 состава всей нашей части. Госпиталь не мог вместить всех пострадавших и вокруг него были разбиты для содержания больных шатры-палатки. В части был объявлен карантин, который, кажется, сняли только в середине октября.

Так вот, я не заметил тогда, что же все-таки произошло в столовой. Один из старослужащих, видимо, чем-то недовольный, ударил призывника и тот упал, стукнувшись головой об пол. То ли удар оказался слишком силен, то ли упал новобранец очень неудачно, но встать он уже не мог. Он захрипел, розовая пена пошла у него из раскрытого рта. Пока кто-то бегал за санинструктором, один из сержантов делал пострадавшему искусственное дыхание. Прибежал запыхавшийся инструктор и побледнел. Он сделал, кажется, ему какой-то укол, но ничего не помогло - солдат умер.

А был этот парень не из хилых ребят. Он участвовал в спортивных соревнованиях, посвященных Дню строителя. И однажды ночью именно его вместе с другими спортсменами

поднял дежурный по части на поиски бежавшего солдата. Они бегали на станцию искать его. То есть, тот парень производил впечатление достаточно крепкого и здорового человека. И каково же было наше удивление, когда нам официально объявили, что умер он от острой сердечной недостаточности и что был он, якобы, наркоманом - курил анашу...

Из нашей куцей солдатской зарплаты - нам выдавали тогда на руки по 3 руб. 80 коп. в месяц - мы скинулись по рублю на его похороны...

И здесь я впервые столкнулся с чудовищным лицемерием официальной машины армейского делопроизводства. ЧП - убийство солдата от рукоприкладства - было, конечно, невыгодно для начальства части. Следствие, обвиняемый, опрос свидетелей, возможные выговоры по службе за плохое состояние дисциплины во вверенном подразделении и т. д. И неудивительно, что такого рода случаи старались "замять", не давали им хода. Куда проще: поскользнулся на мокром полу, упал и не очнулся, умер... Это уже не ЧП, а несчастный случай.

Впоследствии, уже во время прохождения службы в Эмбинском гарнизоне Мугоджарского района Актюбинской области, я сталкивался и с другими смертями военных строителей. Конечно, среди них были и несчастные случаи, которые вполне могли произойти и в гражданской жизни. Но, пожалуй, о двух смертях стоит сказать особо.

30 декабря 1972 года отмечалось 50-летие со дня образования СССР. К подобным "знаменательным" датам во всей стране различные коллективы готовили свои трудовые подарки. Эта традиция, кажется, до сих пор сохраняется в нашей жизни. Хотя, как мне думается, от нее больше вреда, чем пользы. И наша строительная часть не осталась, как говорится, в стороне. Кому-то пришла мысль именно к этой дате рапортовать о досрочном завершении строительства одного из ДОСов (дома офицерского состава), возводимых в военном городке Эмба-5.

Работы на этом объекте велись форсированными темпами. В декабре стала использоваться и "третья смена" - то

есть после ужина строители, в основном, это были штукатуры, маляры, электрики и сантехники, снова шли на ДОС. И тут, видимо, сказалась обыкновенная физическая усталость, переутомление и, быть может, недосыпание. Один из строителей соседней роты, рыжий грузин, балагур и весельчак, сорвался с пятого этажа и насмерть разбился.

А ДОС, кажется, сдали, отрапортовали, хотя отделочные работы велись там еще и в январе-феврале. Еще в то время я задумывался: кому выгодна подобная штурмовщина, которая до сих пор практикуется в нашей стране? Кому нужны подобные "трудовые подарки"? И только на гражданской жизни убедился, что такая система выгодна самим строителям (только не стройбатовцам). Оказывается, за досрочное (и даже плановое) введение объектов в эксплуатацию строители и соответственно их начальство получают солидные денежные премии. Прорабам, начальникам строительных управлений, трестов это иногда обеспечивает дальнейшее продвижение по служебной лестнице. А счастливые обладатели ордеров на квартиры в таких новых домах, переехав в них, нередко начинают тут же ремонт, устраняют недоделки строителей.

Поразила меня и еще одна, очень тихая прозаическая смерть, но от этой прозаичности для меня, по крайней мере, не менее страшная. На этот раз она настигла красивого юного армянина с черными блестящими глазами.

Каждое воскресенье в нашей части был банный день, смена нижнего белья и портянок. Баня, в общем-то, нормальная, с парилкой, душевыми, тазиками из нержавеющей жести. Видимо, в бане я подцепил "грибок" - кожное заболевание, которым легко заразиться от другого человека. Характеризуется оно тем, что между пальцами ног кожа мокреет, преет и лопается с появлением узких кровяных ранок. Чтобы избавиться от этого "грибка", я обратился а санчасть. Мне предложили какую-то мазь, и я стал регулярно ходить через день в санчасть, где смазывал преющую кожу между пальцами ног. Кстати, эта мазь мало помогла, и мне понадобился после демобилизации почти год, чтобы избавиться от этого неприятного заболевания.

И вот однажды, во время моего очередного визита в санчасть, в нее вошел почти иконописной внешности курчавый армянский мальчик.

- Чего тебе? - грубо спросил его санинструктор, обладавший то ли фельдшерским, то ли медбратовским образованием.

- У меня все болит, - слабым голосом ответил армянин.

- Что именно болит?

- Все: голова, живот, грудь, руки, ноги...

- Не звезды, так не бывает. Косишь небось, от службы увильнуть хочешь? - санинструктор, по-видимому, заподозрил парнишку в симуляции, хотя и невооруженным взглядом было видно, что тот, действительно, болен.

Лейтенанта-двухгодичника медицинской службы, который мог бы осмотреть больного, в этот день в санчасти не было. Он, кажется, находился в командировке и должен был вернуться дня через три. Возможно, он бы сумел определить степень опасности состояния больного и отправил бы его в госпиталь, который располагался в полутора километрах от части. А госпиталь все-таки оснащен более-менее современным диагностическим оборудованием, квалифицированными кадрами. Санинструктор же решил дожидаться приезда лейтенанта и оставил черноглазого мальчонку в санчасти. Тем более, что тот прибыл с "точки", то есть рота, где он служил, была занята на строительных работах в степи километров за 80-100 от военного городка. На этих "точках" проводили учебные стрельбы ракетчики, прибывавшие из различных воинских частей и даже из групп советских войск в Германии и Венгрии.

В санчасти существовал еще зубоврачебный кабинет и палата на четыре или пять коек для стационарных больных. В это время в санчасти лежал один из моих товарищей-сослуживцев, с которым впоследствии нас связала крепкая дружба, и я приносил ему из столовой его солдатскую порцию, а потом забирал посуду и относил ее обратно. И вот рядом с моим товарищем положили в палату и этого юного армянина. Кажется, в ней, кроме них двоих, тогда больше никого и не было.

Когда дня через два я принес своему земляку завтрак, то увидел, что армянина на койке нет: матрас свернут, белье снято.

- А где этот кавказский ангел? - спросил я у товарища, кивнув на пустую койку. - В госпиталь уже отправили?

- В морг, - ответил он мне. - Ночью умер... И так тихо умер, без стонов... Я ведь чутко сплю, услышал бы...

Я остолбенел.

Неужели нельзя было вовремя спасти этого парнишку? Ему ведь было не более восемнадцати лет. Отчего можно умереть в этом возрасте? И как же дешево ценится жизнь в этом мире и, тем более, в армии. И никто, якобы, не виноват. Я даже не представляю, как квалифицировалась в официальных документах данная смерть. Но уверен в том, что никакого расследования причин смерти этого стройбатовца не было, кроме констатации самого факта. И наказан за это никто не был. И некого в ней винить. Некого?..

### Что ответит Президент?

Эти мои воспоминания, быть может, кое-кому покажутся устаревшими, несовременными. Ведь служил я в строительных войсках Среднеазиатского военного округа в 1971-73 годах, а с тех пор почти двадцать лет уже миновало. Но не думаю, что уж так резко и разительно изменилась к лучшему обстановка в армии за последние годы. О состоянии дисциплины, о морально-психологическом климате в стройбатовской казарме достаточно правдиво, на мой взгляд, рассказывается в романе Сергея Каледина "Стройбат", опубликованного в № 4 журнала "Новый мир" за 1989 год. Похоже, что автор был очевидцем описываемых событий. О том, к чему приводит "дедовщина", И. Лоцилин написал сценарий художественного фильма "Караул", который опубликован в № 1 альманаха "Киносценарии" в 1989 году и, хочется думать, что он на пути к экрану.

Кстати, автор взял за основу сценария действительные события, которые нам известны по газетным публикациям, когда новобранец расстрелял ночью издевавшихся над ним "дедушек". Произошло это в купе поезда. Острые публикации Вероники Марченко в журнале "Юность" тоже свидетельствуют о том, что творится в нашей армии. Наконец, 15 тысяч военнослужащих, погибших за четыре года перестройки! И это в мирное-то время? Даже страшно представить - 15 тысяч оборванных в самом расцвете жизней... Даже девять лет нелепой афганской авантюры унесли, по официальным данным, на две тысячи жизней меньше. Но ведь там была война. А оказывается, на территории СССР гибнет в мирное время людей больше, чем на войне? Непостижимо...

В феврале 1990 года в стране создано "Общество родителей, чьи сыновья погибли в армии в мирное время на территории СССР". Матери погибших и живых солдат, и допризывников обратились к Президенту Горбачеву с требованием проведения кардинальных реформ в армии. В этом Обращении, в частности, говорится: "Ежегодно в армии, не на учениях, не в боевых операциях, а в результате уголовных преступлений, несчастных случаев, антисанитарных условий жизни, а в целом по халатности и недобросовестности военного начальства - гибнут солдаты. Следствие по факту смерти ведут дознавательные части и военная прокуратура. Такие следственные органы заинтересованы в сокрытии истинных причин происшедшего в целях сохранения репутации конкретной воинской части, армии в целом".

Матери погибших требуют от Президента создать независимую комиссию при Верховном Совете СССР для расследования всех фактов гибели солдат в мирное время на территории страны за последние 10 лет. Матери допризывников требуют узаконить положение о том, что в период службы армия целиком и полностью отвечала за жизнь и здоровье солдат, чтобы для военнослужащих срочной службы было введено социальное страхование, чтобы родственники погибших солдат или покалеченные во время службы были обеспечены пенсиями, независимо от того, произошло это в боевой операции или нет. Они требуют не призывать

в строительные войска людей, которые по состоянию здоровья не могут быть призваны для прохождения строевой службы. Они требуют ликвидации всех строительных частей, введения альтернативной службы, отсрочки от службы всей студенческой молодежи. Их требования вполне справедливы, они продиктованы гневом и личной болью. Что же ответит Президент?\*

А пока продолжают гибнуть молодые ребята в солдатской форме, посылаемые в различные горячие точки страны для устранения национальных и иных конфликтов. И не только в горячих точках. По данным Комитета родителей военнослужащих, ежедневно из Советской армии прибывает до двух десятков гробов\*\*.

---

\* Данное Обращение было принято в начале августа 1990 года и только 1 ноября, после неоднократных требований Всесоюзного комитета родителей военнослужащих, Президент СССР принял их представителей в Кремле.

После беседы с ними он обещал создать специальную комиссию по расследованию фактов гибели военнослужащих в мирное время. Он обещал также в ближайшее время издать Указ, в котором будут предусмотрены срочные меры по всем затронутым на встрече вопросам. А вот насколько действенным окажется Указ Президента СССР и его поручения Совету Министров СССР, Министерству обороны, Министерству юстиции и Прокуратуре СССР? Это, по-видимому, покажет будущее. - *Прим. автора.*

\*\* 24 октября 1990 года, например, погиб (по официальным данным, в автомобильной катастрофе) военнослужащий Владимир Крупнов, 1970 г. рождения, проходивший службу в одной из строительных частей г. Волгограда. За неделю до этого трагического случая его родители, проживающие в г. Ногинске, получили телеграмму о том, что их сын находится в самовольной отлучке.

Как правило, в самовольную отлучку уходят те, кто доведен до отчаяния невыносимыми условиями службы и "дедовщиной". Отчаявшиеся идут на самоубийство, членовредительство, дезертирство и, реже, на сопротивление, что тоже нередко приводит к трагическому исходу.

Если подразделение покидает военнослужащий срочной службы, захватив с собой оружие и боекомплект к нему, то группа по его захвату инструктируется приблизительно так: в случае вооруженного сопротивления при задержании

Пока же принято решение о расформировании ведомственных строительных частей. Но они остаются при Министерстве обороны СССР и по-прежнему могут быть заняты везде и всюду, не только на строительстве гражданских объектов и сельхозработ, а и на возведении дач генеральским и другим военным бонзам - об этом до сих пор свидетельствует наша пресса. Да и зачем терять столь дешевую рабочую силу? Быть может, военных строителей скоро будут использовать в качестве дармовой рабсилы на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях? Ведь людей, производящих материальные блага, в стране становится все меньше и меньше.

### Какие призраки бродят по Союзу?

Раньше, в школьные годы, я наивно считал, что армия нам нужна для защиты необъятных границ первого в мире рабоче-крестьянского государства от возможного нападения империалистических стран. Ведь в школе-то нас учили тому, что империалисты, якобы, жаждут нашего уничтожения, всячески мешают нам строить светлое коммунистическое будущее. А трудящиеся этих стран подвергаются жестокой эксплуатации, задыхаются в тисках капиталистической системы: там, мол, и безработица, и кризисы всякие, депрессия, преступность чудовищная, обнищание масс - в общем, загнивание и экономическое, и духовное.

Теперь вроде бы всем становится ясно, что никто на нас нападать не собирается. Наоборот, - нас боялись во всем цивилизованном мире, с нашей полубредовой пещерной теорией классово-борьбы, которую уже давно пора сдать в архив, с нашим насаждением прокоммунистических тоталитарных режимов в различных регионах планеты и т. д. (Чего стоит один кровавый коммунизм Пол Пота в Кампучии?)

---

находящегося в самовольной отлучке, при угрозе жизни членов группы захвата или гражданских лиц, допускается его уничтожение на месте сопротивления. - *Прим. автора.*



От кого же мы теперь собираемся защищаться, если коммунистические и империалистические угрозы постепенно уходят в разряд мифов? Зачем нам теперь содержать такую громадную армию? Зачем нужны такие непомерные для нашего бюджета и налогоплательщиков расходы на военно-промышленный комплекс и армию? Ведь это абсурд - производить столько ракет и танков, другое вооружение, а граждан страны скоро одеть, обуть и прокормить будет нечем. Призрак голода блуждает по России. Уже во многих ее городах введена талонно-карточная система распределения продуктов питания. Куда же дальше?

И не только призрак голода блуждает по стране. Национальные вооруженные конфликты в Союзе "нерушимом республик свободных" стали уже явью. На горизонте все явственнее маячат призраки новой гражданской войны. В Армении и Азербайджане они уже налились плотью и кровью.

В прессе все чаще муссируются слухи и домыслы о возможном военном перевороте и установлении военной или иной диктатуры в стране. Хотя нас пытаются уверить, что военный переворот - не в традициях советской армии. Так или иначе, но тоска "по твердой руке" уже присутствует у многих. Быть может, я преувеличиваю и сгущаю, так сказать, краски? Хотелось бы, ей-Богу, ошибиться.

Настораживает то, что еще в предвыборной борьбе за мандаты народных депутатов СССР и РСФСР активно участвовали немалые армейские чины. Многие из них стали депутатами и оказались в Верховном Совете страны, республик и советах областных и городских. А такие из них, как, например, генерал-полковник А. Макашов, не упускают возможности побряцать устрашающей лексикой и решимостью, погрозить мощным кулаком разыгравшимся в демократию депутатам. Чего стоит его маниакальное выступление с трибуны Учредительного съезда РКП? А ведь в его руках находится командование войсками Приволжско-Уральского военного округа. И нетрудно, наверное, догадаться, как он поступит при получении соответствующего приказа...

Одному из кандидатов в народные депутаты РСФСР, подполковнику ВМФ, вызвавшему у меня, кстати, симпатию, в ходе его предвыборных встреч в феврале 1990 года с избирателями Ногинского района, я задал вопрос о том, что он думает о возможности новой гражданской войны, и считает ли возможным военный переворот в стране? И он четко, как и полагается военным, лаконично и вполне серьезно сказал:

- Новой гражданской войны никто из здравомыслящих людей не желает. Однако если страна все дальше будет скатываться к анархии и хаосу, военные, если поступит надлежащий приказ, сделают свое дело...

Интересно, от кого же может исходить подобный приказ? А уж какое дело могут сделать военные, наверное, не трудно догадаться...

Неужели от едва народившейся демократии, судорожных попыток создания действительно правового государства с цивилизованными формами экономических и других структур, мы идем к анархии, к новой братоубийственной войне, к введению чрезвычайного положения, к военной или иной диктатуре? Неужели еще и это предстоит пережить нашему многострадальному народу? Не избавлял нас Бог ни от тюрьмы, ни от сумы, неужели еще предстоит пройти сквозь диктатуру неосталинского типа?

Тогда, конечно, есть смысл содержать почти пятимиллионную армию и в довеске к ней дешевую рабочую силу - служащих военно-строительных отрядов.



## Фольклор советской армии

### *Попытка исследования и систематизации*

Я служил в армии в 1984-1986 гг. Практически с первого дня службы стал записывать бытующие в солдатской среде характерные словечки и поговорки. К "дембелю" у меня накопилась уже изрядная коллекция. Надо сказать, что почти у каждого солдата или сержанта срочной службы есть в записной книжке несколько страниц, отведенных специально для армейского фольклора. Такая записная книжка во многих воинских частях составляет неременный атрибут "дембеля". Другими словами, у солдатского фольклора существует уже и письменная традиция. Нужно было лишь всё это свести воедино...

Вернувшись домой, я обогатил свою коллекцию еще и воспоминаниями друзей, приятелей, знакомых. Таким образом, собранный здесь материал представляет собой довольно широкий срез армейского фольклора второй половины 80-х годов, всех существующих родов войск (кроме ВМФ), а географически - охватывает территорию всего Союза: от Прибалтики до Камчатки и от Заполярья до Кушки.

Несколько оговорок. Записывал и помещаю в своем собрании я не всё подряд, а только то, что, с моей точки зрения, представляет собой хоть минимальную художественную ценность. Материал весь дается в первозданном виде, без моей обработки, за исключением тех редких случаев, когда этого невозможно избежать по морально-этическим соображениям (такие случаи специально оговариваются).

Всё собранное - с известной долей условности - я разбил на семь частей: 1. Краткий толковый словарь; 2. Аббревиатуры; 3. Пословицы и поговорки, 4. Афористические выражения; 5. Образные выражения; 6. Некоторые стихи; 7. "Указ Воеводы Всея Руси".

Перед каждым разделом - специальная разъяснительная записка.

Итак

### *Часть 1. Краткий толковый словарь*

Особенностью этого раздела являются короткие, ёмкие выражения, придуманные поколениями солдат срочной службы для определения повседневных армейских слов и терминов. Нетрудно заметить, что данные определения представляют собой в большинстве случаев названия известных кинофильмов, популярных книг, стихотворные строки... Человек, знакомый с армейской средой, поражается точности, правомерности найденных формулировок.

#### **А. АРМИЯ**

1. Та же школа, только в ней, как бы хорошо ты ни учился, все равно останешься на второй год.
2. Это волчья тропа, по которой нужно идти, оскалив зубы.
3. Это большая семья, но лучше бы я оставался сиротой...

#### **Б. БАНЯ. Синоним слова "счастье" БЕГ ПО ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ В ПРОТИВОГАЗЕ. Земля в иллюминаторе.**

#### **В. ВЕЧЕРНЯЯ ПОВЕРКА. Вспомни имя свое! ВОДКА. Враг солдата. Но солдат не боится врагов...**

- Г.        ГАУПТВАХТА**  
1. Как закалялась сталь.  
2. Горе побежденным.  
3. Его пример другим наука.
- Д.        ДЕЖУРНЫЙ ПО РОТЕ. Кому не спится в ночь глухую.**  
**ДЕМБЕЛЬ (ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ). Белеет парус одино-**  
**кий.**  
**ДНЕВАЛЬНЫЕ. 1. Три мушкетера.**  
**2. Они умирали стоя...**
- ЕЁЖ.    ---**
- З.        ЗАВТРАК. Кушать подано-с!**  
**ЗАХОЖДЕНИЕ РОТЫ В СТОЛОВУЮ. Штурм Зимнего.**  
**ЗОМП (ЗАЩИТА ОТ ОРУЖИЯ МАССОВОГО**  
**ПОРАЖЕНИЯ). Чем больше морда, тем больше**  
**противогаз.**
- ИЙ.     ---**
- К.        КАНЦЕЛЯРИЯ КОМАНДИРА РОТЫ. Логово зверя.**  
**КАПТЕРКА ПИСАРЯ. Остров сокровищ.**  
**КАРАУЛ. Нам бы ночь простоять да день продер-**  
**жаться.**
- Л.        ЛЮБОВЬ. Слово такое.**
- М.        МАРШ-БРОСОК. Загнанных лошадей пристреливают,**  
**не правда ли?**  
**МАСЛО. Кусочек счастья (по утрам).**
- Н.        НАРЯД НА ПОСУДОМОЙКУ. Дискотека.**
- О.        ОБЕД. см. ЗАВТРАК**  
**ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА. Дай стрельнуть!**  
**ОЖИДАНИЕ ПРИЕЗДА ГЕНЕРАЛА. Вот придет**  
**барин, барин нас рассудит...**

ОТБОЙ. 1. Помни: сон приблизит нас  
К увольнению в запас.

2. Сон-тренаж.

ОТПУСК. Десять дней, которые потрясли мир.

П. ПЕРВЫЕ ПОЛГОДА СЛУЖБЫ.

1. Приказано выжить.

2. Без вины виноватые.

ПОДЪЕМ. Хмурое утро.

ПОДЪЕМ ПО ТРЕВОГЕ. Пять минут на размышление.

ПОЛИТПОДГОТОВКА. Красная армия всей сильней.

ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН. Офицер в звании капитана 15 лет подряд.

Р. РАЗВОД НА ЗАНЯТИЯ. Много шума из ничего.

РЯДОВОЙ. Господин Никто.

С. САМОХОД (САМОВОЛКА).

1. Ждите меня на рассвете.

2. В бой идут одни старики.

САНЧАСТЬ. А зори здесь тихие...

СОЛДАТСКАЯ ПОЛУЧКА. И скучно, и грустно.

СОН НА ПОСТУ. Тревожное счастье.

СПОР С СЕРЖАНТОМ (учебн.). Игра со смертью.

СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА. Хождение по мукам.

СТРОЕВОЙ ПЛАЦ. Место встречи изменить нельзя.

Т. ТАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ. Сопки ваши - сопки наши.

ТЕЛЕПЕРЕДАЧА "СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ".

"В гостях у сказки".

У. УВОЛЬНЕНИЕ В ГОРОД. Очевидное-невероятное.

УЖИН. см. ЗАВТРАК.

УТРЕННИЙ ОСМОТР. Следствие ведут знатоки.

Ф. ФИЗЗАРЯДКА. Казнь на рассвете.

ФИЗПОДГОТОВКА. Никто не хотел умирать...

ХЦ. ---

Ч. ЧАСОВОЙ. Труп, завернутый в тулуп.

ШЩЭЮЯ. ---

### *Часть 2. Аббревиатуры*

Довольно редкий жанр в армейском фольклоре. За все время мне попались лишь три удачные:

1. БМП - Братская Могила Пехоты.
2. К - колоссальная  
У - универсальная  
Р - рабочая  
С - сила,  
А - абсолютно  
Н - не желающая  
Т - трудиться.
3. С - самым  
Л - лучшим  
У - уроком  
Ж - жизни  
Б - была  
А - армия.

### *Часть 3. Пословицы и поговорки*

Наиболее распространенный вид устного армейского творчества. Мною подобраны 27 наиболее интересных высказываний. На мой взгляд, их без особой натяжки можно назвать солдатской мудростью. Собранные здесь воедино пословицы и поговорки, как мне кажется, опровергают негативный смысл такого понятия, как "солдатский (казарменный) юмор".

1. В армии круглое переносится, а квадратное перекатывается.
2. В армии нет больных, в армии есть только живые и мертвые.
3. В армии нет воров, в армии есть ротозеи.
4. Вечных двигателей нет, зато есть вечные тормоза\*.
5. В карауле: и спать охота, и Родину жалко.
6. Война войной, а обед - по распорядку.
7. Все мы - солдаты, от рядового до генерала. Но рядовой есть рядовой, а генерал есть генерал.
8. Всякую проблему можно разрешить тройко: рационально, нерационально и по-военному.
9. Дайте солдату точку опоры и он... уснет.
10. Дембель неизбежен, как крах мирового империализма. Но пока существует империализм - дембель в опасности!
11. Закон о порядке: пускай безобразно, зато однообразно.
12. Как одену португею, всё тупею и тупею...
13. Кто служил в учебке - гордись, кто не служил - радуйся.
14. Куда солдата ни целуй, у него везде задница.
15. Лучше слов на свете нет, чем "перекур", "отбой", "обед".
16. Не хочешь жить как человек, будешь жить по Уставу.
17. Обуревающий салага хуже американского агрессора.
18. Получив приказание, не торопись его исполнять. За ним может последовать команда "Отставить".
19. Получил оплеуху от земляка - как дома побывал.
20. Приказ подчиненным перед отходом ко сну: "По тревоге не будить, при пожаре выносить первым!"
21. Пункт 1. Командир всегда прав. Пункт 2. Если командир не прав, смотри пункт 1.
22. Реклама: "Если вы хотите научиться стрелять, как ковбой и бегать как его лошадь, поступайте в высшие военно-командные училища СССР!"

---

\* "Тормоз - неловкий, неуклюжий солдат. - К. П.



23. Самое трудное для человека - это вынужденное безделье. Но солдат трудностей не боится!

24. Умом ты можешь не блистать, но сапогом блеснуть обязан.

25. Чем больше в армии "дубов", тем крепче наша оборона.

26. Чем дальше марш-бросок, тем ну его к черту...

27. Чистые погоны - чистая совесть.

#### *Часть 4. Афористические выражения*

В этом разделе представлены наиболее употребляемые высказывания (или присказки) в армейских условиях. Чаще всего они звучат из уст командиров или старослужащих солдат. В двух случаях (№№ 2 и 5) я позволил себе заметить нецензурное слово.

1. Дембель должен быть толстым, грязным и ленивым.

2. Забыли, кто вас дерет и кормит?!

3. Копать будете от забора и до обеда.

4. Молодые, вешайтесь!

5. Нас дерут, а мы мужаем.

6. Пять минут неуставных взаимоотношений.

7. Смирно! Вольно. Занимайтесь.

8. Сначала тридцать раз отожмись, потом обращайся.

9. Солдат ребенка не обидит.

10. Упал, отжался, доложил.

11. Я вам покажу небо в алмазах!

#### *Часть 5. Образные выражения*

Данный раздел логически примыкает к предыдущему. Только здесь высказывания носят более развернутый, литературный характер.

1. "А дембель все-таки неизбежен!" - подумал салага и стер со лба пот половой тряпкой.

2. В то время, когда космические корабли бороздят просторы Вселенной, негры в Африке борются за свою независимость, а офицеры с большими звездами просиживают штаны в канцеляриях, вам, дорогие "дедушки", до дембеля осталось... (столько-то) дней!

3. Два года в тисках железного Феликса. (ВВ)

4. Для военного праздник - как для лошади свадьба: голова в цветах, а задница - в мыле...

5. За службу я съел овса столько, что придя домой, мне было стыдно посмотреть в глаза своей лошади.

6. Мечта курсанта в учебке: "Вот вернусь домой, куплю себе маленькую собачку, назову ее Сержантом и каждый день буду избивать до полусмерти!"

7. Тебе служить еще как медному котелку!

8. Чтоб служба медом не казалась...

### *Часть 6. Некоторые стихи*

Поэзия в армейском фольклоре представлена очень широко. Но, к сожалению, хорошие стихи здесь - крайняя редкость. Я подобрал девять разножанровых стихотворений. № 7 даю в своей обработке. № 6 армейской традицией приписывается Петру I...

1. Бог создал рай,  
Черт - Н-ский край.  
Бог - отбой и тишину,  
Черт - подъем и старшину.
2. Завидуем предкам нашим,  
В каменном веке жившим,  
Хоть и всякую гадость жравшим,  
Но в армии не служившим!

3.

### К СОЛДАТУ

Товарищ, верь, взойдет она,  
Звезда пленительного счастья!  
Исчезнут наши имена  
Из толстых списков этой части!  
Казармы рухнут, солнце встанет  
И на обломках КПП  
Возникнет надпись: "ДМБ"!

4.

### КУРСАНТЫ (из песни)

Лишь только дежурный объявит отбой,  
Лишь только спать лягут сержанты,  
На пыльных полах появляется блеск -  
То пашут курсанты,  
То пашут курсанты...

5.

### МОЛИТВА СОЛДАТА

Упаси меня Бог  
От ночных тревог,  
От кросса далекого,  
Турника высокого,  
От занятий тактических,  
Строевых и физических...

6.

О воин, службою живущий,  
Читай Устав на сон грядущий!  
И ото сна опять восстав,  
Вновь и вновь читай Устав!

Я, "зеленый", тот еще гусь,  
 Принимаю присягу и клянусь:  
 "Дедушку" слушать всегда и во всем  
 Беспрекословно, ночью и днем!  
 Чистить, лелеять его автомат,  
 Скажет - идти за него в наряд.  
 В минуту свободную - в руки Устав,  
 Выучить: старший всегда во всем прав!  
 Как "дедушку", Родину нашу любить,  
 Преданным "дедушке" с Родиной быть.  
 "Дедушку" первым спасу я в бою,  
 Грудью прикрою, отдам жизнь свою!  
 Присягу пусть скрепит солдатский ремень,  
 Присяга бывает не каждый день!  
 А если ж нарушу я клятву-закон,  
 До дембеля имя мое: "салабон"!

## СОЛДАТСКАЯ "КОЛЫБЕЛЬНАЯ"

День прошел, мы масло съели,  
 На прогулке песню спели.  
 Службы срок на день короче,  
 Дембелям - спокойной ночи!

Течет наша жизнь по суровым законам,  
 И лучшие дни мы отдали погонам.

Наконец,

*Часть 7. "Указ Воеводы Всея Руси"*

и последняя.

Самый большой праздник в армии - день выхода в свет очередного приказа министра обороны СССР об увольнении

в запас. Приказ этот выходит дважды в год, в конце марта и в конце сентября. Его ждут в армии даже те, кому еще до дембеля служить и служить ("как медному котелку"). Потому что в день выхода Приказа происходит обряд "взросления": "духи" переводятся в "салаги", "салаги" - в "черпаки", "черпаки" - в "деды", а "деды" автоматически превращаются в "дембелей", "ветеранов". Другими словами, Приказ косвенным образом касается всех, и потому это всеобщий праздник.

"Указ Воеводы Всея Руси" представляет собой стилизованную под старину, под петровские указы обработку современного Приказа об увольнении в запас. Он зачитывался в бытность моей службы в день выхода Приказа, после отбоя, когда офицеры и прапорщики расходились по домам. Мне встречалось множество вариантов данного Указа. Привожу здесь (с незначительными исправлениями) наиболее удачный и понравившийся мне, первый Указ в моей службе, осени 1984 года, когда "Воеводой Всея Руси" был еще Дмитрий Федорович Устинов (до Язова и Соколова).

## УКАЗ

Сентября 27 дня, лета 1984 от Рождества Христова. По войску ратному о дне дембельском.

Мы, Воевода Всея Руси, Устинов Дмитрий сын Федора, хранимые волей Божьей на смерть супостатам, находясь в добром здравии и ясном уме, повелеваем:

§1. Распустить из дружины на жизнь вольную всех дембелей старейших, славно отслуживших державе нашей срок положенный и не щадивших живота своего.

§2. Обрить в рекруты всех отроков, явившихся на свет Божий в летах 1965-1966 от Рождества Христова, дабы сохранить рать нашу и покой мирный в час дембельский.

§3. Дружинников, прослуживших 6 месяцев, в честь торжества великого перевести в салаги малые и бить ремнем сыромятным по оголенному месту 6 раз.

Дружинников, прослуживших 12 месяцев, перевести в черпаки годичные и ударять половником по тому же месту 12 раз.

Дружинников, прослуживших 18 месяцев, перевести в де-ды почтенные и сечь ниткой шелковою чрез подушки пуховые 18 раз.

§4. Указ сей огласить всей дружине великой, по небу летающей, по воде и под водой плавающей рати, а также войску русскому, стоящему на землях Чешской, Венгерской, Германской и в других царствах заморских. В честь торжества сего звонить по земле русской во все колокола! Да будет так!

Главный Воевода Всея Руси Великой  
Устинов Дмитрий сын Федора

Град стольный Москва

*Послесловие.* Вот то, что мне удалось собрать. Согласен, что далеко не всё в солдатском фольклоре удачно. Но не нужно забывать, что средний возраст военнослужащего срочной службы в СССР - 19 лет. Для столь молодых парней все, представленное здесь, думаю, выглядит все же неплохо.

1990 г.



## Великодержавный провинциализм

Чтобы обидеть жителя Пушкинских Гор, достаточно назвать его провинциалом. Он согласен считать себя кем угодно, но провинциалом - нет, увольте. Эта фактическая принадлежность к глубинке и нежелание слыть жителем ее - это и составляет сложный психологический феномен, который я назвал бы великодержавным провинциализмом.

В самом деле, Пушкиным знамениты в России многие места, но похоронен он - только тут. Святое место. Помимо общенародной, еще и местная гордость.

То и дело слышу: почему в Грузии, в местечке Гори, до сих пор стоит памятник Сталину и открыт музей Сталина? Но, позвольте, что же останется от славы при закрытом музее? А так - Гори знаменит на весь мир.

Так и Пушкинские Горы. Или, если угодно, - Пушкинские Горы.

Сам статус этого поселка городского типа уникален. Государственный музей-заповедник, 700.000 туристов каждый год - это больше, чем жителей всей Псковской области, к которой Пушкинские Горы относятся. Заповедник приносит государству баснословный доход - и... полная нищета местного хозяйства. Три ресторана, две гостиницы, две турбазы, и всё это всегда битком забито - скажите, в каком поселке городского типа вы такое видели? Мало того, в самом центре поселка, в самом сердце его, под вывеской "Библиотека"... Нет, всё перепутал. Это обычно под вывеской "Библиотека" скрывается кое-что, а тут наоборот -

табличка гласит: "КГБ", а в недрах здания по-девически притаилась районная библиотека. Скажите, что не символично.

С этим пушкиногорским КГБ мне однажды пришлось познакомиться. Дело было в начале 80-х годов. Я тогда работал в заповеднике экскурсоводом, а в Ленинграде шло следствие над одним моим знакомым. И вот как-то утром прихожу на службу, а уборщица мне и говорит:

- Иди, ждет тебя уже.

- Кто, - говорю, - ждет?

- Кто. Счас он тебе скажет - кто. Узнаешь.

Звали гебиста, как и полагается в этих местах, - Александр Сергеевич. Вероятно, специально растили для заповедника.

- Иван Никитич, - говорит он, - вам надо сейчас же выехать в Ленинград в следственное управление. Не откладывая ни на один день. Поедете сегодня. О билете на автобус можете не беспокоиться.

Автобусный билет в день отъезда - вещь в Пушкинских Горах недоставаемая.

Я ухмыльнулся и говорю:

- К сожалению, не могу никак. Работаю, вожу экскурсии и от денег, от заработка отказаться не могу. Жаден, - говорю, - до денег патологически.

Гебист Александр Сергеевич оказался истинным материалистом: денежный аргумент поставил его в тупик.

- Я даже не знаю, - растерянно говорит он, - как и быть. Что же мы, Иван Никитич, в Ленинград-то ответим?

Так он проходил к нам в экскурсионное бюро три утра подряд.

На утро четвертое просыпаюсь я в своей деревне от стука в дверь. Это прибежала девочка с турбазы.

- Иван, - говорит, - уходите в лес, за вами приехали. Из Ленинграда, черная "Волга".

Я думаю: что за бред? в какой лес?

Сел я есть кашу с молоком. Смотрю в окно: фр-р-р... выезжает на лужайку черная "Волга". Три Александра Сергеевича сажают меня в машину, я себя чувствую важным



государственным преступником, и мы мимо турбазы мчимся в Ленинград. Местные девочки смотрят мне вслед с опаской и восхищением.

Забавно, что довозят меня до Ленинграда за 4 часа, то есть ровно в десять раз быстрее, чем жандармы везли в Святые Горы мертвого Пушкина.

Зато и отношение местных жителей к своей госбезопасности несерьезное. Всё на виду, каждый день его рожа мелькает. "Вон чакист поехал, - говорят бабки, - шифяр на крышу павёз".

Или официантка в местном ресторане "Лукоморье" говорит:

- Не-а, пива не могу щас принести.
- А что, - спрашиваете вы, - буфетчицы, что ли, нету?
- Да не, она чакисту водку отпускает. Чакист на кухню с черного ходу пришол.

\* \* \*

Ресторан здесь - центр мира. Здесь не столько едят и пьют, сколько пьют и сплетничают. В последнее время - просто сплетничают, потому что пить уже нечего.

Когда-то продуктовый магазин Пушкинских Гор был заставлен тремя видами товаров: трехлитровыми банками с маринованными огурцами, консервами "Путассу бланшированная" и водкой. Первой уплыла путассу. Потом исчезли огурцы. Водку стали продавать по талонам немедленно после известного указа. Бабки глядели осатанелыми, растерянными глазами: ведь шофер с ворованными дровами или любой мужичок крыльцо починить - все по-прежнему просят бутылку. Не на бутылку (это куда бы ни шло), а именно саму бутылку.

Хорошо торговым работникам: они товар припрячут и ждут, когда из Москвы или Ленинграда очередной "крысовод" с группой приедет. "Крысовод" водку привезет, а мы ему - книжку про Пушкина или, по теперешним временам - Салжаницана.

Еще хорошо быть Семеном Гейченко, директором заповедника. Им быть даже лучше всего. Сами посудите: ему со всей России подарки шлют: конфеты, полотенца, самовары (он самовары коллекционирует) и книги, книги, книги. Семен Степаныч что нужно - оставит, а что не нужно - в ларек выставит на продажу. Неудивительно поэтому, что прихожу я раз с группой поутру в музей, а в кассе гигантский художественный альбом Лукаса Кранаха продается. Итальянского издательства "Скира".

Был бы Семен Степаныч Гейченко таким простым и народным, за какого его принимают, то, думаю, вырученные от подарков деньги раздавал бы истинным героям - работникам заповедника, которые на что существуют - полная тайна. Такая же тайна, как и судьба этих проклятых подарочных денег.

Но поколебать общественное заочное мнение в отношении Гейченко вряд ли удастся. Тут нужно приехать и самому столкнуться, как столкнулась однажды моя группа туристов. Мы подошли с ними к могиле Пушкина уже перед закрытием Святогорского монастыря-музея. Видим: в воротах стоит Гейченко.

- Закрыто, - говорит, - поворачивайте.

Тут мои туристы узнали его:

- Ой, Семен Степаныч, здравствуйте! Семен Степаныч, ну пропустите нас, мы Пушкину поклониться хотим.

- Не-а, не пушу, - отвечает Герой Социалистического Труда, - сейчас тут люди должны прийти.

Моя группа примолкла. Кто-то в толпе сострил: "Народ безмолвствует". Потом женский голос спросил:

- Люди должны прийти... А мы что же - не люди?

- Не-а, - отвечает любимец общественного мнения.

Народ мой совсем притих.

- А кто же мы?

- Вы? Да так - мразь, - не поворачиваясь, отвечал Гейченко, но тут завидел издали какого-то знакомого и двинулся к нему.

Но, может быть, - это просто внешняя грубость, маска, за которой скрывается, как часто бывает в России, настоящая мужицкая доброта? Может быть, Семен Степанович совершает тайные благодеяния или проявляет свои высокие душевные качества, завидя гибнущего человека?

Увы, в начале 70-х годов, когда поэт Иосиф Бродский был в отчаянном положении, когда никто и нигде не брал его на работу, он приехал к друзьям-экскурсоводам в Пушкинские Горы. У него оставалась последняя возможность - устроиться библиотекарем в музейную научную часть. Было слишком очевидно, что в тех местах, где за полтора года перед тем великий русский поэт проводил свою ссылку, уж здесь-то директор заповедника (постоянно воспевающий гонимого Пушкина) даст кусок хлеба гонимому собрату.

Нет, не дал, отказал. Александр Сергеич-гебист оказался для Гейченко бóльшим аргументом, нежели Александр Сергеич-поэт.

\* \* \*

На чем же держатся Пушкинские Горы? Как и вся страна - на мифах. Один из главных мифов этих мест - это судьба заповедника во время войны. Карателей в этих краях не было. Но без образа врага мифов не существует. Поэтому - придумаем врага. Например, придумаем (автор выдумки - Семен Степанович), что немцы глумились над могилой Пушкина, заминировали ее перед отступлением, разорили музей и т. д. Все это гора лжи. Нет, я не хочу оправдывать завоевателей, но скажите, чего стоят наши добродетели, если они построены на принижении врага? Разумеется, в Ясной Поляне и в имении Чайковского в Клину фашисты бесчинствовали, но - будем смелыми - в Пушкинских Горах немцы были другие. Об этом рассказывают местные жители, когда поживешь у них, разговоришься. Старуха баба Наташа из деревни Кириллово говорила, что немецкий солдат - представьте: фашист - на коленях стоял перед ней, умолял не выдавать офицеру, что он увивается за одной кирилловской русской девкой.

Меня эти рассказы бабы Наташи уже не удивляли: среди паломников в этих краях встречаются не только праздные туристы. Например, часто бывают люди воевавшие. Был однажды минер, которому при освобождении Пушкинских Гор было приказано разминировать могилу Пушкина. Так вот не была она заминирована, не была и всё тут. Мины были на дороге, проходившей под Святогорским монастырем, а на могилу не покушались. Между прочим, об этом свидетельствует и деревянная табличка, которую музейные работники хранят с военных времен как реликвию. Табличка гласит, что мин в могиле Пушкина не обнаружено. А турист читает сочетание слов: могила, мины, Пушкин - и думает: сволочи, каратели.

Да, конечно, немцы снесли колокольню Успенского собора в монастыре, но колокольня возвышалась над лесом и была отличным ориентиром для наших войск. Так что и колокольню, выходит, снесли не для осквернения архитектурного или культового памятника, а для устранения мишени.

Между прочим, перед тем, как ее снести, немцы совершили еще одно необъяснимое для нашей мифологемы действие: они, чтобы не пострадала от взрывной волны могила Пушкина, чтобы не повредился обелиск на надгробии, обложили могилу досками, мешками с песком, укутали, другими словами. Все это трудно понять - трудно в пределах мифа. А миф-то необходим.

Иначе придется рассказывать, что в самый разгар войны в Михайловском, на усадьбе нашего поэта работал музей, охранялись экспонаты. Содержали музей немцы.

Иначе придется поведать, что дом Пушкина уничтожен прямым артиллерийским попаданием не тех, кто в нем находился (то есть не немцами), а тех, кто его обстреливал из-за речки Срости; а обстреливали его мы, русские. И свидетельство тому имеется, да не показывается: это советский артиллерийский снаряд, найденный под обломками дома.

Миф. Главное - миф поддерживать. И Александр Сергеич нынешний подгоняет Александра Сергеича бывшего под нужный размер и под нужную судьбу. А уж судьба Пушкину

придумана... Это еще один нескончаемый миф. Его преодолеть будет, пожалуй, труднее всего. Посмотрите, как злобно поднялась шерсть у поклонников мифического, пропагандного Пушкина, стоило журналу "Октябрь" напечатать отрывки из "Прогулок с Пушкиным" Андрея Синявского. Но я даже не буду браться за эту тему: она болезненна и выглядит непочтительно для короткого разговора, а для длинного нет сейчас возможности.

Как ни знаменательна связь Пушкинских Гор с войною, как ни ежеминутна связь с КГБ, все же именно постоянство этих связей, их рутинность гасит очень скоро даже самый пристальный интерес. Пушкинские Горы живут чем-то иным.

\* \* \*

Я в первое время не понимал - чем же? Мне казалось, что лучшего места в мире Господь Бог не выдумывал. Настоящая Россия, подлинная глубинка, леса, воздух. И - не что-нибудь, а - Пушкин. Хочешь - почувствуй себя в глуши, хочешь - в светском обществе, ибо сюда едут и едут самые умные, самые тонкие, самые смелые. Нигде не перевидал я столько диссидентов, опальных авторов, нигде не прочел такого количества запрещенных книг, как здесь. Здесь и свежие новости об арестах и обысках, здесь без помех слышна "Свобода". И мне казалось, что нормальный человек ни за что отсюда уехать не захочет. Такого соединения условий для полноценной духовной жизни просто нельзя себе и представить...

Но что-то не видел я счастья на лицах местных музейщиков, какая-то осатанелость, загнанность была в их взорах. Я начинал понимать, что их жизнь - это жизнь на вечном полустанке; мир мельтешит вокруг, манит, подмигивает и уносится вдаль, беззаботно хохоча. И знаменитости всякие - они лишь заезжают сюда; заедут, вскружат голову и - вжик! - только пыль клубится по столбовой дороге... Я подумал тогда, что ведь это все равно, что жить на станции Астапово, где умер Лев Толстой. Там

тоже ведь - музейчик. А мимо летят и летят... И захочется, как героине блоковского стихотворения, - под поезд.

Когда мой приятель сказал мне, что одну из музейных девиц жених обещал увезти в Колумбию, я расхохотался: нашу Верку-то? В Колумбию? Боже мой, как все, видать, просто было: заезжал какой-нибудь студент из Москвы, усатенький, со сладкой внешностью, какой-нибудь двоечник из института Лумумбы, которого вместе со студенческой группой пригнали сюда на "Икарусе" в эту непонятную русскую глухомань. Увидел он молодую девку в соку, наобещал ей горы золотые... Эх, не хочется нашей Верке думать до конца, не может себе признаться, что хоть ты вечность просиди, проглазей на дорогу - не вернется колумбиец. Видно, пушкинский "Станционный смотритель" слишком запал Верке в душу. Она думает, что гусар - он на то и гусар, что непременно должен умыкнуть. Нет, увы, надул гусар.

И Верка вся раздребезженная с тех пор, какой тут Пушкин, какие ленинградские или московские знаменитости! Ее вон куда поманили...

Мне кажется, что это беда всех наших глубинок, но проявляющаяся здесь, в этих местах, сильнее из-за их так сказать специфики. *Неисполнение желаний* - вот то душевное состояние, которое отравляет жизнь молодого человека в России. Слишком далеко увлекает жизнь, даже просто городская, а если тебя поманила еще и столичная богема, а если тебе еще и иностранец подмигнул... Слишком высоко для пушкиноторского жителя поднята своего рода планка социальной нормы. Избыток знаменитостей вокруг лишает провинциала правильного чувства меры. Развивается духовная усталость, пресыщенность.

В одном из романов французского писателя Гюисманса герой настолько пресытился светской богатой жизнью, настолько устал от постоянной изысканности и исключительности, что полностью ослабел, удалился высоко в горы, в хижину, где мог питаться только крепким отваром бульона (выпивая при этом крохотный наперсток), и единственным другом этого истощенного развратом героя осталась

черепаша, панцирь которой был инкрустирован драгоценными камнями.

Житель Пушкинских Гор, как это ни печально, волею обстоятельств идет по пути от обычного человека к гюисмансову герою. В нем, хочешь - не хочешь, развивается великодержавный провинциализм.

Но не будем и сами высокомерны к нашим пушкиногорцам. Я от них встречал только добро. И в конце концов Антон Павлович Чехов недаром призывал выдавливать из себя раба по капле, - ибо разом выдавить невозможно. Нельзя разом избавиться и от комплекса провинциализма. И потом - кто сказал, что мы сами-то не провинциалы? Я лишь все время помню еще одни чеховские слова: да, мечты человеческие сбываются только в столицах, но мечтать по-настоящему человек может лишь в провинции.

Наблюдательное замечание.

*Ленинград*



## У истоков освободительной идеологии

Исполнилось 200 лет тому, как начальник Петербургской таможни, неподкупный чиновник Александр Радищев приватно в домашней типографии тиражом в 600 экземпляров выпустил свое сочинение "Путешествие из Петербурга в Москву" – за что лишь милостью императрицы Екатерины избежал казни и был сослан в Сибирь, а через семь лет амнистирован Павлом I.

Книге этой суждено было стать классическим символом русского освободительного движения, родоначальницей обличительно-публицистического направления русской литературы. На творческую слабость "Путешествия" метко и безжалостно указал еще Пушкин, но так же как и в случае со "Что делать" Чернышевского, не художественное достоинство, а, так сказать, идейность, легендарность и миф определили, а в советское время и узаконили славную значимость "Путешествия".

Но ежели Чернышевский – последователь утопического социализма и позитивизма середины прошлого века, то идеология и тональность Радищевского опуса – кровь от крови, плоть от плоти того, что творилось тогда во Франции.

...Просветительское мироощущение тем шире получило у нас распространение, что ему покровительствовала, им увлекалась (недоброжелатели считают – "заигрывала") и сама Екатерина II. Но, разумеется, до известных пределов. Так, прочитав у Радищева строки о "славных парижских ораторах", государыня сделала следующую помету: "Тут помещена похвала Мирабо, который не единой, но многих виселиц достоин". Ну, конечно же, Мирабо – прямое следствие Дидро и Вольтера, но их Екатерина задаривала, а Мирабо хотела б многократно повесить. Такая непоследовательность свидетельствует либо о том, что мировоззрение Екатерины не было до конца продуманным, либо о каком-то его глубинном дефекте или двусмысленности. Впрочем, не будем и модернизировать ту идейную ситуацию: четко видимое нам, тогда могло казаться не ясным.

Правда, в лицемерии обвинял императрицу еще 23-летний Пушкин, настроенный очень максималистски: "отвратительным финглярством" называл он ее сношения "с философами ее столетия" и даже предрекал царице "проклятия России".

Позже Пушкин, с гениальной быстротой излечившийся от



якобинских клише, показал нам в "Капитанской дочке" другую императрицу, и этот эпизодический образ, с детства воспринимаемый нами, окрашивает скорее в светлые и даже лирические тона всё ее колоритное и богатое царствование.

Уже сама возможность столь... - как теперь говорят, "неформального" поступка Радищева, весьма крупного правительственного служащего на хорошем счету, степенного отца четырех детей - свидетельствует о высоком градусе либеральности Екатерининского правления, на которое - по словам того же Пушкина, но уже умудренного государственным пониманием - "Радищев напал с такой безумной дерзостью".

Конечно, наказание Радищева кажется нам несоразмерно тяжелым. Но не забудем, что, например, во Франции тогда гильотинировали просто по разнарядке - вообще без всякой вины, а у нас после революции Радищева бы расстреляли, не глядя, а позже - сгноили в концлагере или дурдоме. Илимская же ссылка Радищева отнюдь не была убойной: он жил с семьей, перевез туда библиотеку и выписывал иностранную прессу.

Под следствием сам Радищев мотивировал свой поступок "ущемленным честолюбием", но, конечно, главным тут был порыв к... "свободе, равенству, братству". Многоспектральная энергичная социальная реформаторская деятельность Екатерининского правительства: расширение права собственности, гуманизация уголовного права, расширение самоуправления отдельных сословий, широкая либеральная программа, изложенная в "Наказе" - эта деятельность словно оставалась за кадром для тех, кто алкал немедленной справедливости.

...Наиболее вдумчивые и свободные от советизма исследователи Виктор Леонтович ("История либерализма в России") и Василий Зеньковский ("История русской философии") определяют мировоззрение Радищева именно как **радикальное** - в отличие от либерализма Екатерины. Либерализм любые социальные преобразования органично корректирует традицией и исторической эволюцией, радикализм считает, что плодотворнее энергичный, едва ли не хирургический разрыв с прошлым. При условии, что прошлое способно к доброй воле и творческой трансформации в лучшую сторону - либерализм, разумеется, предпочтительнее хотя бы потому, что меньше риска пролиться крови.

Иногда, однако, консервативная коррумпированная структура закостеневаает и растлевается настолько, что эволюционно трансформироваться не хочет, не может... Тогда - "пропасть преодолевают в один прыжок".

Царствование Екатерины свидетельствовало о другом: ее государственный ум и добрая воля меняли существование в лучшую сторону. Такой государыне стоило спешествовать, а не "нарываться", требуя невозможного, хотя

известная уклончивость ее характера и необязательность того, что в каждом конкретном случае лучшее возобладает над чем-то третьим, затрудняло солидарную с ней самоотверженную работу.

Не исключено, что Радищев и впрямь питал в отношении Екатерины некоторые определенные иллюзии, ею не подтвержденные. И никто так не способен возненавидеть правителя, как его энтузиаст, в одночасье в нем разочаровавшийся.

Екатерина мыслила Россию только самодержавно абсолютистской; призыв Радищева поставить закон выше царевой воли – казался ей кощунственным разрывом с исторической традицией. "Параллельно с реформаторскими и характерно просветительскими идеями, – указывает вышеупомянутый профессор Леонтович, – в сознании Екатерины существовали также положительная оценка настоящего порядка и положительный подход к исторической реальности". Добавим от себя, что к "исторической реальности" Екатерина была даже и чересчур снисходительна, сквозь пальцы смотря, например, на мздоимство и казнокрадство и, очевидно, таким образом платя дань своим представлениям о "естественном человеке". Неприкрытый блуд императрицы можно списать на эти же представления...

...Ныне редко кто из нас перечитывает "Путешествие", но ежели решиться и перечесть, то мы почувствуем, что автора возмущает в е с ь современный ему порядок в целом, это возмущение и негодование передаются читателю (не потому что сильно написано, в сильном письме есть катарсис, а потому, что мазохистски растравливается справедливость) – у которого сжимаются кулаки, чтобы поскорей приступить к перекройке по совести тяжкой действительности. "Бунтовщик, хуже Пугачева" – эта реплика Екатерины после прочтения "Путешествия", очевидно, вызвана именно реакцией на такой эффект от прочтения "Путешествия".

Возьмем для сравнения самое антикрепостническое произведение Пушкина "Дубровский". Реакция читателя принципиально иная, нежели от радищевской книги: наше возмущение Троекуровым, на которого нет управы, вседозволенностью по праву сильного и т. п. – располагают не к социальному испепеляющему протесту, но – как в старину говаривали – к усовершенствованию нравов. Пушкин времен "Дубровского", как известно, считал наиболее прочными те общественные преобразования, которые происходят без насильственных потрясений.

Позднее – столь же различные читательские эффекты от Достоевского и Щедрина. При чтении сатир Щедрина хочется от порочного российского уклада не оставить камня на камне. Достоевский пишет о таких ужасах жизни, о столь униженных и оскорбленных – о каких Щедрина и не снилось. И тем не менее, читая Достоевского, мы лишь сильнее любим Россию.

Мало того – в трагедиях, например, Шекспира гекатомбы трупов и океан человеческой подлости и вероломства. Но в целом, познав Шекспира, остаешься с чувством, что человек не омерзительное насекомое (как кажется по прочтении Кафки) – а великая и величавая тайна. Тем более не придет в голову думать, что злодейства шекспировских персонажей обусловлены средой и несправедливым политическим строем. Лишь мышление просветительское внушает: "Накорми, а потом спрашивай добродетели".

...Распространившееся во второй половине XVIII столетия мирочувствование, захватившее и нашего Радищева тоже, четко охарактеризовал знаменитый немецкий правовед Фридрих Савиньи: "В то время по всей Европе (...) было полностью утеряно чувство и понимание величия и самобытности других эпох, а также естественного развития народов и государственных систем, то есть было утеряно понимание всего того, что должно делать историю целительной и плодотворной. В то время стало преобладать безграничное ожидание всяких благ от существующей эпохи. Люди этого времени считали, что именно современная им эпоха призвана осуществить совершенную гармонию".

Такой прыжок от исторических предначертаний – к немедленному земному раю есть логическое следствие секуляризированного понимания бытия. Но своей, если не прогрессистской, то антиклерикальной частью понимание это – как ни парадоксально – задело саму Екатерину в меньшей степени, чем... Радищева: ее удары по Церкви – тому свидетельство. Для расшатывания престола, твердость которого напрямую зависела именно от православного понимания строгой иерархичности мира, своими антицерковными реформами Екатерина сделала больше, чем Радищев шестьюстами экземплярами своей брошюры.

Юный Пушкин, как известно, набожностью не отличался, но, как это ни поразительно, уже в 23 года понимал, что, "угождая духу времени" и гоня духовенство, "лишив его независимого состояния и ограничив монастырские доходы", Екатерина тем самым "нанесла сильный удар просвещению народному. Семинарии пришли в совершенный упадок. Многие деревни нуждаются в священниках. Бедность и невежество этих людей, необходимых в государстве, их унижает и отнимает у них самую возможность заниматься важною своею должностью. От сего происходит в нашем народе презрение к попам и равнодушие к отечественной религии; ибо напрасно почитают русских суеверными: может быть, нигде более, как между нашим простым народом, не слышно насмешек на счет всего церковного. Жаль! ибо греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, дает нам особенный национальный характер. /.../ В России духовенство всегда было посредником между народом и государем, как между человеком и божеством. Мы обязаны монахам нашей истории, следственно и просвещением"...

В реальности, просвещенный абсолютизм, персонифицироваться в котором, очевидно, стремилась Екатерина, разом соскальзывал в деспотию и был угрожаем слева.

И тут опасности радикального слова не стоит недооценивать.

В 1834 году, придя к либерально-консервативному мироощущению и осуждая самочинное издание Радищевым "Путешествия", Пушкин аргументирует так: "Писатели /.../ - есть аристократия людей, которые на целые поколения, на целые столетия налагают свой образ мыслей, свои страсти, свои предрассудки. (...) Никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной мысли. Никакая власть, никакое правление не может устоять противу всеразрушительного действия типографского снаряда. Уважайте класс писателей, но не допускайте же его овладеть вами совершенно".

Это соображение - не такое обскурантистское и устарелое (ибо предполагает ограничения), как может показаться на первый взгляд, наоборот, ныне оно еще актуальнее, чем во времена Пушкина и Радищева: безответственность и имморальность массовой современной культуры имеют и еще будут иметь тяжкие последствия для духовности человечества.

...Субъективно Радищев был просто социальным филантропом, объективно - в его книге царит дух радикализма и революции, посягающий на историческую органику.

С чрезмерным добродушием попустительствуя человеческим слабостям, Екатерина не могла, однако, хладнокровно проигнорировать идейную тенденцию, посягающую на легитимность абсолютизма, а значит, и на государственный миропорядок в целом: "Автор клонится к возмущению крестьян противу помещиков, войск противу начальства... Сие думать можно, что целит на французский развратный нынешний пример... Царям грозит плахою". И далее - в тех же пометах на полях "Путешествия" - не без меткого остроумия называет *полумудрецами* Руссо и Рейналя.

Одним словом, конфликт Екатерина - Радищев имеет свою, можно сказать, онтологическую глубину и отнюдь не исчерпывается, конечно, контрастом деспотии и свободолюбия только.

Не прошло два века, и повинувшись законам исторической ретроспективы, милосердно смягчающей и утишающей болевое начало, и Радищев, и его "Путешествие" сами стали органической частью отечественной истории, надо только искусно и бережно отреставрировать их от грубых записей вульгарной социологии.

При этом печальный надлом, вызванный, быть может, насильственным раскаянием перед судьями (Радищев признал себя "преступным", а книгу свою "пагубной"), придает фигуре Радищева какою-то особую интимную теплоту в глазах потомства... Его драма, его "история" обеспечивают ему

бессмертное место в святцах России, освобождающейся из-под власти утопии, в дальней родословной которой значится, увы, и его имя. Но после отслоения пропагандных и ходульных напластований от феномена Радищева уцелеет лучшее: бескорыстный патриотизм, без которого возрождение невозможно.

Мюнхен

Юрий Кублановский

## "Статьи Федотова надо перечитывать"

Вдумавшись в эту мысль из статьи Г. Померанца\*, мы сочли ее не только глубокой, но и вполне справедливой. Слово и дело! В работе Померанца есть врезки особым шрифтом, почти "расковыченные цитаты" из Г. Федотова. Но почему же не положить рядом и книгу самого мыслителя?

Статья Г. Померанца решительно подталкивает к преодолению умственной лени. С естественной для серьезного исследователя скромностью он расставляет имена по приоритетам.

«Трагедия интеллигенции» начинается с тезиса, что русская интеллигенция – явление уникальное, ни с чем не сравнимое (т. е. ни с чем на Западе), а затем проводится сравнение русской интеллигенции с индийской, китайской, турецкой (самая ранняя, насколько мне известно, попытка построить теорию интеллигенции как явления *европеизированной* (выделено Г. П.) культуры; в 60-е и 70-е годы было несколько таких попыток – у меня, у Р. Беллы и других; Г. П. Федотов нас всех опередил)". Решено: немедленно – к первоисточнику столь нетривиальных ассоциаций!

Увы, прилежное следование совету Померанца не оправдало наших надежд. "В толстовстве интеллигенция чувствовала себя на достаточно "беспочвенной почве"; вместе с англо-американцами, китайцами, японцами и индусами". Это – единственная фраза из "Трагедии интеллигенции" (у исследователя часто – "Трагедии русской интеллигенции"), к которой может иметь отношение пассаж Померанца. Сколь близкое отношение – пусть судит читатель.

Так что, ссылка на Федотова имеет большее отношение к скромности эссеиста, нежели к его точности. Сногсшиба-

---

\* Г. Померанц. Взгляды Г. П. Федотова на роль национального характера в революции. – Время и мы. Нью-Йорк, 1990, № 108, с. 236–246.

тельные историко-географические открытия – бесспорная заслуга Померанца. И, возможно, "др." Г. Федотов их не опередил.

Перейдем теперь к врезкам ("почти цитатам"), о которых уже упоминали выше.

"«В грязном Париже XII в.» гремели битвы схоластов, а «в золотом Киеве» писались только летописи да Патерик" – Г. Померанц.

"...в "Золотом" Киеве, сиявшем мозаиками своих храмов, - ничего, кроме *подвига* печерских иноков, слагавших летописи и патерики. Правда, *такой летописи не знал Запад*, да, *может быть, и таких патериков тоже*" – Г. Федотов.

Все места из Федотова (кроме специально оговоренного) выделены нами. Мы в ситуации, когда набор очередных неточностей цитирования – еще полбеды. Концепция Федотова явно трансформирована. Причем не произвольно, а вполне целенаправленным образом.

Однако при всей очевидности процесса в нем есть нюанс, требующий, возможно, объяснения.

"...Русь откликнулась христианству своим особым голо-сом, который отныне неизгладим в хоре народов-ангелов. Мы знаем с недавних пор, где нужно слушать этот голос. В церковном зодчестве, деревянном и каменном, в ослепительной новгородской иконе, в особом тоне святости северных подвижников. Без ложной гордости мы говорим теперь о гениальности древнего русского искусства и не колеблясь отдаем ему предпочтение перед искусством западного средневековья и Возрождения".

Так сказано в "Трагедии интеллигенции" – через две страницы после обсуждаемого места.

В популистской публицистике господствуют две точки зрения на древнюю русскую литературу. "Неучи мы были глухонемые", – такова одна из них. "Как смеее вы заниматься русофобией! – возражают оппоненты. – Мы создали "Слово о полку Игореве", по сравнению с которым всякие там "Песни о Роланде" и прочая чепуха..." К сожалению, даже и в стиле нашего пересказа утрировки нет.

Первая позиция выражает непонимание того, что великая культура может иметь свой, отличный от фаустовского, язык. Примеры легко подберет каждый читатель. Подобный подход академик Бромлей деликатно охарактеризовал как "низкий потолок теоретического мышления". А для квалификации второго достаточно известного лозунга: "Россия – родина слонов".

Поллиниым языком русской культуры были (по XVIII века) храмостроительство, иконопись. Сгорающий от жажды всепознания Фауст действительно непредставим без латыни, лишь создающим "гениальный язык, обладающий неисчерпаемыми художественными возможностями..." (Г. Федотов).

Однако и это всё не столь однозначно. Россия создала "Слово о законе и благодати", "Повесть временных лет" – и

не только их. В западной же культуре величайшие поэты подчас бывали неграмотны. Божественным уделом Бертрама де Борна было петь, а для записи песен хватало его слуги.

Так что, нередкое зубоскальство в адрес мрачного европейского средневековья тоже не беспочвенно. Вот ведь какие темные были! А у нас - всеобщее среднее!

Мышление Федотова, разумеется, не упиралось в потолок европоцентризма. Да и не могло такого быть ни у одного культурного историсофа. "Трагедия интеллигенции" вышла в 1926 году - через девять лет после "Заката Европы" Шпенглера:

Мыслитель действительно писал о "немоте" России. Одной из основных тем его работ была современность, и он писал о трагическом отрыве страны от культурного контекста *современной* Европы. Глубинные корни этого отрыва, по Федотову, действительно, можно обнаружить еще в Киевской Руси.

Да, Г. Померанц совершенно прав: чтобы составить неискаженное представление о статьях Федотова, действительно, необходимо перечитывать именно сами статьи.

Вернемся, однако, к работе самого Г. Померанца. Чего только нет в ней. И "границы иудаистической и христианской культуры". Для единства терминологии лучше уж было бы говорить о культурах "иудаистической и христиановедческой". А Инквизиция - "изуверски-сектантский уклон" в истории христианства - буквально так!

А "моральное падение правящего слоя" СССР (с ленинских высот, надо полагать?) комментировать, слава Богу, уже и нужды нет. Разве что словами самого Г. Померанца - о "бездне греха, обнаженной публицистикой перестройки". Ну, пусть хоть так...

А вот примеры полемики Г. Померанца с его оппонентом из "Гласности" - Сергеем Кольчугиным. "...интеллигентность его... вызывает некоторые сомнения". "Не совсем ясно и то, имеет ли автор право называть себя христианином". Культура первого пассажа напоминает, что не зря ввел А. И. Солженицын термин "образованщина". А уж публицистические отлучения от христианства...

Много еще интересного в этой небольшой (десять с половиной страниц) статье. Но... хватит, наверно. Хватит.

Что ж, и такие работы надо если не перечитывать, то хотя бы читать. С них ведь тоже явление - сегодняшней, советско-интеллигентской культуры.

"Россия - исторический центр Евразии. Она может сохранить свою роль, только если Москва станет центром притяжения (а не отталкивания) мировой диаспоры. Имея в виду не только евреев, но, в частности, и евреев. Мощь Соединенных Штатов основана на притечке (так! - В. С.) умов. Страна, из которой умы утекают, обречена на прозябание".

Так заканчивается статья. Отдавая должное точности наблюдения Г. Померанца, позволим себе все-таки кое-что

добавить. Будет хорошо (а вовсе не наоборот!), когда Россия разовьет и экономику на уровне Соединенных Штатов, политическую культуру Великобритании...

Впрочем, трудно найти новое под Луною. Давно ведь установлено (и притом совершенно точно!), что гораздо лучше быть богатым и здоровым.

Москва

Валерий Сендеров

## Пушкин и наследие диктатуры

*"Минуй нас пуще всех печалей  
И барский гнев, и барская любовь".*

*А. С. Грибоедов. "Горе от ума"*

Со времен пролетарской революции в России много литературных имен сброшено в братскую могилу безвестности, много томится в сырых тюрьмах библиотечных архивов, доступ в которые, как и в бытность Пушкина, писавшего "Историю Петра I", может быть дозволен только "царем". Да, бесспорно, сегодня, в лихорадке перестройки, многое "вытаскивается" на свет Божий и реанимируется. Но как это происходит, что за цели зачастую преследуются?

Имя Пушкина практически не знало "заточения" в послереволюционной России. Но именно эта "милость" со стороны диктующего класса оказалась более жестокой, чем "приговоры" и директивы в адрес многих и многих поэтов, писателей, деятелей культуры. Сделав Пушкина пророком своих чудовищных идей, вульгаризируя его наследие, безымянные "творцы" школьных и вузовских программ, проводившие официальную линию, а следом за ними телевидение, радио, кино тщательно гримировали то, что им представлялось Пушкиным, под "учителя", "борца за свободу угнетенных". Берем наугад 5-й том Пушкина из собрания сочинений в десяти томах (Москва, "Художественная литература"), открываем так же, наугад, страницу Примечаний и читаем:

"С большой симпатией обрисована Пушкиным семья капитана Миронова. Мироновы не являются владельцами "крещеной" собственности. Пушкин показывает, что именно в такой семье и могла вырасти замечательная русская девушка Маша Миронова с ее простым, чистым сердцем, высокими моральными требованиями к жизни, ее мужеством" (С. М. Петров. Художественная проза Пушкина).



Как характерен этот отрывок! Здесь сохранены и ложный стиль, и лживая идея передовицы: "замечательная русская девушка", "высокие моральные устои" и убеждение самого С. Петрова, что Пушкин не творец, а морализатор, "показывающий", в какой семье и что может вырасти.

В течение нескончаемой вереницы десятилетий по воле "ученых" вампиров, высасывающих историю русской литературы из почти уже иссякающих жил отечества, образ Пушкина бледнел и бледнел под полнокровным красным знаменем. На долю поэта выпадает множество тяжких испытаний. Но самое тяжкое, самое горькое – это стать источником пропитания и процветания государственных и околотуртурных монстров. Изъяв из истории русской литературы почти всё, что возможно было изъять, осудив все течения, которые только можно было осудить, выделив главных "виновников" и "зачинщиков", лишенных возможности "защищаться", ибо тексты их произведений тотчас же сделались недоступными, – содеяв всё это, "каратели" посчитали, что оправданы уже тем, что повесили портретов Пушкина, на которого предлагалось равняться (какой же порядок без равнения!). Естественно, насаждавшие доктрину лжепушкинианства и близко не понимали значения Пушкина и назначения литературы вообще. Отсюда пушкинский слог извратили в примитивистских "исканиях" соцреалистической "истины", а глубину и неповторимость его оптимизма – в порочном энтузиазме солдат пера. Пушкин *как бы* стал поперек дороги всем, кто пытался опротестовать фактом своего рождения насаждаемые от его имени шаблоны. Более того. Пушкин *как бы* занял собою все пространство – временной континуум, не "оставив места" для своих достойных современников. Порочная идея идолопоклонничества вела к разжиганию "жертвенных костров" во славу великого – доктрина об *истинно русском поэте*. Думал ли Пушкин, свободно уносившийся вслед своей музе "не для имени поэта", Пушкин, с интересом и радостью встречавший всё новое в литературе, – мог ли он подумать, что имя его станет символом догмы и запрета!

Нынче наблюдается иная тенденция – увы, столь закономерная для русского общества! – изгнание идола с пьедестала. Провозглашаются имена поэтов, *как бы* по вине Пушкина незаслуженно бывших в тени. Ставится вопрос о пересмотре места Пушкина в русской литературе. Здесь совершенно очевидны последствия воспитания в обществе диктатуры. Просвещенный свободный ум в состоянии отличить навязчивую доктрину о Пушкине от собственно Пушкина.

Возвращаясь к вопросу о ситуации в нынешней литературной России, определяемой как возвращение к жизни погребенных имен, можно сказать, что всё это напоминает вытаскивание жертв землетрясения непрофессиональными спасателями. Известно, что подобного рода работу нужно делать с большой осторожностью, зная определенные прави-

ла, иначе находящийся под обломками может погибнуть, едва дождавшись освобождения. По примитивной схеме "враг-друг" возвращаются в мир такие серьезные имена, как Платонов, Замятин, Гумилев, другие. Возвращаются отдельные произведения. Да, кое-что изменилось, но не изменилась суть "отбора": кто раньше мыслился как "враг народа", тот нынче "великий писатель". На смену "патриотическим" "шедеврам" идут "перестроечные" - ими кишат страницы современной советской периодики. И снова нет места Искусству, и снова нет в этой кромешной прагматике никакого сдвига в сторону эстетики. И снова "коронование" одного и обличение другого - от поисков "темных" мест в биографии до развенчания таланта.

Художник является таковым вне зависимости от того, какую веру он исповедует и каково соотношение талантливых и неталантливых строк в его творениях. Степень значимости художника определяет то, какой пласт культуры он формирует. Так, совершенно ясно, что Белла Ахмадулина, воссоздающая пушкинское пространство внутри собственного, равно как и державинское ("Проснулась я с Державиным в слезах"), блоковское, высоцкое, не "воздаст" хвалу, но говорит о том, что вселенная, созданная Художником, не погибает с его смертью. Напротив, эта "нерукотворная" вселенная способна волновать и вовлекать день сегодняшний в раздумья о прошлом как о самом близком настоящем.

Так что же есть для русского Пушкин? Имя? Событие? Догма? Думаю - эпоха, пласт культуры, олицетворение живого, развивающегося начала в русской литературе.

*Вера Зубарева*

### Четвертая книга\*

И чего это русского поэта занесло в зырянский край?

"К зырянам Тютчев не придет!" - эта всем известная цитата, которую, может, я и путаю, может, к ним Пушкин должен был прийти, да подзадержался.

Однако хорошо, что судьба выбросила в маленькую клюквенную республику москвича Александра Алшутова. Она его выбросила, спасая от неизбежной посадки как рядового участника правозащитного движения, она его выбросила из

---

\* Александр Алшутов. "Занесенные снегом". Стихи. Коми книжное издательство, Сыктывкар, 1990. Тираж 5 тысяч. За счет автора.

московской поэзии, где Алшутков вел жизнь литературного поденщика.

Всякий знает, что такое литературная поденщина, особенно в пору застоя. Но и тогда в немногочисленных переводах Алшуткова выступало его поэтическое, собственное, будь то Бараташвили или Межелайтис.

\*

Но судьба - судьбой, литературная биография у всех пишущих яркая, у Александра Яковлевича - тоже.

Родился на Патриарших Прудах, оттуда ушел в армию, о чем мы находим пронзительные стихи в его книге:

"Разве сможет он когда-нибудь понять,  
что бывает в подоженной птице  
на высоте 11 и 5?

Когда с ветром поцелуешься взасос  
и летишь,

летишь в ничто со свистом...

И выстукивает сердце SOS

на звенящих нервах бортрадиста.

Разве он когда-нибудь поймет,

что под маской равнодушных шуток

я качаюсь, как расстрелянный пилот,  
на ненужных стропках парашюта?"

Но тогда еще основной принцип поэзии Ал. Алшуткова - *многозначность* поэтического слова, не доминировал в его поэзии.

Армия, конечно, наложила отпечаток не только на личность, но и на творчество. Учтем и то, что Алшуткова как стилиста выгнали из рыбного института, где он изучал ихтиологию. Но особенно то, что было это в 1956 году, когда прошел XX съезд КПСС и загрели выстрелы Венгерской революции.

Служил воздушным стрелком авиации дальнего действия. Он так описывает ожидание отправки эскадрильи в Венгрию:

"Нас кормили так славно,

вкусно так - Боже мой!

Нас кормили на славу.

И еще на убой".

Многозначность четко проступает, но тогда она воспринималась, как формалистический прием, должно было пройти десять лет, чтобы Кларенс Браун, комментируя стихи Алшуткова, писал о строчках:

"И пока человек у руля

судном пробует управлять -

посреди сумасшедших накатов  
судно точкой поставив на карту,  
хлеб на судне пекут по ночам –  
как пекли в старину на суше:  
хлеб на суше – самый насыщенный,  
хлеб, в котором начало начал...”,

что эзопов язык ограничен не только у советских поэтов (лучших из них), но и настолько понятен читателю, что “Человек у руля” – да, рулевой, капитан, но и название книги Анри Барбюса о Сталине. И сразу менялся смысл стихотворения.

Вернувшись из армии, Алшутков работал шофером, строил Юго-Запад, где сам потом и жил, писал стихи, а потом взял и укатил на Сахалин.

Как же, как же, помню я эту “романтику дальних дорог”! Помню звездных мальчиков и продолжателей легенд Василия Аксенова, Анатолия Кузнецова, Анатолия Гладилина! Как же они действовали на психику, как нам всем хотелось куда-то ехать, от Москвы, от налаженной жизни, не знаю зачем, но куда-то умчаться.

Увы, позднее я понял, что Алшутковым руководили иные настроения, и не поиск романтики, а попытка штурмовать литературу обходным маневром. Что ж, это путь – создать в провинции, захватить там издательство, редакции газет, издать себя и произвести определенный шум, скандал, создать явление.

Но явления не создаются.

Ему удалось сколотить талантливую группу поэтов (из приехавших, как и он, москвичей), они успели издать что-то в местных газетах, подготовить по книжке стихов и...

И – декабрьская 1962 года встреча Хрущева с творческой интеллигенцией в Манеже. Откат назад. Наступление на литературный и художественный авангард.

В провинции сие событие было воспринято острее и гротескнее, чем в центре. В провинции и громили жестче и подлей, чем в Москве. Кислород был перекрыт, и Алшуткову пришлось уезжать с Сахалина. Но в “Звезде” № 2 за 1963 год появилась его большая (12 стихотворений) подборка, которая вызвала несколько восторженных рецензий в прессе.

Здесь Алшутков раскрылся в своем политическом кредо: многозначность слова; слово как образ; формальная маскировка содержания, – которое показало другим поэтам, как можно говорить в эпоху надвигающейся реакции (хотя хрущевские разносы ни в какую не шли с брежневскими “чугунными” десятилетиями).

”В такую погоду не бьются склянки  
на баке.

В такую непогоду бьются на склянки  
баки,  
взмывая горючим  
(нефтью... бензином... соляром),  
взывая к орущим,  
смываются, море заляпав..."

Насколько здорово в этом замечательном стихотворении "Тайфун" использованы ононимы: склянки, баки, смываются, бьются и пр. И полная сквозная рифмовка, что не только сложное поэтическое искусство, но и удивительно четко ложится по смыслу.

"В такую погоду в салоне у стойки  
буфетчицы бьются.  
В соленой сплошной неустойке  
летает блюдце летающим блюдцем.  
И с удивительной ловкостью тонны  
в грамм-атомы переходят.  
И с удивительной легкостью тонут  
громадины-пароходы.  
И подливается масло  
в зеленый огонь Куросиво.  
И пот отливает с нас маски,  
и пахнет вода Хиросимой!"

Ни у кого я не встречал такого образа морского течения - "зеленый огонь"! И, конечно, когда попадает масло от двигателя в этот зеленый огонь, он вспыхивает радугой!

Подборка в "Звезде", затем другая, потом в "Юности", в "Неделе", в "Литературной газете", казалось, вот они, открылись ворота, дальше - книга в московском издательстве.

Но нет. Он поехал в командировку от "Нового мира". На Урал. С автобусом случилась авария - стал сползать с откоса в пропасть. Водитель испугался, выпрыгнул из машины, убежал. Алшутков, сам водитель, бросился к рулю, вывернул автобус на дорогу. Спас двадцать человек, но один погиб. Следствие. Полтора года в оренбургской тюрьме. Письма в защиту. Выпустили с условным сроком.

Летом 1965 года он подошел ко мне на площади Маяковского, где смогисты читали стихи - большой, сильный, веселый. Мы стали друзьями.

Жизнь его не баловала - он работал литконсультантом в "Сельской молодежи", потом организовал отдел кинорежиссуры в какой-то крупной фирме.

Он всем хотел помочь, зная, как важно это в трудную минуту. Мне в ссылку он присылал книжки, а один раз даже тулуп. В том самом отделе кинорежиссуры был художник, состоящий из Анатолия Гладилина, Гелия Рябова и композитора Ильи Катаева. Я писал сценарии рекламных

роликов. Юра Штейн снимал эту рекламу. Отдел рекламы просуществовал недолго – его закрыли, как идеологически чуждый в конце 1971 года.

К тому времени над Алшутовым сгустились тучи – он подписал несколько писем протеста против преследования инакомыслящих (Жореса Медведева, генерала Григоренко, других), и его перестали печатать. Занесли фамилию в цензурные списки и перестали печатать. И исполнять песни на его слова – хотя он был автором первого отечественного шейка "Черный кофе" и с композиторами Шаинским и Катаевым написал десятка три песен. То есть его лишили заработка.

"Да-да!

Я был когда-то мамонтом.

В меня швыряли валуны.  
Оскаливались бивни матово,  
цепляясь за овал Луны!  
И от такого зубоскальства,  
попавшийся попутно враг,  
как спутник,

в небо запускаясь,  
свой вес земной утратив враз!  
Ловушки обращались в рухлядь...  
Но все росла толпа врагов.  
И, вздернув брови,

вдруг я рухнул,  
и был убит, убит врасплох!..  
Успел запомнить взгляд прищуренный,  
как, сбросив шкуры догола,  
ватага первобытных шкурников  
меня лежащим догнала".

Ирония уже не спасала. Круг сжимался, он бросил Москву и уехал в Сыктывкар, столицу зырян.

Здесь он работал на телевидении, организовав киноредакцию, потом на сплаве, а теперь – библиотекарем, сидя в окружении казенных книг и журналов, экономя таким образом на подписке.

Но если без иронии, то характер поэта, сформировавшийся в эпоху слома старого, переоценки ценностей, не мог не диктовать линию поведения. Порядочному человеку чрезвычайно трудно в провинциальной глуши. Да, здесь нет столичных склок, сплетен, выматывающей нервы погони за копеечкой. Но здесь настолько мелочны отношения между литературной публикой, настолько карикатурны, что все время вспоминаешь об "идиотизме сельской жизни", хотя не всякая провинция – деревня. На *настоящего* поэта смотрят как на выродка, на сумасшедшего. Он – изгой.

Потому за много лет Алшутову удалось выпустить так мало книг: в 1969 в Москве, в 1981 и в 1987 в Сыктывкаре.

И вот "Занесенные снегом", книга, изданная за счет автора, собравшая в себя лучшее, в основном, написанное в последние годы.

Нынче поэт грустен в своей иронии:

"Когда мне доказать пытаются,  
что людоед травой питается,  
то прерываю я беседу –  
давно я знаю людоеда".

О чем это? О нашем времени, о Горбачеве, о "перестройке" и ублюдочной гласности.

"Я был горячим сердцем парохода!", – говорит поэт в стихотворении, посвященном Р. И. Пименову "Исповедь паровозного котла". (Кстати, в морозные дни 1989 поэт с мегафоном в руках агитировал на улицах Сыктывкара за кандидата в народные депутаты, за бывшего политэка, доктора наук.)

Но почему "был"? Не рано ли? Алшутову – пятьдесят пять лет. Он весь в развитии, весь в предчувствии новых форм и идей, ибо в старых формах он, на мой взгляд, уже высказался полностью, выложился до конца.

Но вот что будет дальше, за четвертой книгой, дай Бог не последней? Ибо очень важный этап обрисовывает поэт:

"...Быть может, это время виновато,  
что не хватало времени у них?  
А после, ночью, встав у изголовья,  
Призвание их не хочет отпустить.  
Все это, как обратный путь с Голгофы,  
путь тех,  
кто вниз свернул на полпути..."

Алшутов не свернул.

Январь 1991

*Владимир Батшев*

**"И две судьбы, как два завета":**

**стихи Лии Владимировой**

И целый день, да, целый день  
Кипела белая сирень  
И зрела за оградой,  
И вы клонили для меня

Две кисти, полные огня,  
И ночи, и прохлады.

Разница между настоящей и ненастоящей поэзией в том, что первую хочется цитировать.

С платком в зубах, дразня улыбкой, окая,  
Опять - в который раз! - явилась тень  
Разметанных по ветру, синеоких,  
Великорусских нищих деревень.

Настоящую поэзию сколько ни цитируй, все мало:

Я проснулась - бело.  
И не верю сама:  
Так сегодня светло,  
Будто снова зима.

Потом, вслушавшись внимательно и всмотревшись в строчки, замечаешь, как они "работают". Симметричность строчки "И целый день, да, целый день" со словом "да" в ключевой позиции убеждает читателя и аргументом, и чувством; после победного, триумфального "да" - великолепной поэтической находки - повтор воспринимается как крещендо. Замечаешь мастерство звукописи, свидетельство самого главного в поэтическом творчестве - безошибочного слуха: целый-кипела-белая-зрела-полные; день-сирень-меня-огня-клонили-полные-прохлады: оркестровку сонорными, особенно мягким, нежным звуком "л", с преобладанием энергичных, так называемых "светлых" гласных "е" и "и". Замечаешь, как искусно главная информация отодвинута в самый конец строфы, в нижний правый угол, держа тебя, читателя, в напряжении: "С платком в зубах" - кто же? - наконец, в конце следующей строки автор дает сказуемое и подлежащее (отметим, что это инверсия: сказуемое определяет подлежащее и обычно следует за ним): "явилась тень". Но мы все еще блуждаем в потемках: что за тень, кому и зачем она явилась? И надо еще проработать четыре определения, чтобы получить объяснение "деревень" - четыре определения, сам порядок которых тоже необычен (что это такое - "разметанных... синеоких, / Великорусских нищих"? - ведь эти определения разного порядка, надо было сказать "великорусских деревень, нищих, синеоких, разметанных по ветру" или что-то в этом роде). Такая необычайность тоже один из основных признаков настоящей поэзии... В чем, наконец, секрет третьей процитированной строфы? Сами поэты знают, что нет ничего труднее, чем простота, к которой приходишь только после многих лет одухотворенного творческого труда - та "неслыханная простота", про которую писал Пастернак и в которую сам он "впал" лишь к концу жизни. Поэты знают, что добиться речевой естественности интонации



типа "Я проснулась - бело", или "И не верю сама", или "Так сегодня светло", или "Будто снова зима" - это большая победа. А добиться при такой разговорной раскованности также и лиризма и музыки стиха еще сложнее. Мастерское применение автором двустопного анапеста дает такой эффект: это очень стремительный размер, очень музыкальный (в Греции поэты и декламаторы приплясывали, исполняя анапестический стих), а окорот его до двустопного минимума не дает ему разогнаться, чем и достигается лиричность.

Вообще музыкальность - это одно из самых сильных впечатлений от этого сборника Лии Владимировой ("Стихотворения", четвертого, вышедшей в 1988 г. в Израиле, книги поэтессы, в которую вошли как новые, так и некоторые из старых стихов). Вот снова анапест, на этот раз чередование двух и трех стоп, создающее впечатление навязчивой, мучительной мелодии:

Дай мне, Господи, пить  
Тот полынный, полуденный зной!  
Тот потерянный рай  
Ты вчера мне вернул не затем ли,  
Чтоб смогла позабыть  
Окаянный, бездарный, глухой  
Этот северный край,  
Эту серую горькую землю?

Вот четырехстопный хорей - завораживающий, колдовской:

Будто в небо с поворота -  
Звон, Масличная гора.  
Вот и скрипнули ворота,  
Вот и сгнула жара.

Вот амфибрахий - неторопливый, мерный, как движение волн:

И знойной земли очертанья  
Час от часу ближе, ясней,  
И слышится волн бормотанье  
В полдневном блистанье теней.

А вот и четырехстопный ямб, с двустопным рефреном:

Апа под белым покрывалом -  
Шах-и-Зинда,  
И косогор в цветенье алом -  
Шах-и-Зинда,  
И роспись древняя портала -  
Шах-и-Зинда,  
И все, что Азия шептала -  
Шах-и-Зинда.

Строфы с пятистопным ямбом, с анакрузой в начале стиха, увеличивающей впечатление музыкальности; заметим, что когда, наконец, в 4-й и 6-й строках первая стопа получает причитающееся ей ударение, после трех анакруз уже не ожидаемое слухом, ключевые слова "ты" и "плачь" принимают как бы двойную нагрузку (только один пример органического взаимодействия ритма и семантики у Лии Владимировой):

Я слышу голос: "Только посмотри,  
Они с тобой, бывшие январи.

Былая даль белешенька-бела,  
И ты была светлешенька-светла.

В бывшее поле выйди на мороз  
И плачь, не прячь горячих грозных слез!

Но для того, чтобы сказать, что поэзия Владимировой – настоящая поэзия, совсем не обязательно подвергать ее анализу. Настоящее искусство всегда впечатляет мгновенно – мистически, метафизически, подсознательно. Но если талант действительно идет от Бога, то воплощение его немислимо без человеческого сотворчества, без взаимоотношений между поэтом и читателем (пусть даже идеальным читателем в будущем, о котором писал Мандельштам) и между самими поэтами – как живыми, так и мертвыми. В поэзии Лии Владимировой мы слышим голоса великих русских поэтов века, с которыми она ведет беседу. Вот она перефразирует Мандельштама:

Пусть дни идут корявой чередой  
В поту, в жару или в простудной дрожи –  
Я допьяна больна тобой,  
Россия... родина... рогожа...

Вот обращается к Ахматовой:

Могу ль я память излечить,  
Чтобы вчерашним не горела,  
Чтобы, устав кровоточить,  
Спокойно тлела и старела?

Какой по счету адский круг?  
В который раз встает из праха  
Все усмиряющий недуг  
Благополучия и страха?

Вот отсылает читателя к Цветаевой:

И цветут мои галлюцинации:  
Эти дали, ливни световые,  
И томятся душны акации,  
И толпятся зимы грозовые!

Цветаева вообще близка поэтессе по эмоции и духу:

Я стою с протянутой рукой  
Будто на пороге новой зры...  
Отврати, Господь, мои химеры,  
Возврати мне будущий покой.

Не менее близок ей и Пастернак, своей зрелой простотой и своим чувством природы:

Опять тревожный запах прели,  
И помню без календаря  
Продрогший воздух, вкус апреля  
В последних числах октября.

Или вот эти реминисценции, особенно уместные при посещении Переделкина:

И кладбище огибая,  
И сосен торжественный ряд,  
От редкого снега рябая  
Тропинка скользит наугад.

Какая же нынче охота  
Месить жидковатый ледок?  
Там где-то за поворотом  
Писательский городок.

Гола опустелая местность.  
Дорога так круто светла,  
Как будто успех и известность  
В архив подавали дела.

Сказать, что без Мандельштама, Ахматовой, Цветаевой, Пастернака и Ходасевича (см. "Пятнадцать сонетов" и стихотворение "И вдовий стон, и горький дух горений..." с цитатами из него) не было бы и Владимировой, — это значит наградить поэтессу высоким признанием: ведь нельзя же сказать про, скажем, Крученых или Каменского, что их бы не было без Пушкина, Лермонтова, Тютчева! Гонящимся за дешевыми блесками так называемого "модернизма" (а также "ультрамодернизма", "постмодернизма", "пост-постмодернизма" и т. д.) — бича всей современной поэзии — невдомек, что настоящим модернизмом в европейской поэзии уже давно был. В Италии он имел место в XIII веке, в Англии — в XIV, во Франции — в XV. Первым

модернистом в Греции была Сафо, творившая в VII веке до нашей эры. Русская поэзия моложе, но и тут пальма модернистского первенства принадлежит не Маяковскому и даже не Хлебникову, а Ломоносову. И для подлинного восприятия Владимировой следует рассматривать ее в преломлении русских поэтических традиций XX века.

Другой подход к ней – это понимание ее творчества в контексте женской европейской поэзии. Хрупкость, мягкость, нежность (одно из любимых слов Владимировой: "Здравствуй, нежность ненужная"), незащищенность гипертрофированно-чуткого восприятия и высокое нервное напряжение (это и имел в виду Манделштам, сгоряча обругавший, в 20-х годах, Цветаеву за ее "женскую поэзию" – о чем он потом, кстати, очень жалел) роднит поэтессу не только – напрашивается сравнение – с Сафо, но и с американской поэтессой Эмили Дикинсон и, в наше время, Энн Секстон, израильскими поэтессами Леей Гольдберг и Дальей Равикович, американско-английской Сильвией Плат и английской "поэтессой в прозе" Вирджинией Вулф:

Вбираю, как в начале лета,  
Легчайший холод, тонкий зной.  
Почти свободны все предметы  
От лишней тяжести земной.

Душа моя, доверься слуху,  
Остатка сил не береги,  
Меня – девчонку и старуху –  
Вечерним светом обожги.

Вечные темы материнства – "Я слишком мало матерью была" – слабости, уязвимости слишком чуткого, болезненно восприимчивого внутреннего мира – "Кого сегодняпустишь ты / В свой мир – себя не сознающей / И беззащитной красоты" – молодости –

Я холод глотаю, я праздную вновь  
Настой этот, наст недовзрослости терпкой.  
Шестнадцать... Еще зелена моя кровь.  
И зря меня зрелые жены не терпят –

взросления, зрелости и цикличности жизни –

Тучи, тучи, тучи из окна,  
На крылечке девушка сидит...  
И моя посмертная весна  
На меня, как девочка, глядит –

наконец, смертности –

Это яблоня плывет  
В холодеющей дали,

Это смерть моя идет  
В платье белом до земли -

все эти такие женские и такие общечеловеческие темы и составляют поэтический мир Лии Владимировой. Но это еще и мир специфически, глубоко русской поэзии, край русской песни, "зачарованная даль" России с ее легендами и сказками:

Мне б узорами цветными  
Платье белое расшить,  
Мне бы тропками лесными  
В темный лес к тебе спешить.

Я платок на косы брошу,  
Молча выйду на крыльцо.  
Глянь-ка, ласковый, хороший,  
В позабытое лицо!

Я еще не износила  
Взоров солнечных своих,  
Я еще не погасила  
Платьев, легких, молодых.

Недаром так много роднит поэтессу с Ахматовой и Цветаевой - это и русский фольклор, и напевность, и эмоциональный накал, и дихотомия женщины-поэта в повседневном быту, в общественной среде, вообще, и в конкретно русском/советском обществе, в частности. Так, тема неприспособленности и неуклюжести, "горбатости" (часто встречающееся в сборнике слово) проходит лейтмотивом через все стихи Владимировой; не случайно эта тема ассоциируется с Цветаевой:

Стать бы статной, стать бы синеокой  
(Чтобы взглядом - наповал!).  
Голос мой, надтреснутый до срока,  
Вдруг до шепота упал...

На реке, на солнце, близ Тарусы,  
Средь песков и ивняков,  
Перелью я в синенькие бусы  
Твой букет из васильков...

Страдание, ранимость, боль неотъемлемы от поэтического творчества; с неизбежной при этом мазохистичностью - квазимазохизмом - поэт пестует и лелеет обнаженность восприятия:

Как у последнего порога -  
Так близко память подошла!

Растет душевная тревога,  
Дай Бог, чтобы она росла.

Но это не только творческий эгоцентризм ощущений, это дарение тепла другим, невозможное без боли:

Но тепла таинственным свечением  
Вся, насквозь, пронизана неволью.  
Ведь не страшно это расточение, –  
Больно – если вдруг не будет больно!

В соответствии с лучшими традициями мировой поэзии в целом и русской, в частности, поэт – это высокоморальное явление, "средоточие совести", по определению Монтале, этическая кульминация эпохи:

Ко мне вплотную подошло  
Все одиночество людское  
Пока я билась над строкою,  
Оно живительной тоскою  
Во мне меня перемогло.

Но послереволюционный поэт в России представляет собой не просто совесть в широком ее понимании – он еще и "плакальщик" (как говорила о себе Ахматова), и утешитель, и голос – порой единственный вопиющий в моральной пустыне – сострадания и протеста:

А над городом – снега...  
Полночь, женщина впотьмах.  
След тяжелый сапога  
На разорванных листах.

Одно из самых сильных, самых впечатляющих произведений в книге поэтессы это "Соль-минорная симфония" с эпиграфом из Ахматовой – произведение, из которого и взята последняя цитата. Накал поэтической совести достигает здесь предела: чувство вины – безвинной – за гибель друга, позвонившего, чтобы сказать, что привезет пластинку Моцарта, и не приехавшего, исчезнувшего во Владимирском центре, поглощенного "бездной" – это чувство вины здесь максимально обостренно:

То не скорбная страна  
Пробуждается на час,  
То последняя вина  
Надвигается на нас...

И кадит, кадит, кадит  
Над пожарами дым...

Слышишь, колокол гудит  
Не по мертвым, по живым.

И не случайно здесь же поэт прощается с Россией:

О Русь моя, мой бедный дом,  
Прости меня, как мать простила,  
За то, что скорбью и стыдом  
Одну себя перекрестила.

Травма отъезда из языка, культуры, природы (российский ландшафт занимает центральное место в стихах Владимировой, а русская зима с ее снегом продолжает преследовать поэта на протяжении всего средиземноморского года), травма эта предсказуемо болезненна:

Все я и ты... А на небе все хмарь.  
И я листаю южный календарь:  
- "Ты помнишь?.. Нет?.. Прошу тебя, припомни!  
Мы были т а м час от часу бездомней,  
Но цвел, но мел ликующий январь".

Тоска по России сливается с ностальгией по ушедшей молодости:

Не дано мне горя превозмочь,  
Оттого с утра и до темна  
Снятся мне подснежники... Всю ночь  
Бродит неустанная весна

По дорогам черным февраля,  
По тропинкам в сумрачный январь, -  
Снятся мне подснежная земля,  
Снятся мне подснежники, как встарь...

Столик мой и окна - как тогда,  
Всюду он, подснежниковый цвет.  
Всюду эта синяя вода,  
Свежий холод юношеских лет...

Все это - стихи 1973-82 годов, написанные после переезда Лии Владимировой в Израиль и в большинстве своем, даже если не прямо проникнутые ностальгией, то окрашенные грустью, главная причина которой - "сквозные березовые одежды", "старый тот порожек", "сладкие капли первого дождя", которые лирический герой собирает в дождевую бочку. Но жизнь берет свое, и постепенно в стихах поэтесса начинает проглядывать новый ландшафт - сначала робко, потом все смелее и смелее. Вот уже новая, ближневосточная гроза в стихотворении "По дороге в Иерусалим":

С холмами, с тучами – лиловое,  
Зеленое перемешать!  
Как бурно дышит ночь сосновая,  
Как горько-весело дышать!..

Почему горько-весело? Да потому, что поэтесса одновременно и здесь, в ее теперешней жизни-ипостаси, и не здесь,

А там, где не было надежды,  
Где Время – словно под откос,  
В сквозных березовых одеждах  
Плутала в зной или в мороз...

Два времени, две неотвязных,  
Две горьких памяти – итог.  
Сама с собою в жизнях разных  
Здороваясь через порог...

Наследие родной речи, которой не может не принадлежать поэт, и личной памяти, с одной стороны, – и родовая память с ее языком, где "Виноградом и стихом / Дышит древний алфавит", с другой, – это нелегкая ноша, неблагодарный материал для синтеза:

Моя тарусская Россия,  
Моя владимирская ширь,  
Моя возлюбленная Лия,  
И Руфь, и нежная Эсфирь!

И блещет двуединым светом  
Крыло у каждого плеча,  
И две судьбы, как два завета,  
В меня вошли, кровотока.

Но какая поэтическая ноша легка и какой творческий материал благодарен? (Благодарен он потом, когда художник превратит его хаос в гармонию и синтезирует его антитезы.) Даром ведь не даются эти крылья "у каждого плеча"!

В заключительном разделе книги, в стихах 1981–88 годов, в цикле "Сосны" поэт вдыхает аромат цветения Израиля и возвращается памятью к своему детству в России. Этой цитатой мне бы и хотелось закончить, пожелав Лии Владимировой неиссякаемой творческой молодости:

Боюсь, что вдруг под натиском утрат,  
Под натиском подавленной природы  
Я съезжусь, заржавею, почернею  
И сделаюсь смоковницы бесплодной,  
Хамсина суше, пустыря пустынной,  
Оставленной и горше пепелища.



Но влажны апельсиновые рощи,  
И тонок запах легких лепестков,  
И светел белый цвет благословенный.  
И может быть, я – женщина, как знать?..  
Но нет, подобно вечному студенту,  
Я – девочка, пожизненный подросток.  
Еще звенит порой мой детский смех,  
Блестят глаза лукавинкой зеленой.  
Мне хочется до августа дожить,  
Отпраздновать свой вешний день рожденья:  
Исполнится мне вновь шестнадцать лет.

*Евгений Дубнов*

### **Грех, который не отмолить**

У таланта один исток - личность. Ею, в конечном счете, определяется формула: "есть что сказать". При этом наличие темы вовсе не означает наличие сюжета. Сюжет может быть как угодно ослаблен и даже неловок, это вопрос мастерства, вопрос нравственно второстепенный. Наличие темы есть наличие боли, выстраданная невозможность молчания.

Русская литература второй половины нашего века, на мой взгляд, сильно проигрывает по сравнению с прошлой - века девятнадцатого - в одном: накопив чисто внешние, "технические" навыки, она с легкостью присваивает себе чужой взгляд на мир и чужую в широком смысле слова метафору. Незаметно в искусстве осуществляется что-то похожее на шуточное фотографирование, во время которого человек просовывает свою голову в заранее прорезанное отверстие, а всё остальное: костюм, поза, интерьер сделано из картона и не имеет к нему отношения. В распоряжении русской литературы девятнадцатого века из отечественных произведений не было практически ничего, пригодного для заимствования, а западноевропейские образцы античности, классицизма и романтизма слабо привились на русской почве и не стали отчетливыми художественными явлениями. Утверждение Достоевского, что все "вышли из гоголевской шинели", так и осталось в известном смысле фразой хотя бы потому, что сам он узаконил свое почти судорожно неповторимое "я", начавшееся с "Бедных людей" и оборвавшееся незаконченными "Братьями Карамазовыми". Подражать же Гоголю было просто невозможно по той простой причине, что гоголевское образное пространство было вдоль и поперек исхожено самим Гоголем и воздух этого пространства выпит им до последней капли.

По той же причине оказалось практически невозможно

подражать Пушкину или Толстому. Впрочем, я должна огорчиться: подражать в прямом смысле слова можно всегда, и подражания, те или иные, всегда имеют место, важно другое: ни одно из этих подражаний не вошло в "большую" литературу настолько, чтобы понятие школы сложилось и окрепло.

Литература нашего времени принципиально иная. Она соткана из бесконечных внутренних заимствований. В распоряжение легко усваивающих чужой взгляд на вещи, легко "имитирующих" и часто весьма при этом талантливых авторов выигрышно поступили в качестве готовых конструкций несколько, направивших словесную мысль столетия мироощущений: Кафки, Джойса, Пруста и, в меньшей мере, Достоевского и Набокова. Полагаю, что именно эти художники легли "китами" под горячую и разнообразную плоть чужого слова, определив эффект читательского узнавания и смутного ощущения, что всё это когда-то уже было.

Вот отчего появление автора, изначально свободного от какого бы то ни было вмешательства, с пронзительно своею, нащупанною в глубокой многослойной тьме пережитого, темой так останавливает внимание.

В художественном отношении произведения Анатолия Приставкина далеко не абсолютны. Нет в них ни образной точечности, ни крепких узлов, связывающих части в целое, ни даже сюжетного разнообразия, и потому "технически" он безусловно проигрывает по сравнению с акробатически ловкой Татьяной Толстой или отлакированной прозой позднего Катаева, но если в их случае, пользуясь словами Льва Толстого, "разорвав систему, приходишь в непосредственное сношение с пустым человеком, от которого нечего взять", то чтение этого подчас неловкого Анатолия Приставкина, шумно и тяжело дышащего в каждой строчке, приводит к подлинному переживанию, при котором вопрос о техническом несовершенстве практически снимается. Шероховатости Приставкина с лихвой окупаются единственностью его страшной детской темы, его человеческой интуицией, которая во всех отношениях выше интуиции чисто профессиональной.

Повесть "Кукушата или Жалобная песнь для успокоения сердца" слабее его предыдущей повести "Ночевала тучка золотая", но и в ней есть то дерзостно-лирическое, жестокое и трогательное, что освещает изнутри обе книги автора и так или иначе запоминается, остается.

Банально, конечно, звучит фраза о том, что детством человека определяется его зрелость, а прошлым народа - его настоящее, но обращенные к детям сороковых и тридцатых годов произведения Приставкина освобождают эти слова от банальности. Обездоленные дети выросли. Вернее так: выросли те, кому удалось выжить. Сколько их? Миллионы. Кем они стали? Подождите, вопрос поставлен неверно: кем они *могли* стать? После всего-то? Чудом выжив? Тема Приставкина - предательство, совершенное целой страной по

отношению к своим детям. Массовое, отстоявшееся, сползшее в сновиденный кошмар, предательство. Что же можно сейчас требовать от людей, выжженное детство которых перелилось во взрослую жизнь? Что можно требовать от них, преданных в самом младенчестве?

Детская тема в литературе прошлого звучит едва ли не лепетом с ее диккенсовскими слабыми отцами и злыми мачехами, со всеми ее *единичными* злодеями, отравившими маленькую беспомощную жизнь, по сравнению с тем океаном *общего* бессердечия и зла, в котором, захлёбываясь, плывут прозрачные от голода герои Приставкина!

Если бы она выжила, одиннадцатилетняя Сандра, героиня "Кукушат", онемевшая от испуга, но всё слышащая и всю отвратительную, невыносимую жизнь недетски осознающая, если бы она выжила, голубоокая девочка, изнасилованная старым мерзавцем – начальником станции – и возненавидевшая целый мир, кроме семерых друзей, столь же отчаянно несчастных, как она сама, кто посмел бы требовать от такой женщины нормальных реакций на мир? По какому праву?

"Она метнула на меня взгляд, странный взгляд человека, помешанного на ненависти. Лицо ее, будто у святой, светилось в темноте. И я понял, что она убьет их всех, кто окажется на нашем пути".

Предательство, совершенное Россией по отношению к детям, осуществляется на всех уровнях, начиная с главного и самого близкого человека на земле – матери.

"– Кого ты привел?"

– Сына! – повторил он и вытер пот со лба.

– Сына? – спросил голос матери.

– Ну, твоего, твоего! Сергея! Он жив, оказывается!

– Я жив, – сказал я деревянным голосом.

...Я не открою. Я с твоим отцом и не жила, когда его забрали. А потом я написала, что ни его, ни тебя не видела и ничего про вас обоих не знаю. Я от тебя сразу отказалась. Так что ты уходи. Сергей... Мне и без тебя тяжело. Они ведь ничего не прощают".

Сила повести, наверное, в том, что ни одну ситуацию, даже эту, чудовищную, Приставкин не пишет, как исключительную. Да, может быть, и такое. "Они" оказались сильнее всего на свете. Они умудрились полностью расшатать человеческую жизнь, надломить ее устои и выпотрошить даже то, что казалось незыблемым, – чувство матери к ребенку.

"У меня после разговора с тем самым голосом, что за дверью, внутри спеклось. Так спеклось, временами дышать не мог: грудь болела".

Поэтика "Кукушат" в целом проста. Мистики, как таковой, булгаковской, скажем, мистики, когда подлинный дьявол Воланд оказывается добрее мелких, наскоро расплодившихся московских "бесов" и всё повествование

решается сказочно-мистически, ибо житейскими реалиями этой темы не поднять и не осилить, такой *буквальной* мистики у Приставкина, разумеется, нет. Но ощущение мира дикого, темного, проглотившего все духовные ценности, отчетливо присутствует в повести, и оттого сквозь ее простое "житейское" слово вдруг прорывается сильное мистическое чувство, снимающее бытовую подлинность и вписывающее в сюжет фантастические и загадочные куски.

Дети, залезшие в танк, выставленный на смотровой площадке "ЦПКиО имени Горького", идут... на приступ Кремля.

"— Куда двинем, братва?

Я пошутил, но Хвостик, сидящий впереди, ответил так, словно мы и вправду могли двинуться:

— В Кремль, Серый! Правь в Кремль! Только скорей! Скорей!

Нет, Хвостик и Сандра не играли, они были уверены, что мы сейчас ринемся по мостовой на нашем грохочущем чудище".

И тут грань между реальностью и фантазией размывается:

"Наша громада дрогнула, качнулась и урча так, что уши закладывало от грохота и рёва, словно сошедший с рельсов поезд, поползла по набережной. Рассекая дробящуюся под гусеницей брусчатку, мы шли напролом к чугунным литым воротам Кремля, где нас еще недавно держали как арестованных. Попробовали бы мильтоны, сверкая своими пуговицами, теперь прижать нас к стене или даже встать на нашем пути! Мы бы им всем, всем показали!"

В эпилоге повести представлено сгущенно мистическое решение идеи возмездия, которая, по логике автора, как я прослеживаю ее, неизбежно настигает грешника, убийцу, насильника. В художественном отношении повесть безусловно выиграла бы без этого эпилога, так как им особенно обнаруживаются "технические" погрешности сюжета, но с точки зрения решения нравственного он оправдан. Если Приставкину и не хватает мастерства, то ему безусловно хватает четкости душевного замысла.

После нескольких десятилетий наступает отмщение за варварское убийство Кукушат. Главный виновник его получает в день своего шестидесятилетия необъяснимо пугающую телеграмму: "Поздравляем. Ждем. Кукушата".

Не поддающееся логике чувство гонит отставного полковника на место расстрела. И тут он видит их всех, давно убитых, давно забытых детей, чьи жизни были так мало нужны этой жестокой земле и взрослым ее обитателям.

"...они появились именно оттуда, от того места, где был сарай, и стали отчетливо видны, все восемь человек, и впереди, как он и предполагал, все та же великовозрастная девчонка с малышом за руку.

Она выскочила из сарая на них в то утро, крича какое-то непонятное слово... То ли "помогите", то ли "спасите".

...и он с перепуга, совершенно необъяснимого, выпустил в них целую обойму "ТТ"...

Он и теперь их боялся и ненавидел, потому и пришел, что ненавидел, они все еще мешали ему жить, не желая отправляться в положенное им небытие. Нарушая все возможные законы, они посмели вновь появиться и позвать его на встречу!

Большим художественным нарушением кажется мне та анемическая отписка, которая объясняет появление Кукушат, как возвращение из кино группы подростков, среди которых и впрямь была девочка с маленьким братом. Эта ненужная дань реалистической традиции сразу же проигрывает тому свободному мистическому повороту, который исполнен и духовной обоснованности, ибо на чуде, неизъяснимости строится жизнь и на той молниеносной выразительности, которой обладает чудо, неизъяснимость. А кроме того, отписка эта все равно ведь ничего не объясняет в факте полученной накануне телеграммы: "Поздравляем. Ждем. Кукушата". Не выдержав потрясения, отставной полковник милиции умирает. Умирает прямо здесь, на лавочке, и проходящие мимо принимают его за уснувшего пьяного.

Автор не призывает к буквальному отмщению (никто из живущих не мстит за Кукушат!), но настаивает на другом: отмщение приходит к человеку изнутри самого человека, съеденная грехом душа расплачивается за этот грех страхом, подсознательным ужасом расплаты - неминуемой смертельной болезнью, точнее всего выраженной евангельской строкой: "Мне отмщение, и аз воздам". Выбранный Приставкиным вариант возмездия глубоко религиозен по своей природе, но религиозность его отнюдь не в обращении к традиционному в христианской литературе сюжету, по которому убитые и замученные преследуют своих палачей, а в том принципиально гуманистическом отношении к человеческой душе, которое сказалось в этом эпизоде. Отставной полковник отчетливо видит рядом с девочкой своего внука, сияющего "дивной неповторимой улыбкой".

У мальчика, который сорок лет тому назад держался за руку немой Сандры, была кличка Хвостик. Внука полковника зовут Костик.

"Хвостик... Костик... подумалось ему. И далее почему-то только одно: "Это конец". Всё в нем онемело, особенно щеки и шея, в сердце стало пусто и холодно, оно несколько раз стукнуло, будто стреляло вхолостую, и замолкло".

Зверю, палачу, подонку, который ни по какому "людскому суду" не заслуживает снисхождения, ни жалости, оставлена как бы узкая полоска света в кромешной тьме его низкой жизни: тем же чудом, тою же необъяснимостью, изнутри решающей нашу жизнь, даже он оказался способен на живое чувство любви, так было, значит, что-то заложено и в его душе тоже, но не проросло в ней вовремя, почернело, съежилось и лишь потом, на старости лет, при-

подняло вдруг маленькую голову, обернулось радостью при виде одной детской улыбки ("улыбка Костика делала деда навсегда счастливым") и тут же страшно отомстило ему за свое несбывшееся "я". Старик, гневными, обезумевшими глазами следящий за приближением мистической детской группы и опять – через сорок лет! – нашаривающий рукой оружие, вдруг видит, что рядом с немой девочкой вышагивает... его внук. Возмездие приходит не мгновенно наступившей смертью, а призрачным соединением двух детских образов: любимого и зверски погубленного, бритвой полоснувшим по сердцу соединением любви и ненависти, добра и зла, эффекта которого физически не выдерживает сердце и останавливается.

Всё повествование, напрягшееся с первой строчки и художественно не справляющееся со своим "подводным" течением, со своими выстраивающимися за сюжетными измерениями измерениями абсолютными: силы и слабости, тьмы и света, человеческого одиночества в мире и иступленной привязанности людей друг к другу, всё это повествование сводится в фокус эпилогом, испытывающим его в последний раз на духовную смелость и глубину замысла.

О сталинском периоде написано многое. Но ведь это не конец. Средневековый ужас его времени может оказаться, как ни страшно звучит подобная фраза, сильным толчком к творческому импульсу еще одного-двух поколений, потому что ниточки прерванных и искалеченных жизней давно вплелись в новые клубки и всё это, невзирая на давность, гниет, кровоточит, пульсирует и тем самым продолжает оставаться болезненно-притягательной пищей для художественного осмысления.

Я не думаю, что Анатолий Приставкин претендовал на то, что скажет что-то принципиально новое и никем до него не сказанное, тем не менее ему удалось, на мой взгляд, говоря об определенном историческом отрезке, указать на его вневременную протяженность в советской жизни. Я уже писала когда-то, что сюжет его первой повести "Ночевала тучка золотая" откровенно вызвал в памяти недавнюю трагедию афганской войны, "Кукушата" же, несмотря на все художественные шероховатости, оказались – благодаря сегодняшней русской действительности – настолько же растянуты в прошлое, насколько и заключены в настоящее, потому что сюжет их точно воспроизводит то отношение к "ничьим" детям, которое есть порождение исключительно советской системы и выпадает из нее, как из большой матрешки выпадает малая.

Революция и последовавшие за нею десятилетия привели русский народ к духовной катастрофе. В государстве, свергнувшем Бога, были как бы официально отменены и все те основы, которые так или иначе, осознанно или неосознанно, были связаны с религиозным отношением человека к действительности. Из сознания людей яростно выкорче-

ывались понятия милосердия и элементарной жалости. Бердяев написал когда-то, что "слишком изменилось выражение лица русских людей, за несколько месяцев оно сделалось неузнаваемым". Взамен прежних хрестоматийных представлений о добре и зле на благодатную почву слабого и невежественного сознания упали отборные семена грубой силы и бравирующего хамства. За кратчайший исторический период произошло укрупнение всех животных начал, которые таились в человеке, ибо теперь им было позволено заявить о себе. Всё это привело к сокрушительной подмене ценностей и быстрому распаду нормальной человеческой жизни. Те пласты ее, которые были напрямую сопряжены с совестью и жалостью, пострадали в первую очередь: зловеще изменилось отношение к нищим, арестованным, бесприютным. Отношение к "ничьим" детям, сиротам. При этом возник чудовищный пафос осуществленных "подмен": в государстве, где человек был унижен и раздавлен, больше всего говорилось о любви к человеку и заботе о нем.

Многое ли изменилось с тех пор? Этого вопроса Приставкин вроде бы не ставит. Но мы, читающие повесть сегодня, знаем, как обстоит дело в советских детдомах и трудовых колониях. Теперь, слава Богу, об этом стали говорить в открытую. И то, как подают нищим старухам на кладбище, и слепым, с протянутыми шапками бродящим по промерзшим электричкам, и погорельцам, мы тоже знаем. Неужели демонические микробы большевизма так изменили человеческую природу? Положа руку на сердце - трудно поверить в это, страшно. Но то, что процесс массового духовного обнищания произошел и произошел успешно, не вызывает сомнения. Помню, как меня, пять лет назад впервые попавшую в Европу, поразило количество калек, непринужденно участвующих в общей жизни: заезжающих в специальных креслах в магазины, рассматривающих картины в галереях. Почему в России появление такого человека почти непредставимо? Куда она прячет своих убогих, своих "сырых" людей?

Нет, повесть Приставкина не претендует на новизну, не претендует на общее решение вопроса. Но изнутри своего драматического содержания она еще раз задает его: как быть с тем, что случилось с людьми? Как жить с этими людьми - детям? И как жить детям, прошедшим подобную "школу"?

"Русь, куда ты несешься? Дай ответ. Не дает ответа..."

*И. М.*

## КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

**Б о р о д а е в с к и й** Андрей. Экономист. Д-р экономических наук. Автор целого ряда научных трудов. Занимается также литературной работой. Живет в Москве. Член недавно возрожденного Московского дворянского Собрания.

**Б р а й н и н-П а с с е к** Вилли (Валерий Брайнин) родился в Н. Тагиле в 1948 году, где отбывал ссылку его отец Бернгард Брайнен (Борис Брайнин), австрийский антифашист, политэмигрант, поэт и переводчик. Его псевдоним - Зепп Эстеррайхер. Мать - урожденная Пассек. Замечательный русский поэт Арсений Тарковский писал о Вилли Брайнине: "При знакомстве с его поэзией читателя порадует ощущение сильного и смелого дарования её автора, его несомненная способность к синтезу впечатлений, которые ему дарит внешний мир..."

**Г е л е й н** Алексей. Автор живет в России.

**Г о р б а н е в с к и й** Михаил. Канд. филологических наук. Публицист. Ряд его статей был опубликован в журнале "Посев". Автор монографии по истории советской лингвистики.

**К а п и а н и д з е** В. Живет в России.

**М у р а в ь е в а** Ирина, род. в Москве в 1952 году. По образованию филолог. В Москве занималась переводами английской и немецкой поэзии, много писала о Пушкине. Эмигрировала в 1985 году. В настоящее время живет в Бостоне (США), преподает в Гарвардском университете. Регулярно печатается в русских изданиях эмиграции. Автор "Граней" (№№ 144, 148, 149, 150).



**П о п о в** Виталий. Член Союза журналистов СССР. Живет в Москве.

**П р о х о р о в** Константин. Живет в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области. Сержант запаса. Студент педагогического института.

**П у ш к а р е в** Борис Сергеевич. Род. в 1929 году в Праге, сын историка С. Г. Пушкарева. Учился в Чехии и в Германии, окончил Иельский университет в США в 1955 году со степенью магистра урбанистики. С 1961 по 1990 год служил в Нью-Йорке в Ассоциации Регионального Плана, последнее время как его вице-президент по исследовательским работам. Читал лекции по урбанистике и городскому транспорту в Иельском, Нью-Йоркском и др. университетах. Автор или соавтор пяти книг на эти темы и многочисленных журнальных публикаций. Автор "Посева" и "Граней". С 1980 г. член Совета НТС, с которым связан с 1944 года.

**Т о л с т о й** Иван Никитич. Ленинградский литературовед, публицист, эссеист. За последние два года много его статей было опубликовано в газете "Русская мысль".

**С и н к е в и ч** Валентина Алексеевна родилась в 1926 году в Киеве. Во время Второй мировой войны попала в Европу. С 1950 года живет в США, в настоящее время - в Филадельфии. По профессии - библиотечный работник. Автор нескольких поэтических сборников, в том числе "Огни", "Наступление дня", "Цветение трав". Редактирует поэтический альманах "Встречи" (начавшийся когда-то как "Перекрестки"). Много выступает по всей Америке с чтением стихов перед русской и англоязычной аудиторией. Автор многочисленных эссе о литературе и рецензий на русские и иностранные книги в эмигрантской и американской прессе (по-английски пишет для газеты "Филадельфия Инк-вайр").

**Ш н е е р с о н** Мария Анатольевна родилась в 1913 году в Екатеринославе. Окончила филологический факультет Ленинградского университета. В 1955 году защитила кандидатскую диссертацию. Свыше 25 лет работала педагогом и занималась изучением русской классической литературы XIX века. Ряд работ Марии Шнеерсон был опубликован в СССР. С 1979 года живет в США. С 1980 года ее статьи, посвященные современной русской литературе, публикуются в "Гранях", "Новом Русском Слове" и др. зарубежных периодических изданиях. В 1984 году вышла книга М. Шнеерсон "Александр Солженицын. Очерки творчества" (изд-во "Посев").



**Главный редактор**  
**Е. А. Брейтбарт-Самсонова**

---

Адрес редакции журнала «Грани»:  
Grani c/o Possev-Verlag, Flurscheideweg 15,  
D 6230 Frankfurt a. M. 80  
Тел. (069) 34 46 71

*Непринятые рукописи не возвращаются.*

---

Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

## ЖУРНАЛ "ПОСЕВ"

"Посев" - общественно-политический журнал, выходит за рубежом с 1945 года.

"Посев" участвует во внутрироссийской политической борьбе за право, свободу и справедливость. Эта задача определяет направленность журнала, который:

поддерживает российское освободительное движение во всех его проявлениях;

стоит на позициях национально-государственных интересов России;

участвует в обсуждении современных и будущих проблем российского государства (политических, экономических, социальных, идеологических, духовных);

стремится к выявлению в России конструктивных сил, осознающих необходимость оздоровительных перемен во всех областях жизни страны и готовых к активному участию в их проведении.

С 1976 года журнал "Посев" выходил также в виде ежеквартального издания, предназначенного специально для переправки в страну и распространения среди советских граждан за рубежом. С 1990 года сливаются два издания - ежемесячный "Посев" и его квартальное издание. "Посев" в новой форме будет выходить каждый второй месяц на 160 страницах.

